
3 1761 04466 0264

Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКІЙ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ТОМЪ IX-й

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.



ИЗД. Т-ва „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА" И КНИГОИЗД. „ПРОМЕТЕЙ," СПБ. 1911 г.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

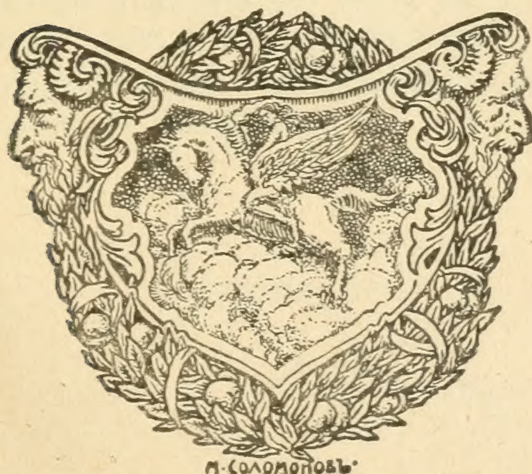
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

80-е годы и начало 90-хъ.



ИЗД·Т-ВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА" И КНИГОИЗД· „ПРОМЕТЕЙ," СПБ· 1911 г.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, Спб., Б. Подъяческая, 39.

Оглавленіе.

ГЛАВА I.

80-е годы.—В. Г. Короленко.

1.

Въ исторіи русской интеллигенціи за время отъ начала 80-хъ годовъ и до нашихъ дней *В. Г. Короленкѣ* принадлежитъ одно изъ самыхъ видныхъ и самыхъ почетныхъ мѣстъ. 30 лѣтъ стоитъ онъ „на славномъ посту“, являя образецъ русской интеллигентской мысли, совѣсти и дѣятельности въ ихъ лучшемъ, въ ихъ наиболѣе *правильномъ выраженіи*.

Литературная дѣятельность Короленка развернулась въ 80-хъ годахъ. Ей предшествовали годы ученія, годы испытаній и исканій; это была знаменитая эпоха второй половины 70-хъ годовъ. Короленко прошелъ черезъ весь искусъ броженія и революціоннаго настроенія того времени,—и его блестящіе очерки, которыми онъ дебютировалъ въ литературѣ, носятъ живой слѣдъ недавнихъ переживаній тюрьмы и ссылки. Молодой беллетристъ, огромное дарованіе котораго сразу оцѣнила публика и критика, выступалъ въ 80-хъ годахъ—какъ человѣкъ 70-хъ. Но тутъ-же обнаруживалась одна существенная особенность его ума и натуры: молодой писатель былъ уже человѣкъ сложившійся, *но не остановившійся*,—его міросозерцаніе, система его идей и убѣжденій казались опредѣлившимися и законченными, но его душа продолжала расширяться и обогащаться новыми переживаніями. Онъ шелъ впередъ... Взгляды, идеи и опытъ, вынесенные изъ „школы“ 70-хъ годовъ, не стали для него мертвою точкою,—идейною позиціею, съ которой иные не могли сдвинуться,—это былъ скорѣе отправный пунктъ дальнѣйшаго плаванія, маякъ, освѣщавшій горизонты.

Изъ движенія 70-хъ годовъ, въ которомъ было такъ много сектантскаго и утопическаго, Короленко не вынесъ ничего

сектантскаго и никакихъ утопій. Въ свое время онъ, разумѣется, отдавалъ дань молодости увлеченію властными идеями утопическаго соціализма и могъ питать иллюзіи, которыя тогда въ передовыхъ кругахъ распространялись на подобіе эпидеміи, но его ясный, острый и здоровый умъ оставался на сторожѣ и не переставалъ дѣлать свое дѣло— критики и контроля. У Короленка всегда проявлялось и чутье дѣйствительности, и пониманіе новыхъ, еще смутныхъ, потребностей, вновь возникающихъ недоразумѣній и запросовъ интеллигентской мысли и чувства. И ко многому, что назрѣвало въ 80-хъ годахъ, Короленко относился бережно и внимательно, какъ вдумчивый наблюдатель, какъ художникъ—мыслитель, который не только теоретически знаетъ, что „жизнь сложна", но умѣетъ интимно и проникновенно ощущать ея сложность.

И когда, позже, онъ оглядывался назадъ, вспоминая 70-е годы, эта эпоха рисовалась ему по преимуществу со стороны тѣхъ осложненій, какія уже тогда возникали въ сознаніи передового поколѣнія. „Вмѣстѣ съ народнической литературой"—писалъ онъ въ 90-хъ г.г., „наше поколѣніе изучало народъ... оно изучало его также практически, цѣлымъ опытомъ народническо-пропагандистскаго движенія. И мы были поражены сложностью, противорѣчіями, неожиданностями, которыя при этомъ встрѣчались...". („Воспоминанія о Чернышевскомъ", см. „книжку „Отошедшіе", стр. 79).—Съ этой стороны, движеніе 70-хъ годовъ представляется не столько попыткою проведенія въ жизнь готовыхъ—народническихъ—идей, сколько подвигомъ провѣрки старыхъ идей и исканія новыхъ. Соотвѣтственно этому, лучшимъ выразителемъ эпохи Короленко считаетъ Глѣба Успенскаго. „Вся литературная біографія Успенскаго"— говоритъ онъ—„все, за что мы его такъ любимъ, весь захватывающій интересъ его дѣятельности, художественной и публицистической, объясняется этой исторіей интеллигентной чуткой души, натыкающейся, въ поискахъ правды и жизненной гармоніи, на противорѣчія и диссонансы и все-таки не теряющей вѣры" (тамъ-же).—

Я уже имѣлъ случай цитировать это мѣсто изъ воспоминаній Короленка о Чернышевскомъ въ главѣ X-ой II-ой части, гдѣ рѣчь шла о поколѣніи 70-хъ годовъ. Если читатель по-

мнитъ, я указывалъ тамъ на бо́льшую сложность душевной организаціи этого поколѣнія сравнительно съ поколѣніемъ 60-хъ годовъ. Въ противуположность раціоналистическому пошибу мысли людей 60-хъ годовъ, люди 70-хъ отличались особою чуткостью къ ирраціональнымъ силамъ жизни и психики. Въ ихъ умонастроеніи уже обнаруживались тѣ черты, которыя потомъ, въ 80-хъ годахъ, выразились полнѣе и нерѣдко доходили до крайностей.

Мыслящіе люди, которые не останавливались и шли дальше, около этого времени (80-хъ г.г.) почувствовали живую потребность пересмотра наличнаго достоянія идей. Это было не только слѣдствіемъ пережитаго опыта; тутъ сказывалась также внутренняя потребность расширить свой кругозоръ и ввести въ сферу своихъ умственныхъ и моральныхъ интересовъ многое, что до того времени оставалось незамѣченнымъ или неоцѣненнымъ. Къ числу этихъ людей, не знавшихъ остановки, принадлежалъ и Короленко. Его произведенія 80-хъ годовъ были выраженіемъ не готовыхъ идей, а именно того „пересмотра“, о которомъ я говорю. Впослѣдствіи онъ самъ (въ статьѣ „Памяти А. П. Чехова“), вспоминая объ этомъ моментѣ, писалъ: „Русская жизнь закончила съ грѣхомъ пополамъ одинъ изъ своихъ короткихъ цикловъ, по обыкновенію не разрѣшившійся во что-нибудь реальное, и въ воздухѣ чувствовалась необходимость нѣкотораго „пересмотра“, чтобы пуститься въ путь дальнѣйшей борьбы и дальнѣйшихъ исканій“. („Отошедшіе“, 107).

Чтобы понять характеръ и значеніе этого „пересмотра“, нужно вникнуть въ нѣкоторыя особенности и отчасти въ самое содержаніе художественныхъ произведеній Короленка, написанныхъ въ 80-хъ годахъ.

2.

Возьмемъ сперва такія вещи, какъ „Въ подслѣдственномъ отдѣленіи“ (1880 г.), „Очерки сибирскаго туриста“ (1885), „Соколинецъ“ (1885), написанныя подъ еще свѣжими тогда впечатлѣніями тюрьмы и ссылки.

Въ первомъ изъ этихъ очерковъ главный интересъ сосредоточенъ на фигурахъ раскольниковъ и сектантовъ, съ

которыми автору пришлось столкнуться въ тюрьмѣ. Здѣсь надо различать самые образы, какъ они воспроизведены, отъ сужденій и размышленій автора о явленіяхъ, воплощенныхъ въ эти образы.

Фигуры Яшки—стукольщика, Камышинскаго мѣщанина и другихъ сохраняютъ нерушимо живой художественный и психологическій интересъ. Сужденія и размышленія автора представляютъ теперь только историческій интересъ: это—любопытный документъ той эпохи, когда передовая интеллигенція такъ живо интересовалась проявленіями народнаго протеста въ расколѣ и сектахъ. Народникамъ — пропагандистамъ 70-хъ годовъ въ расколѣ и сектантствѣ чудилось нѣчто родственное имъ по моральному закалу, по духу и частью даже по идеаламъ (въ нѣкоторыхъ сектахъ). Дѣлались попытки сближенія съ сектантами и раскольниками и также пропаганды въ этой средѣ соціалистическихъ идей, одушевлявшихъ передовую интеллигенцію. Попытки были неудачны, но все-таки вопросъ оставался открытымъ. Фактическая неудача не исключала возможности вѣрить по прежнему въ родство по духу, по моральнымъ предпосылкамъ между протестомъ интеллигенціи и протестомъ народнымъ, между интеллигентными искателями правды, борцами за идеалъ соціальной справедливости и чисто-народными искателями правды, „взыскующими града“: При этомъ самому содержанію идей не придавали большого значенія и относились съ величайшею терпимостью къ самобытнымъ продуктамъ народной мысли, зачастую совершенно нелѣпымъ. Идеи дѣло наживное,—онѣ могутъ со временемъ измѣниться,—темныя головы можно просвѣтить,—слѣпую традиціонную вѣру, казалось, не такъ ужъ трудно превратить въ новую вѣру, просвѣщенную и осмысленную... Первенствующее значеніе приписывали самому факту исканія правды, готовности пострадать за свои убѣжденія, хотя бы и вздорныя, моральной стойкости и фанатизму.

Повидимому, исходя именно изъ этихъ предпосылокъ, въ тѣ годы общепринятыхъ, наблюдалъ Короленко тѣхъ раскольниковъ и сектантовъ, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Онъ рисуетъ Яшку-стукольщика съ нескрываемою симпатіей и старается доказать, что этотъ фанатикъ, „недоступный ни страху, ни лести, ни угрозѣ, ни ласкѣ“, вовсе

не былъ сумасшедшимъ, каковымъ признала его „сибирская психіатрія“.—„Я рѣшаюсь утверждать“, говоритъ онъ, „что Яшка былъ вовсе не сумасшедшій, а подвижникъ“... („Очерки и разсказы“, т. I, 223).—Прочтемъ дальше: „Да, если въ нашъ вѣкъ есть еще подвижники, строго-послѣдовательные, всѣмъ существомъ своимъ отдавшіеся идеѣ *(какова бы она ни была)* *), неумолимые къ себѣ, „не вкушающіе идоложертвеннаго мяса“ и отвергшіеся всецѣло отъ грѣховнаго міра, то—рекомендую—такой именно подвижникъ находился за крѣпкою дверью одной изъ одиночекъ подслѣдственнаго отдѣленія. Яшка... являлъ въ себѣ весьма опредѣленныя черты этого типа“ (I, 223).

Фигура этого подвижника выписана превосходно: получается яркое и цѣльное впечатлѣніе. Но это впечатлѣніе оказывается сложнѣе, чѣмъ, повидимому, казалось автору, и наводитъ на размышленія и выводы, не вполнѣ совпадающіе съ тѣми, какіе предъявляетъ намъ Короленко. Ему, дѣйствительно, удалось доказать намъ, что Яшка—*подвижникъ*. Но, мнѣ кажется, ему не удалось опровергнуть экспертизу „сибирской психіатріи“: на меня Яшка производитъ опредѣленное впечатлѣніе, если не сумасшедшаго въ собственномъ смыслѣ, то несомнѣннаго психопата. Достаточно извѣстны многочисленныя формы психозовъ, находящихся на грани между душевнымъ здоровьемъ и сумасшествіемъ. Яшка—подвижникъ, но подвижникъ—психопатъ, человѣкъ душевнобольной,—правда, изъ числа тѣхъ, которыхъ нѣтъ никакой надобности сажать въ домъ умалишенныхъ.

Мнѣ сдается, что и другой сектантъ, „Камышинскій мѣщанинъ“,—также не вполнѣ благополученъ. Это—представитель курьезной секты, извѣстной подъ именемъ „нѣтовщины“. На всѣ вопросы онъ отвѣчаетъ. „нѣтъ“, „не знаю“, „ничего“. Если не ошибаюсь, секта мало изучена, но ясно, по крайней мѣрѣ, одно: передъ нами крайнее, доведенное до абсурда, выраженіе сектантской изолированности и нетерпимости,—одна изъ самыхъ дикихъ формъ изувѣрства. Камышинскій мѣщанинъ—фанатикъ и подвижникъ не меньше Яшки. „Казалось бы“, — говоритъ Короленко — „къ тому, что характеризуется этимъ словомъ „ничего“, можно

*) Курсивъ мой.

относиться лишь безразлично. Между тѣмъ, Камышинскій мѣщанинъ относится къ нему страстно, онъ является какъ бы адептомъ, подвижникомъ чистаго отрицанія. Онъ безстрашно исповѣдуетъ свое „ничего“ передъ врагами этого оригинальнаго ученія“ (I, 229).

Изъ слѣдующаго затѣмъ сопоставленія этого народнаго „нигилиста“ съ Яшкой получается выводъ, что оба они, несмотря на глубокое различіе вѣрованій, принадлежатъ къ одному и тому же типу—фанатиковъ, готовыхъ пострадать за свои „убѣжденія“. Но этимъ не ограничиваются черты сходства. Дѣло въ томъ, что Короленкѣ кажется (или казалось тогда), что суть дѣла тутъ не въ положительныхъ вѣрованіяхъ, не въ „теоріи“, не въ догмѣ, а въ отрицательномъ, протестующемъ отношеніи обоихъ къ существующему порядку вещей. Яшка отрицаетъ этотъ порядокъ вещей съ точки зрѣнія раскольника-старовѣра. Камышинскій мѣщанинъ отрицаетъ его, исходя изъ какого-то народнаго „нигилизма“ или „анархизма“. Яшка, въ своемъ родѣ,—крайній правый, Камышинскій мѣщанинъ—крайній лѣвый. И оба—отрицатели существующаго строя, „революціонеры“. На этомъ пунктѣ они сходятся. И Короленко ставитъ вопросъ: „Что это: непримиримые враги или союзники?“ (I, 230). И онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что скорѣе это—союзники, хотя и безсознательные.—Камышинскій мѣщанинъ представляется Короленкѣ подлиннымъ революціонеромъ. Что касается Яшки, то авторъ думаетъ, что „его сектантскіе взгляды играли (у него) подчиненную роль“, что „они опредѣлялись его отношеніями къ практической жизни, истекали изъ основъ его практическаго міросозерцанія“ (I, 230). Но обращаясь къ характеристикѣ этого „практическаго міросозерцанія“ Яшки, Короленко не можетъ скрыть своего изумленія и—пожалуй—недоумѣнія передъ его нелѣпостью. „И что это было за міросозерцаніе! Какая-то странная смѣсь миѳологіи и реализма!“—восклицаетъ онъ (231). И намъ невольно приходитъ въ голову мысль, что ссылками на невѣжество и темноту народа нельзя объяснить всю нелѣпость иныхъ воззрѣній, создающихся въ расколахъ и сектахъ: приходится долю этой нелѣпости отнести на счетъ либо просто—глупости, либо—такого психопатологическаго уклада мысли, при которомъ явленія и отношенія,

ясныя, какъ Божій день, отражаются въ сознаніи на-выворотъ, бѣлое кажется чернымъ, черное—бѣлымъ, существующее—несуществующимъ, небывалое и невозможное—безспорнымъ и фактическимъ. Такое „состояніе сознанія“ нельзя назвать здравымъ. Вотъ послушаемъ: Яшка стоитъ „за Бога и великаго Государя“ и за „старый правъ-законъ“. Онъ—раскольникъ-староверъ, глубоко убѣжденный, что Государь исповѣдуетъ этотъ самый „правъ-законъ“, а правительство, служа Антихристу, преслѣдуетъ людей старой вѣры и улавливаетъ ихъ души въ свои, антихристовы, сѣти, съ какою цѣлью оно въ 1861 году отмѣнило крѣпостное право, а потомъ ввело земское самоуправленіе. По глубокому убѣжденію Яшки, за которое онъ готовъ принять казнь, „съ 61 года міръ рѣзко раскололся на два начала: одно—государственное, другое—гражданское, земское. Первое Яшка признавалъ, второе отрицалъ всецѣло, безъ всякихъ уступокъ. Надъ первымъ онъ водрузилъ осьмиконечный крестъ и пріурочилъ его къ истинному правъ-закону. Второе называлъ царствомъ грядущаго антихриста“ (I, 232).

Слѣдя за дальнѣйшимъ изложеніемъ этой фантасмагоріи (стр. 232—238), мы не можемъ отдѣлаться отъ подозрѣнія, что она не просто плодъ невѣжества, что она сложилась на патологической основѣ. И мы улавливаемъ эту основу въ несокрушимой вѣрѣ Яшки въ Антихриста. Онъ убѣжденъ въ томъ, что всѣ новые порядки, всѣ эти „гражданскія власти“, земство, новый судъ, все это—дѣло рукъ Антихриста. И если человѣкъ, исповѣдующій „правъ-законъ“, отступитъ отъ него и примирится съ новыми порядками, то его душу ждетъ неминуемая гибель. Страхъ передъ Антихристомъ, страхъ за свою душу—вотъ центральный пунктъ помѣшательства Яшки. „Онъ былъ вполнѣ увѣренъ“—говоритъ Короленко—„что люди, державшіе его здѣсь, сознательно стремились погубить его душу, и если до сихъ поръ его еще „не прикололи“, то лишь потому, что живая Яшкина душа доставитъ Антихристу большее удовольствіе“ (I, 234—235).

Передъ нами довольно ясно, какъ мнѣ кажется, выраженный психіатрическій фактъ—психоза на религіозной почвѣ. Если это такъ, то и безоглядный протестъ Яшки, выражаемый непрерывнымъ стукомъ и смѣлымъ, негодующимъ

крикомъ по адресу Антихриста и его слугъ, самоотверженіе и „подвижничество“ этого сектанта выступаютъ въ иномъ освѣщеніи, исключающемъ возможность тѣхъ толкованій, какія даетъ авторъ.

Но эти толкованія, какъ и попытки бесѣды и спора съ Яшкой, представляютъ своеобразный интересъ—какъ отголосокъ или документъ эпохи, когда самый фактъ протеста, подвигъ самоотверженія, стойкость убѣжденія или вѣрованія, „подвижничество“ цѣнились, такъ сказать, an sich, казались огромною силою, способною вершить великія дѣла.

Однажды Яшка обратился къ автору съ вопросомъ: „Ты какого правъ-закону будешь? Нашего же, видно?“

Тутъ читаемъ слѣдующее: „Чтобъ испытать Яшкину терпимость, я рѣзко отвергъ свою солидарность съ Яшкинымъ правъ-закономъ и поставилъ передъ этимъ сектантомъ, фанатикомъ обрядности, основанія совершенно несроднаго ему ученія. Въ выраженіяхъ, понятныхъ для Якова, я развилъ извѣстный кодексъ практической нравственности съ основами братства и равенства. Злоупотребляя нѣсколько его невѣжествомъ въ догматикѣ и св. писаніи, я опирался на изреченіи: „по дѣламъ ихъ познаете ихъ“ и на подходящихъ текстахъ изъ Іоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ея мѣсто „дѣла“, т. е. практическое стремленіе къ осуществленію формулы любви. Все это я выдавалъ за свою религію“ (стр. 237—238).

Сверхъ ожиданія, Яшка обнаружилъ большую терпимость. Онъ слушалъ внимательно и, какъ видно изъ слѣдующаго затѣмъ діалога, кое-что даже понялъ.—„Что жъ? Это тоже хорошо... сказалъ онъ въ раздумьи,—конечно, всякъ по своему разумѣнію...“—Но, при всемъ томъ, оказывается, что онъ „не замѣтилъ самаго существеннаго... въ исповѣданіи“ В. Г. Короленка (238). Этимъ достаточно объясняется „терпимость“ Яшки. Очевидно, слушая внимательно, онъ въ „исповѣданіи“ собесѣдника слышалъ не то, что въ немъ заключалось, а что-то свое. И если въ предъявленномъ ему „ученіи“, „ему совершенно несродномъ“, онъ замѣтилъ протестъ противъ существующаго порядка вещей, отрицаемаго во имя любви къ ближнему, братства и равенства, то это казалось ему лишь своеобразнымъ выраженіемъ его собственной навязчивой идеи о власти и пришествіи

Антихриста. Собесѣдники говорили на разныхъ языкахъ— не потому что одинъ былъ человѣкъ темный и невѣжественный, а другой былъ человѣкъ хорошо образованный и стоялъ на высотѣ гуманныхъ и передовыхъ идей времени, а потому собственно, что первый былъ душевно-больной, а второй— на рѣдкость душевно—здоровый. Избытокъ душевнаго здравія иногда мѣшаетъ догадаться о душевной болѣзни другого, подобно тому какъ избытокъ физическаго здоровья нерѣдко является препятствіемъ въ дѣлѣ интимнаго пониманія нами тѣлесныхъ немощей другихъ людей.

То, что такъ наглядно обнаружилось въ этомъ эпизодѣ, сплошь и рядомъ повторялось, въ разныхъ комбинаціяхъ, при столкновеніи передовыхъ людей 70-хъ годовъ съ широкою общественною средою, съ народомъ, съ сектантами, съ раскольниками.

Поскольку 70-е годы были окрашены настроеніемъ и идеологіею передовой части общества и молодежи, постольку эта эпоха представляется намъ, если можно такъ выразиться, наиболѣе „непонимающею" изо всѣхъ эпохъ въ исторіи русской интеллигенціи. Я хочу сказать, что, въ силу рѣзкаго идеалистическаго настроенія, какимъ отличалось это время, въ силу безпримѣрнаго подбора сильныхъ, высокихъ, здравыхъ, морально-крѣпкихъ натуръ, въ большомъ количествѣ выступившихъ тогда на арену общественной дѣятельности и почти цѣликомъ ушедшихъ „въ революцію", создалось положеніе, напоминавшее то, что происходило въ античномъ мірѣ въ первые вѣка христіанской эры. Это была хитросплетенная сѣть и непрерывная цѣпь взаимнаго непониманія и недоразумѣній—между широкой общественной средой и народной массой съ одной стороны и кругами и кадрами революціонно-настроенной, соціалистической молодежи—съ другой. Рознь, „отцовъ" и „дѣтей" обострилась въ эту эпоху до крайнихъ предѣловъ, далеко оставивъ за собою ту, которая объявилась въ 60-хъ годахъ, въ эпоху Базаровыхъ и Кирсановыхъ. Но что особенно любопытно и характерно, это тотъ родъ недоразумѣній, яркимъ образчикомъ которыхъ является вышеразсмотрѣнный эпизодъ. Рядомъ съ рѣзкимъ антагонизмомъ между передовой арміей народническаго соціализма и остальной — „буржуазной" — средой, возникали сплошныя иллюзіи „родства по духу" народника

съ мужикомъ, соціалиста съ сектантомъ, революціонера съ раскольникомъ. Въ этихъ иллюзіяхъ особую роль сыграло вышеуказанное предрасположеніе здоровыхъ натуръ мѣрить на свой аршинъ натуры больныя,—гуманныхъ—приписывать свою гуманность негуманнымъ, — просвѣщенныхъ умовъ—усматривать какія-то проблески здравой мысли въ умахъ безнадежно-темныхъ,—наконецъ, склонность людей съ высокимъ моральнымъ строемъ — видѣть таковой же тамъ, гдѣ было только изувѣрство, и еще тамъ, гдѣ наблюдатель, свободный отъ иллюзій, увидалъ бы просто—психозъ.

Лучшіе люди 70-хъ годовъ еще сохраняли кое-что отъ раціонализма и упрощеннаго міросозерцанія 60-хъ годовъ. Этотъ элементъ причудливо сочетался съ высокимъ идеалистическимъ настроеніемъ „семидесятниковъ" и вошелъ въ составъ ихъ „психологической религіозности". Люди вѣрили въ „искру божью", живущую во всякой душѣ человѣческой, вѣрили потому, что въ ихъ собственной душѣ она несомнѣнно присутствовала и разгоралась яркимъ пламенемъ. И, по примѣру людей 60-хъ годовъ, они думали, что стоитъ только просвѣтить темнаго человѣка, разсказать ему всю правду, раскрыть ему „хитрую механику" господствующей неправды и зла соціальнаго строя,—и темный человѣкъ воспламенится такой же жаждой подвига, какою пламенѣли пропагандисты, и масса подымется на борьбу за великій соціальный идеалъ.

3.

Въ „Очеркахъ сибирскаго туриста" центральною фигурою является знаменитый „Убивецъ"—одно изъ превосходныхъ созданій Короленка-художника. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ образъ важенъ и какъ документъ, свидѣтельствующій о стремленіяхъ Короленка-моралиста и идеолога разобраться въ сложныхъ вопросахъ этики идейной борьбы.

„Убивецъ" также изъ числа „взыскующихъ града". Подъ вліяніемъ разныхъ постигшихъ его несчастій онъ „пошатился въ вѣрѣ" и „сталъ задумываться". Въ поискахъ новой вѣры и „праведныхъ людей", онъ сдѣлался бродягой и, полагая, что „праведныхъ людей" надо искать въ тюрьмахъ, сталъ добровольнымъ арестантомъ: „назвался бродягой,—и посадили. Вродѣ крестъ на себя наложилъ..." (I, 271). Въ тюрьмѣ судьба свела его съ человѣкомъ, ко-

торый сразу же произвелъ на него впечатлѣніе „праведнаго“, а впослѣдствіи оказался великимъ мерзавцемъ и преступникомъ. Раскольникъ и глава шайки грабителей, этотъ человѣкъ, хилый старикъ, владѣлъ тайной магическаго воздѣйствія на темныхъ обитателей тюрьмы. Онъ прикинулся подвижникомъ, пріемлющимъ муки „покаянія ради“.—„Прельстилъ онъ меня тогда“ — разсказываетъ „Убивецъ“ — „истинно тебѣ говорю: за сердце взялъ. Удивительное дѣло! Послѣ-то я его хорошо узналъ: чистый дьяволъ, прости Господи, сомуститель и врагъ. А какъ могъ изъ себя святого представить!...“ (I, 273). И „Убивцу“, который тогда „былъ въ задумчивости, вродѣ оглашеннаго, взошло въ голову, что есть этотъ старикъ истинный праведникъ, какіе встарину бывали“ (I, 273—274).—„Убивецъ“ совершенно подчинился гипнотизирующему внушенію старика. Старикъ исходилъ изъ положенія: „не согрѣшишь—не покаешься, не покаешься—не спасешься“ и училъ, что спасеніе—не въ тюрьмѣ, какъ думалъ „Убивецъ“, а на волѣ, въ мірѣ, гдѣ такъ много соблазновъ, и человѣку дана возможность грѣшить, сколько угодно, а слѣдовательно, и открытъ путь къ спасенію черезъ покаяніе. Эта дикая идея, какъ извѣстно, практиковавшаяся въ нѣкоторыхъ безпоповскихъ толкахъ старообрядчества, приводила къ ужасающему извращенію нравовъ и къ всевозможнымъ преступленіямъ, наглядно показывая, что чисто-религіозное стремленіе къ „спасенію души“ принципіально, по существу, вовсе не совпадаетъ съ нравственнымъ началомъ въ человѣкѣ. Коренное различіе между ними ясно обозначилось и въ психологіи „Убивца“. Онъ усвоилъ доктрину старика и пошелъ за нимъ, но эта доктрина оказалась въ рѣшительномъ антагонизмѣ съ моральною основою его натуры,—и эта послѣдняя взяла верхъ.

Передъ нами—морально-здоровая натура, какихъ много, но съ повышенными запросами нравственнаго чувства и незаурядною тревогою совѣсти. Вмѣстѣ съ тѣмъ это одна изъ тѣхъ чрезвычайно-привлекательныхъ натуръ, основу которыхъ образуютъ глубокая правдивость, искренность и честность въ соединеніи съ простодушіемъ и довѣрчивостью ребенка. Грѣхъ къ нему не пристанетъ, несмотря ни на какія внушенія. И если, волею судебъ, ему придется прибѣгнуть къ насилію и совершить преступленіе, то окажется, что,

во-первыхъ, оно было обусловлено мотивами совершенно безкорыстными и даже благородными, и во-вторыхъ, что въ его сознаніи преступленіе само по себѣ остается грѣхомъ, о которомъ человѣкъ вспоминаетъ съ отвращеніемъ и жгучею болью совѣсти.

Вспомнимъ обстоятельства, при которыхъ совершено было убійство. Өедоръ Силинъ („Убивецъ“, какъ его потомъ прозвали), по наущенію того же старика („Безрукаго“), долженъ былъ убить проѣзжую даму, которая ѣхала съ маленькими дѣтьми къ мужу, политическому ссыльному. Ихъ и везъ ямщикъ Өедоръ Силинъ, выпущенный уже изъ тюрьмы вмѣстѣ съ Безрукимъ и проживавшій на заимкѣ, гдѣ ютилось воровское гнѣздо, въ которомъ Безрукій и былъ главаремъ. Старикъ еще въ тюрьмѣ заставилъ Силина поклясться, что будетъ слушаться его во всемъ и безпрекословно повиноваться ему. И вотъ теперь, когда проѣзжали глухое мѣсто, логъ подъ „чертовымъ пальцомъ“, Силинъ увидалъ: „стоитъ на дорогѣ сѣрый конекъ, старикъ на немъ сидитъ, глаза у него... какъ угли...“—И послѣдовавшую затѣмъ сцену „Убивецъ“ передавалъ потомъ автору (или разсказчику) такъ: „Я и вожжи-то выпустилъ изъ рукъ.Кони вплоть подъѣхали къ сѣрому, стали сами собой.—„Өедоръ!—старикъ говоритъ—сойди-ка наземь“.—Сошелъ я съ козелъ, послушался его, онъ тоже съ сѣдла слѣзаетъ. Конька своего сѣраго поперекъ дороги передъ тройкой поставилъ. Стоятъ мои кони, ни одинъ не шелохнется. Я тоже стою, какъ околдованный. Подошелъ онъ ко мнѣ, говоритъ что-то, за руку взялъ, ведетъ къ кошовкѣ. Гляжу: въ рукѣ у меня топоръ!.. Иду за нимъ... и словъ у меня супротивъ его, душегуба, нѣту, и силъ моихъ нѣту противиться.—„Согрѣши, говоритъ, а послѣ спокаешься...“—Больше не помню. Подошли мы вплоть къ кошовушкѣ... Онъ сталъ обокъ. „Начинай, говоритъ. Сначала бабу-то по лбу!“—Глянулъ я тутъ въ кошовку... Господи, Боже! Барыня-то моя сидитъ, какъ голубка ушибленная, ребятокъ руками кроетъ, сама на меня большими глазами смотритъ. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядятъ, точно пташки. Понимаютъ ли, нѣтъ ли...—И точно я съ этого взгляду отъ сна какого прокинулся. Отвелъ глаза, подымаю топоръ... А у самого-то сердце закипаетъ... Посмотрѣлъ на Безрукаго, дрогнулъ онъ... А у

меня въ сердцѣ одна злоба. И знаю, что сейчасъ страшное дѣло сдѣлаю, а жалости нѣту нисколько. Посмотрѣлъ въ другой разъ на старика: глаза у него зеленые, такъ и забѣгали... Испужался, мечется передо мной, какъ змѣя. Поднялась у меня рука, размахнулся... состонать не успѣлъ старикъ, повалился мнѣ въ ноги, а я его, братецъ, мертваго... ногами. Самъ звѣремъ сталъ, прости меня, Господи Боже!..“ (I, 287—288).

Эта превосходная страница представляетъ высокій интересъ и для психолога, и для моралиста, и для криминалиста. Не менѣе важна она и для насъ, изучающихъ, съ психологической точки зрѣнія, исторію русской интеллигенціи, смѣну ея идеологій, развитіе ея этики.

Какъ для отдѣльнаго человѣка, такъ и для группъ, классовъ и той междуклассовой среды, которая называется „интеллигенціей“, вопросы психологіи и этики преступленія вообще, убійства въ частности могутъ, по праву, быть названы „насущными“, глубоко жизненными, роковыми и въ своемъ родѣ „проклятыми“. Ибо—„грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“! Ибо фатальное стеченіе обстоятельствъ, внушенія страстей, взрывъ аффектовъ, возмущенное нравственное чувство, героизмъ борьбы, фанатизмъ идей и многое другое зачастую ставитъ и личность, и общество на ту узкую межу, которая отдѣляетъ „добро человѣческое“ отъ „зла человѣческаго“. Переступивъ, подъ давленіемъ обстоятельствъ, эту грань, человѣкъ, попадаетъ подъ иго ужаса—грѣха и преступленія, и нѣтъ утоленія его нравственнымъ мукамъ, если онъ сознаетъ этотъ ужасъ, и въ высшей степени проблематично и сомнительно успокоеніе его совѣсти иллюзорною увѣренностью, будто преступленіемъ онъ принесъ пользу, и будто оно не подлежитъ сужденію съ точки зрѣнія элементарной человѣческой морали и должно быть оправдано нѣкоторой высшей инстанціей, не считающейся съ прописной моралью десяти заповѣдей и параграфами уголовнаго кодекса. Есть нѣчто общее между законами мысли и законами совѣсти: какъ въ умственномъ трудѣ нельзя, стремясь къ знанію, къ созданію интеллектуальныхъ цѣнностей, забыть и обойти элементы—грамоту, 4 правила ариѳметики и т. п., такъ точно въ области морали нельзя безнаказанно, въ стремленіи къ высшимъ моральнымъ благамъ, къ подвигу, забыть

и нарушить элементы нравственности, основныя, общеобязательныя правила: „не укради“, „не убій“...

Утрата элементарныхъ знаній, доходящая до потери основныхъ понятій и самого языка, это—то несчастье, которое называется идіотизмомъ. Утрата основныхъ моральныхъ чувствъ, при которой человѣкъ, совершивъ убійство, хотя бы и безкорыстное или вынужденное (напр., при самообoронѣ), не чувствуетъ ни угрызенія совѣсти, ни жалости, ни содроганія передъ самымъ фактомъ—отнятія чужой человѣческой жизни,—такая утрата есть признакъ моральнаго упадка или извращенія, это—несчастье, которое, въ его крайнемъ выраженіи, можно назвать „моральнымъ идіотизмомъ“.

До сихъ поръ подавляюще-огромное большинство человѣчества пребываетъ, въ отношеніи къ убійству, на очень низкой ступени моральнаго развитія: убивая при самообoронѣ, на войнѣ, на дуэли, по политическимъ и религіознымъ мотивамъ, люди не чувствуютъ боли совѣсти, не содрогаются передъ ужасомъ содѣяннаго. Исключенія рѣдки. Къ ихъ числу, безспорно, принадлежитъ Ѳедоръ Силинъ, „Убивецъ“, человѣкъ простой, наивный, темный, но на рѣдкость душевно-чистый и морально-здравый.

Послѣ убійства „онъ самъ повинился: берите меня, я человѣка убилъ“. И потомъ, когда благодаря хлопотамъ спасенной имъ дамы, его безъ суда выпустили на свободу, онъ еще продолжаетъ живо чувствовать свой грѣхъ. Его совѣсть не можетъ успокоиться. Онъ считаетъ себя оскверненнымъ пролитою кровью и мечтаетъ предстать передъ „правильнымъ судомъ“: „привелъ бы Богъ у присяжныхъ судей обсудиться, какъ они скажутъ“.

Безъ всякаго сомнѣнія, „правильный судъ“ вынесъ бы резолюцію: нѣтъ, не виноватъ, несмотря на то, что, очевидно, при данныхъ обстоятельствахъ вовсе не было надобности убивать старика: Силинъ легко могъ спасти намѣченныя разбойникомъ жертвы, не прибѣгая къ убійству. На это вполнѣ правильно указалъ ему „засѣдатель“: „Посмотри ты на себя, какой ты есть дѣтина. Вѣдь супротивъ тебя старикъ—все одно какъ ребенокъ. Онъ тебя сомущать, а ты бы ему благороднымъ манеромъ ручки-то назадъ, да къ начальству. А ты, не говоря дурного слова, бацъ!.. и свалилъ...“

(I, 292). Но засѣдатель не правъ, когда утверждаетъ, что за такое „самоуправство" Силинъ подлежитъ уголовному наказанію. „Правильный судъ" установилъ бы, что „самоуправство" тутъ было неумышленное, что убійство было совершено *подъ вліяніемъ аффекта, почти въ умоизступленіи*. Ударъ топоромъ, уложившій старика, былъ непроизвольною реакціею человѣка, очнувшагося отъ гипноза, отъ наважденія и обезумѣвшаго отъ мгновеннаго сознанія, что онъ былъ жертвою обмана, слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ злодѣя. Имъ обуяла ярость раба, разбившаго свои цѣпи. Онъ не только защищалъ другихъ, но и мстилъ за себя. Онъ топталъ трупъ ногами. Такое убійство невмѣняемо не только юридически, но и морально. Но вотъ что необходимо отмѣтить: эта невмѣняемость сводится только къ освобожденію убійцы отъ уголовной отвѣтственности передъ закономъ и отъ моральной вины передъ обществомъ. Самъ же онъ не можетъ заглушить голоса своей совѣсти, не въ силахъ отдѣлаться отъ чувства и сознанія грѣха. Силинъ разсказываетъ: когда барыня „стала уѣзжать, подошла ко мнѣ прощаться, обняла... Ребятокъ обнимать заставляетъ.—Что же? говорю. Не скверни младенцевъ. Душегубъ вѣдь я...—Опасался признаться, что дѣти и сами грѣха моего забоятся. Да нѣтъ, поднесла она маленькихъ, старшенькій самъ подошелъ. Какъ обвился мальчонко вокругъ шеи моей ручками,—не выдержалъ я, заревѣлъ. Слезы такъ и бѣгутъ. Ну, и добрая же душа у бабы этой!.. Можетъ, за ея добрую душу и съ меня Господь грѣха моего не взыщетъ..." (I, 291).

4.

Изъ вышеизложеннаго я вывожу заключеніе, что очеркъ „Убивецъ", по замыслу автора, былъ не просто психологическимъ и бытовымъ этюдомъ, но и попыткою рѣшить принципіальный вопросъ о томъ, возможно ли *всецѣлое, абсолютное моральное* оправданіе убійства, совершеннаго безкорыстно, убійства, если можно такъ выразиться, „альтруистическаго". Отвѣтъ, вытекающій изъ очерка, гласитъ: *абсолютное оправданіе невозможно*, ибо никакимъ оправдательнымъ приговоромъ суда и общественнаго мнѣнія нельзя

вытравить изъ памяти кошмарнаго воспоминанія, нельзя залѣчить душевной раны,—и до конца дней будетъ преслѣдовать человѣка скорбное сознаніе: „а все-таки я—убійца“, „я пролилъ кровь человѣческую...“ Этотъ выводъ, однако, требуетъ одного, весьма существеннаго, ограниченія: онъ сохраняетъ свою силу только въ отношеніи къ такимъ натурамъ, какъ Ѳедоръ Сплинъ. Много ли ихъ? Быть можетъ не такъ ужъ мало, какъ кажется. Быть можетъ, то, что переживаетъ Ѳедоръ Сплинъ послѣ убійства, въ той или иной мѣрѣ доступно среднему, нормальному человѣку и только зачастую, по различнымъ мотивамъ, скрывается отъ посторонняго взора, затаивается въ душѣ, какъ нерѣдко затаивается многое человѣчное.

Но есть и другое, чрезвычайно-важное, условіе, заставляющее человѣка не только затаивать, но и, по возможности, *подавлять въ себѣ*, даже *атрофировать* побужденія и проявленія высшей человѣчности: человѣкъ инстинктивно чувствуетъ, что, если дать имъ волю, то ему придется такъ или иначе „выбыть изъ строя“,—погибнуть въ борьбѣ за существованіе, или сторониться отъ жизни, бѣжать изъ общества, замкнуться въ себѣ, превратиться въ зрителя, не принимающаго участія въ жизненной драмѣ; и нѣкій инстинктъ—инстинктъ общественности—говоритъ ему, что это—путь опасный, онъ ведетъ къ безнадежному эгоизму добродѣтели, къ холоду одинокаго существованія, къ атрофіи лучшихъ человѣческихъ чувствъ. И повинуясь могучему инстинкту общественности, который сильнѣе инстинкта самосохраненія, человѣкъ предпочитаетъ тревоги, конфликты и опасности жизни, гдѣ „грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, абсолютному покою совѣсти, которой въ одиночествѣ даже не на чемъ будетъ упражняться, и которая—безъ упражненія—атрофируется *въ невѣдѣніи зла.*

Для людей мыслящихъ тутъ возникаетъ огромный принципіальный вопросъ,—одинъ изъ тѣхъ „проклятыхъ“, мучительныхъ вопросовъ, которые *сейчасъ* не поддаются исчерпывающему рѣшенію, но которые можно „обойти“, да и поневолѣ приходится обходить. Въ 80-хъ годахъ, послѣ только-что пережитого опыта террористической борьбы, вопросъ *о закономѣрности насилія въ борьбѣ за правду* явился однимъ изъ очередныхъ. Л. Н. Толстой, для котораго не было

трудностей, смущающихъ и останавливающихъ обыкновеннаго смертнаго, и который такъ дерзновенно разрубалъ всевозможные гордіевы узлы, выступилъ тогда съ своимъ радикальнымъ ученіемъ о *„непротивленіи злу насиліемъ“*. Онъ рѣзко-послѣдовательно, безъ малѣйшихъ уступокъ, проводилъ это ученіе въ своихъ религіозно-моральныхъ трактатахъ и иллюстрировалъ его художественно сказками. Короленко въ очеркѣ „Убивецъ“, кажется, независимо отъ пропаганды Толстого, *поставилъ* вопросъ высоко-художественно, но не сказочно, и, по моему мнѣнію, далъ ему не исчерпывающее, но до поры до времени удовлетворительное рѣшеніе, само собою вытекающее изъ правильной постановки вопроса: насиліе въ его крайней формѣ, какъ убійство, есть великій грѣхъ и несчастье для совершившаго его даже тогда, когда оно вызвано благородными побужденіями,—эти побужденія, оправдывая насильника (или убійцу), не избавляютъ его отъ душевныхъ мукъ, отъ укоровъ совѣсти,—и при данномъ положеніи вещей во всемъ цивилизованномъ мірѣ эта трагедія неизбѣжна.

Но Короленко не ограничился этимъ и на сказки Толстого отвѣтилъ также сказкой — „Сказаніемъ о Флорѣ, Агриппѣ и Менахемѣ, сынѣ Іегуды“.

5.

Римляне, хозяйничая въ Іудеѣ, грабятъ и убиваютъ безъ удержу. Народъ стонетъ подъ игомъ, терпя всякія обиды и насилія. Мудрый Менахемъ, слѣдуя героическимъ традиціямъ своихъ предковъ, проповѣдуетъ возстаніе, священную войну противъ римлянъ. Кроткіе ессеи въ бѣлыхъ одеждахъ, напротивъ, стоя на точкѣ зрѣнія Л. Н. Толстого, проповѣдуютъ „непротивленіе злу насиліемъ“. Они говорятъ Менахему: „Ты сѣешь зло ученіемъ, которое зоветъ на борьбу! Когда осаждаютъ городъ, и городъ сопротивляется, то осаждающіе предлагаютъ жизнь кроткимъ, а мятежныхъ предаютъ смерти. Мы проповѣдуемъ народу кротость, чтобы онъ могъ избѣгнуть гибели... *Воду не сушатъ водой, но огнемъ, и огонь не гасятъ пламенемъ, но водой. Такъ и силу не побѣждаютъ силой, которая есть зло“... *)*. („Очерки и

*) Курсивъ мой.

разсказы“, кн. Ш, стр. 24—25). На это мудрый Менахемъ резонно отвѣчаетъ: „Не видны пути Господни смертному оку: быть можетъ, мы, защитники свободы, погибнемъ, а вы останетесь съ дѣтьми и дѣтьми дѣтей. Тогда, кроткіе ессеи, не вспомните ли вы съ благодарностью о насъ, мятежныхъ, привлекшихъ на себя весь гнѣвъ насильниковъ и своею гибелью купившихъ вамъ миръ и спокойствіе?... Будьте же благодарны къ гибнущимъ вы, кроткіе и сохраняющіе жизнь; ибо ваша кротость получаетъ цѣну лишь посредствомъ нашей строптивости, а ваше спокойствіе подобно цвѣтамъ, расцвѣтающимъ на поляхъ, удобренныхъ нашею кровью...“ (Ш, 25—26). „...*Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро въ ея примѣненіи* *). Сила руки—зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабѣйшаго; когда же она поднята для труда и защиты ближняго,—она добро... Огонь не тушатъ огнемъ, а воду не заливаютъ водой. Это правда. *Но камень дробятъ камнемъ, сталь отражаютъ сталью, а силу—силой* *). И еще: насиліе римлянъ—огонь, а смиреніе ваше—дерево. Не остановится, пока не поглотитъ всего...“ (Ш, 25—26).

И въ заключеніе мудрый Менахемъ разсказываетъ своимъ ученикамъ притчу объ Ангелѣ *Невѣдѣнія*, который не различалъ добра и зла земного, не видѣлъ ужасовъ, не слышалъ стоновъ. Всевышній послалъ его на землю: „Лети вотъ туда на землю, пусть люди увидятъ твою ясность и устыдятся мрачнаго позора. Устыдятся и бросятъ. Твое невѣдѣніе такъ сильно, что и они забудутъ о порокѣ“.—Увы! люди не устыдились, и только Ангелъ въ своемъ невѣдѣніи сотворилъ—невольно—великое зло: онъ помогъ злымъ людямъ пролить кровь праведныхъ. Кровь праведнаго „попала на бѣлоснѣжную одежду ангела“, а слухъ его „былъ пораженъ предсмертнымъ стономъ человѣка, котораго онъ погубилъ по невѣдѣнію...“ Вернувшись на небо, ангелъ проситъ Бога „снять тяжесть, которая давитъ ему сердце, смыть съ одежды эти отвратительныя алыя пятна“. Богъ отвѣчаетъ ему: „Я не сдѣлаю этого, но сдѣлаю другое: вмѣсто *невѣдѣнія*, я дамъ тебѣ *скорбное пониманіе*... Я заповѣдаю тебѣ носить эту кровь, какъ святыню. Это чистая кровь, пролитая

*) Курсивъ мой.

на защиту слабого. И, зная это,—ты будешь скорбѣть, а невѣдѣніе никогда къ тебѣ не возвратится"....

„Сказаніе" оканчивается молитвою Менахема:

„О, Адонаи, Адонаи!... Исполни просьбу обреченныхъ.. Пусть никогда не забудемъ мы, доколѣ живы, завѣта борьбы за правду... Пусть никогда не скажемъ: лучше спасемся сами, оставивъ безъ защиты слабѣйшихъ... И я вѣрю, о, Адонаи, что на землѣ наступитъ Твое царство! Исчезнетъ насиліе, народы сойдутся на праздникъ братства, и никогда уже не потечетъ кровь человѣка отъ руки человѣка"... (Ш, 33—35).

По тому же вопросу и въ томъ же смыслѣ высказался Короленко въ письмѣ къ Эртелю (1890 г.), гдѣ читаемъ: „Не для того, чтобы полемизировать, не для того, чтобы защищать свое произведеніе (далеко неважное, по искреннему моему убѣжденію *), но лишь для выясненія того, на чемъ мы съ вами сильно расходимся, я скажу объ этомъ нѣсколько словъ. Напр., я никогда не возводилъ въ правиле „цѣль оправдываетъ средства". Вы признаете, что бываютъ ситуаціи, оправдывающія средства, къ которымъ прибѣгаютъ по необходимости, такъ же, какъ иная ложь бываетъ гораздо лучше иной правды (чтобы не ходить далеко, укажу на такой случай, когда человѣкъ направляетъ убійцу по ложному слѣду *). Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы можно было ложь возводить въ правило. Но въ томъ-то и дѣло, что, совершенно отвергая многія средства борьбы (клевету даже на врага и т. п.), *я не признаю силу чѣмъ то дурнымъ самое по себѣ. Она — нейтральна и даже скорѣе хороша, чѣмъ дурна*.). Я вовсе не желалъ сказать моимъ разсказомъ, что не нужно вовсе христіанской кротости и умѣнія прощать и подставлять ланиту. Но по-моему добродѣтель столь же разноцвѣтна, какъ и свѣтовые лучи. Я не могу считать насильникомъ человѣка, который одинъ защищаетъ слабаго и измученнаго раба противъ десяти работорговцевъ. Нѣтъ, каждый поворотъ

*) Если не ошибаюсь, дѣло идетъ именно о „Сказаніи".

*) Это и есть то самое, чего, по своему невѣдѣнію, не сдѣлалъ Ангелъ (въ „Сказаніи"), указавшій убійцамъ дорогу къ дому ихъ жертвы.

**) Курсивъ мой.

его шпаги, каждый его ударъ для меня—благо [3]). Онъ проливаетъ кровь? Такъ что же? Вѣдь послѣ этого и ланцетъ хирурга можно назвать орудіемъ зла". („Письма А. И. Эртеля", стр. 180—181).

Вотъ именно это „благо" или вѣрнѣе, эту „печальную необходимость" и отрицалъ Л. Н. Толстой ученіемъ о „непротивленіи злу насиліемъ". Эртель, очень увлекавшійся въ 80-хъ годахъ этимъ ученіемъ, въ отвѣтномъ письмѣ Короленкѣ (отъ 20 февр. 1890 г.), выставилъ рядъ соображеній и доказательствъ въ защиту теоріи „непротивленія" [1]). Къ мыслямъ Эртеля по этому вопросу, возбуждавшему тогда много споровъ и недоразумѣній, нельзя, мнѣ кажется, отнестись иначе, какъ съ полнымъ сочувствіемъ... Но Эртелю не удалось доказать *примѣнимость* этой теоріи, возможность—при настоящихъ условіяхъ (не только въ Россіи, но на Западѣ)—провести ее въ жизнь. Да и нельзя этого доказать. Возможно лишь одно: обратить вниманіе на тѣ симптомы, которые показываютъ, что человѣчество, въ своемъ прогрессивномъ развитіи, постепенно переходитъ отъ звѣрскихъ и грубыхъ формъ „насилія" въ борьбѣ со зломъ къ его смягченнымъ и болѣе или менѣе гуманнымъ формамъ. Позволительно предвидѣть въ будущемъ торжество принципа, гласящаго, что бороться со зломъ слѣдуетъ не насиліемъ, а „разумомъ и любовью" („Письма Эртеля", стр. 186). Но пока этотъ принципъ восторжествуетъ, пока жизнь сложится такъ, что голосъ общественнаго мнѣнія, разума и любви, явится могущественнымъ орудіемъ въ борьбѣ со зломъ,—„печальная необходимость" прибѣгать къ „насилію", хотя бы въ смягченныхъ формахъ, не подлежитъ отрицанію. И если Эртель ее всетаки отрицаетъ (см. въ особенности стр. 187 „Писемъ"), то тутъ сказался уклонъ отъ раціональной постановки вопроса въ сторону сектантскаго и утопическаго отношенія къ нему,—уклонъ, который для Короленка, благодаря исключительной силѣ его ума и на рѣдкость правильному и здоровому нравственному укладу, былъ непріемлемъ и невозможенъ.

---

*) Я предпочелъ бы (вмѣсто „благо") выраженіе: „печальная необходимость".

**) Письма А. И. Эртеля, стр. 181 и сл.

ГЛАВА II.

„Слѣпой музыкантъ“.

1.

Реализмъ мышленія и чутье дѣйствительности въ гармоническомъ сочетаніи съ идеализмомъ натуры и настроенія—отличительная черта Короленка, придающая особую прелесть его художественнымъ произведеніямъ и особую силу его публицистическимъ выступленіямъ.

И въ томъ, и въ другомъ онъ обнаруживается какъ вдумчивый наблюдатель жизни, знающій, что она слишкомъ сложна, чтобы умѣститься въ какую бы то ни было формулу. Вездѣ онъ выступаетъ, какъ человѣкъ съ опредѣленными убѣжденіями, съ установленными взглядами, симпатіями и антипатіями, но нигдѣ не видимъ мы ни доктринера, ни сектанта, ни утописта, ни вообще человѣка, связаннаго въ своихъ сужденіяхъ, въ своихъ отношеніяхъ къ вещамъ и людямъ предвзятою точкою зрѣнія. Онъ „связанъ“ только гуманностью и справедливостью...

Особливо-значительное и любопытное выраженіе получила эта черта въ „Слѣпомъ музыкантѣ“, произведеніи, вызвавшемъ не мало споровъ.

Оно производило впечатлѣніе мастерски написаннаго психологическаго трактата въ беллетристической формѣ.— С. А. Венгеровъ писалъ: „Слѣпой музыкантъ“ написанъ съ большимъ искусствомъ, въ немъ много отдѣльныхъ хорошихъ страницъ, но, въ общемъ, задача автора—дать психологическій очеркъ развитія у слѣпорожденнаго представленій о внѣшнемъ мірѣ—не удалась. Для художества здѣсь слишкомъ много науки или, вѣрнѣе, научныхъ домысловъ, для науки — слишкомъ много художества...“. („Энциклоп. Словарь“ Брокгауза-Ефрона, статья „Короленко“). Иначе смотритъ Ѳ. Д. Батюшковъ: „Чужая душа—потемки, и врядъ ли подборъ даже цѣлаго ряда наблюденій можетъ привести къ вполнѣ безапеляціонному рѣшенію вопроса: присуще ли слѣпорожденнымъ инстинктивное стремленіе къ свѣту, о которомъ они не могутъ имѣть никакого конкретнаго представленія? Въ художественномъ отно-

шенiи достаточно, чтобы данная тема представлялась правдоподобной, и это условie, на мой взглядъ, было вполнѣ соблюдено...“ (Ѳ. Д .Батюшковъ, „Критическie очерки и замѣтки“, Спб. 1900 г., стр. 84. Статья о „Слѣпомъ музыкантѣ“, написанная по поводу новаго, пересмотрѣннаго и дополненнаго изданiя, гдѣ вставленъ эпизодъ о слѣпыхъ звонаряхъ). Въ той-же статьѣ, выводы которой представляются мнѣ совершенно правильными и аргументы—достаточно вѣскими, Ѳ. Д. Батюшковъ приводитъ любопытный отзывъ итальянскаго критика *Чьямполи*, который говоритъ, что „Слѣпой музыкантъ“ можетъ смѣло быть причисленъ къ лучшимъ современнымъ произведенiямъ европейскихъ литературъ и стоитъ на грани съ шедевромъ...“. (Тамъ же стр. 82). Что касается „правдоподобности самой темы разсказа“, то „она представилась итальянскому критику настолько естественной и вѣроятной, что онъ восхищается лишь „точностью какъ бы научныхъ прiемовъ психологическаго анализа“, съ которой воспроизведена вся духовная жизнь слѣпого и его постепенное знакомство съ внѣшнимъ мiромъ...“. (Тамъ-же, 83).—

Ю. И. Айхенвальдъ, который характеризуетъ Короленка какъ художника, слишкомъ привязаннаго ко всему человѣческому, социальному и почти лишеннаго способности прозрѣнiя въ сферу космическаго, посвятилъ „Слѣпому музыканту“ слѣдующiя краснорѣчивыя строки: „„Человѣкъ страдаетъ у Короленка, главнымъ образомъ, отъ другого человѣка, а не отъ самого себя, и даже природное несчастье слѣпоты вскорѣ свернуло у него со своей стихiйной дороги и превратилось въ ручеекъ альтруизма, идейныхъ разговоровъ, общественныхъ настроенiй,—и опять передъ нами все то же человѣческое, слишкомъ человѣческое. Онъ самъ такъ хорошо говорилъ о „закрытыхъ окнахъ“ своего слѣпого музыканта, но онъ вывелъ его изъ темнаго одиночества; онъ распахнулъ эти окна, и хлынулъ въ нихъ свѣтъ гуманнаго перерожденiя: слѣпой проникся сознанiемъ чужого горя, и для Короленка онъ черезъ это прозрѣлъ, и Короленко, въ обликѣ дяди Максима, счелъ свое назначенie исполненнымъ. Но это не такъ. Для насъ гораздо важнѣе и глубже была бы одинокая душа слѣпца, и мы хотѣли бы, чтобы авторъ не спѣшилъ приводить ее въ обычное соприкосновенie съ

окружающимъ міромъ и общественной средой. Но одинокаго человѣка вообще мало у Короленка, одинокій человѣкъ не близокъ и не дорогъ его соціально-художественной натурѣ..." (*Ю. Айхенвальдъ*, „Силуэты русскихъ писателей", вып. I, стр. 210).—

Къ этимъ литературнымъ справкамъ присоединимъ еще одну—изъ предисловія („Отъ автора") къ шестому изданію „Слѣпого музыканта". Здѣсь Короленко говоритъ: „Чувствую, что пересмотръ и дополненія въ повѣсти, выдержавшей уже нѣсколько изданій, являются неожиданными и потребуютъ нѣкотораго объясненія. *Основной психологическій мотивъ этюда составляетъ инстинктивное, органическое влеченіе къ свѣту. Отсюда душевный кризисъ моего героя и его разрѣшеніе* [1]). И въ устныхъ и въ печатныхъ критическихъ замѣчаніяхъ мнѣ приходилось встрѣчать возраженіе, повидимому, очень основательное: по мнѣнію возражающихъ, этотъ мотивъ всегда отсутствуетъ у слѣпорожденныхъ, которые никогда не видѣли свѣта и потому не должны чувствовать лишенія въ томъ, чего совсѣмъ не знаютъ. Это соображеніе мнѣ не кажется правильнымъ: мы никогда не летали, какъ птицы, однако всѣ знаютъ, какъ долго ощущеніе полета сопровождаетъ дѣтскіе и юношескіе сны. Долженъ, однако, признаться, что этотъ мотивъ вошелъ въ мою работу, какъ апріорный, подсказанный лишь воображеніемъ. Только уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ того, какъ мой этюдъ сталъ выходить въ отдѣльныхъ изданіяхъ, счастливый случай доставилъ мнѣ во время одной изъ моихъ экскурсій возможность прямого наблюденія. Двѣ фигуры (слѣпой и слѣпорожденный), которыя читатель найдетъ въ гл. VI, разница ихъ настроеній, сцена съ дѣтьми, слова Егора о снахъ—все это я занесъ въ свою записную книжку прямо съ натуры, на вышкѣ колокольни одного монастыря (Тамбовской епархіи), гдѣ оба слѣпые звонаря. быть можетъ, и теперь еще водятъ посѣтителей на колокольню".

Изъ приведенныхъ литературныхъ справокъ уже видно, какъ трудна и сложна была задача художника. Обратимся къ ея разсмотрѣнію по существу и со стороны исполненія

---

*) Курсивъ мой.

2.

Прежде всего, „Слѣпой музыкантъ“ это родъ художественно-психологическаго эксперимента и произведеніе „конструктивное“. Это художественное „построеніе“ на тему: прослѣдить развитіе человѣка, который родился слѣпымъ, на основѣ и силою слуховыхъ, осязательныхъ и другихъ впечатлѣній, замѣняющихъ ему зрительныя. Но о какомъ *развитіи* идетъ тутъ рѣчь? *О развитіи не только психофизическомъ, но и умственномъ, нравственномъ и соціальномъ.* Короленко исходитъ изъ мысли, что ростъ души человѣческой и превращеніе маленькаго человѣкообразнаго звѣрька въ человѣческую личность, въ существо соціальное и моральное, находятся въ тѣсной зависимости отъ упражненія и дѣятельности органовъ чувствъ,—отъ функцій зрѣнія, слуха, обонянія, осязанія. Это и *показано* въ этюдѣ. И показано такъ, что мы въ правѣ предположить, что Короленко смотритъ на эти психологическія функціи—зрѣнія, слуха и т. д.—*какъ на соціальныя:* они вносятъ въ ростущую душу ребенка не только отраженія вещей, но и отраженіе соціальныхъ — въ обширномъ смыслѣ—отношеній. Въ дѣятельности органовъ чувствъ заранѣе (a priori) даны не только впечатлѣнія внѣшняго міра, но и дана человѣческая ихъ квалификація или оцѣнка, а эта оцѣнка по необходимости *соціальна,* ибо предокъ человѣка былъ животнымъ соціальнымъ задолго до того, какъ ему удалось стать человѣкомъ,—„выйти въ люди“,—и человѣкъ унаслѣдовалъ психофизическія функціи не въ ихъ, такъ сказать, „чистомъ“ біологическомъ видѣ, а въ ихъ соціальной постановкѣ. Это положеніе блестяще развито въ извѣстной книгѣ кантіанца *Наторпа* о педагогикѣ съ соціологической точки зрѣнія. Книгу Наторпа Короленко не могъ знать въ тѣ годы, когда онъ писалъ и перерабатывалъ „этюдъ“ о слѣпомъ музыкантѣ, потому что тогда этой книги еще не было.—Онъ угадалъ эту глубокую истину помощью художественной интуиціи и еще—благодаря тому, что самъ онъ человѣкъ на рѣд-

кость „соціальный“ и одаренный особенною силою правильнаго моральнаго сужденія. Всего менѣе принадлежитъ онъ къ типу *одинокихъ*... Надо оговорить, что психическое „одиночество“, въ извѣстномъ смыслѣ, есть удѣлъ всякой души человѣческой, поднявшейся надъ уровнемъ человѣческой стадности. Но есть „одиночество“ и „одиночество“,—есть разныя его формы и ступени—отъ нормальнаго до патологическаго, отъ обособленія личности, какъ необходимаго душевнаго блага, до ея обособленія—какъ несчастья.—Короленкѣ, образцу правильной индивидуализаціи личности, хорошо извѣстны радости нормальнаго обособленія и несвойственны муки и извращенія патологической отчужденности, моральнаго или иного солипсизма личности. Оттуда у него—особый даръ постиженія *всего соціальнаго* въ человѣчествѣ,—въ томъ числѣ и соціальной тяги въ функціяхъ органовъ чувствъ. Ю. И. Айхенвальдъ былъ правъ, указывая на эту особенность натуры Короленка, но не былъ правъ, когда ставилъ ему эту черту въ упрекъ—какъ художнику.

Во всякомъ экспериментѣ, а въ художественномъ по-преимуществу, необходимо принимать въ соображеніе личныя свойства экспериментатора. На одно изъ нихъ у Короленка я только что указалъ, вслѣдъ за Айхенвальдомъ. Теперь укажу на другое, въ данномъ случаѣ, т. е. для пониманія „Слѣпого музыканта“, особливо-важное.

Психологія различаетъ *зрительный* и *слуховой* типъ человѣка: одни, переводя свои воспріятія на „языкъ“ свѣта, тѣни, красокъ и видимыхъ формъ, по преимуществу „видятъ міръ“, другіе, переводя свои восприятія на „языкъ“ звуковъ—рѣчи, шума, шороха, шелеста, крика, пѣнія, музыки, по преимуществу „слышатъ міръ“.—

Къ которому изъ этихъ двухъ типовъ принадлежитъ Короленко? Безъ всякаго сомнѣнія, къ зрительному.

Это явствуетъ изъ его воспоминаній въ „Исторіи моего современника“, гдѣ (ч. I, VI: „Молитва звѣздной ночью“) онъ, между прочимъ, говоритъ, описывая впечатлѣніе звѣзднаго неба, испытанное имъ въ раннемъ дѣтствѣ: „Въ первый разъ тогда меня поразило величіе сіяющаго небеснаго свода... Луна стояла надъ крышей каменнаго дома, но ея свѣтъ не затмевалъ свѣта звѣздъ. Онѣ горѣли, мерцали, переливались разными цвѣтами торжественно и тихо, и вся

синяя бездна, казалось, жила и дышала. *Впослѣдствіи глаза у меня стали слабѣе, и эта необычайная красота теперь живетъ въ моей душѣ лишь яркимъ воспоминаніемъ этой ночи. Но тогда я отчетливо видѣлъ всѣ эти звѣзды, различалъ ихъ перемѣнные цвѣта и, главное,—ощущалъ взволнованной дѣтской душой глубины этой бездны и безконечное число ея живыхъ огней, уходящихъ въ какую-то невѣдомую, таинственную синюю даль...*[1]). („Исторія моего соврем.", ч. I, стр., 64—65)—

Эти прекрасныя строки позволяютъ заключить, во-первыхъ, о необычайной остротѣ зрѣнія у Короленка въ дѣтствѣ (и, конечно, и въ молодости), — въ ту эпоху, когда въ душѣ творится картина міра, и, во-вторыхъ, о рѣдкой силѣ *зрительной памяти.*

Ребенокъ *видѣлъ* и *различалъ,* какъ рѣдко видятъ и различаютъ дѣти,—онъ ощутилъ даже *глубину* [1]) звѣздной бездны,—и это ощущеніе, конечно, было зрительнымъ. Впослѣдствіи, лѣтъ черезъ 50 послѣ того, Короленко отчетливо помнитъ эти впечатлѣнія,—и, конечно, онъ помнитъ ихъ, если можно такъ выразиться, *зрительно.* — О силѣ зрительной памяти свидѣтельствуютъ многія страницы „Исторіи моего современника", гдѣ авторъ точно и опредѣлительно воспроизводитъ мѣстность, обстановку, костюмы, физіономіи, выраженіе лицъ и т. д., часто—до мелкихъ подробностей. Не лишено показательности въ этомъ смыслѣ и то, что говоритъ онъ о своихъ дѣтскихъ снахъ, кошмарахъ и галюцинаціяхъ: въ большинствѣ случаевъ они—зрительные, а не слуховые (см. напр. стр. 55—56 „Ист. м. совр."). —Наконецъ, изъ повѣстей и разсказовъ Короленка можно было бы привести много страницъ, показывающихъ, что природа и дѣйствительность обращены къ нему по преимуществу зрительной стороной, свѣтомъ и тѣнью, красками и цвѣтами. И образы, которые имѣютъ символическое значеніе, большею частью оказываются зрительными (напр., очеркъ „Огни").—

Косвенно на преобладающее значеніе (въ психологіи Короленка и въ его творчествѣ) зрительныхъ впечатлѣній

---

*) Курсивъ мой.

**) Курсивъ Короленка.

указываетъ тотъ особый интересъ, какой обнаруживаетъ Короленко къ „*отрицательнымъ*“ зрительнымъ впечатлѣніямъ, къ воспріятію темноты, отсутствію свѣта, исчезновенію красокъ. Этотъ интересъ и выразился въ очеркахъ „На затменіи“ и „Послѣдній лучъ“. Но съ еще большею выразительностью сказался онъ въ замыслѣ и исполненіи „этюда“ о „Слѣпомъ музыкантѣ“.

Этотъ замѣчательный этюдъ написанъ человѣкомъ, для котораго зрѣніе важнѣе и дороже слуха,—человѣкомъ, у котораго не только картина природы и дѣйствительности, но и *самыя сужденія* о нихъ и *даже моральная оцѣнка явленій* основаны на предпосылкахъ и свидѣтельствахъ зрительной функціи.

„Слѣпой музыкантъ“ это смѣлая попытка человѣка рѣзко-выраженнаго зрительнаго типа заглянуть въ душу слѣпорожденнаго и прослѣдить, какъ въ ней, силою по преимуществу слуховыхъ впечатлѣній, слагается картина міра и какъ—безъ зрѣнія—могутъ протекать процессы умственнаго и моральнаго роста личности.

Короленко приступилъ къ работѣ съ готовымъ—апріорнымъ — убѣжденіемъ, что у слѣпорожденныхъ есть „*инстинктивное, органическое влеченіе къ свѣту*“. Эта предвзятая идея, прежде всего, показательна и характерна для натуръ ярко-выраженнаго зрительнаго типа. Человѣку слухового типа она, пожалуй, и не пришла бы въ голову. Но для Короленка она характерна и въ другомъ отношеніи. Она указываетъ на то значеніе, которое Короленко придаетъ вообще всему „инстинктивному, органическому“, т. е. *наслѣдственному*. А. это, въ свою очередь, вытекаетъ изъ того, что самъ Короленко принадлежитъ къ числу натуръ, которыя ощущаютъ въ самихъ себѣ психическое достояніе, полученное наслѣдственнымъ путемъ, съ большею отчетливостью и непосредственностью, чѣмъ ощущаютъ онѣ то, что пріобрѣли отъ книгъ, отъ другихъ людей, отъ среды, отъ „духа времени“. Наслѣдственный укладъ души есть основной фонъ, на которомъ все остальное вырисовывается, и этотъ „фонъ“ чувствуется не какъ нѣчто пассивное или безразличное, готовое воспріять все, что угодно, а какъ своего рода сила, пріемлющая одно, отвергающая другое, какъ закалъ души, данный заранѣе. Наслѣдственность бываетъ

разная,—значительная и незначительная, хорошая и дурная. У Короленка она — и значительна и прекрасна, — и обнаруживается какъ тройная сила: ума, нравственнаго уклада и дарованія. И соотвѣтственно этому, *чувство наслѣдственности* у Короленка сказывается съ особливою силою [1]). Оттуда и—чисто умственный, теоретическій—интересъ къ вопросу о наслѣдственности, ко всему „инстинктивному, органическому“. Немудрено, что, задумавъ „этюдъ“ о слѣпорожденномъ, Короленко съ самаго начала поставилъ вопросъ: хотя слѣпорожденный никогда не ощущалъ свѣтовыхъ воспріятій, тѣмъ не менѣе нельзя ли предположить, что, потомокъ зрячихъ предковъ, онъ обладаетъ инстинктивнымъ влеченіемъ къ свѣту, и въ его душѣ живетъ какая то смутная догадка о свѣтовыхъ ощущеніяхъ,—врожденная, наслѣдственная „идея“ — безъ содержанія, идея-форма? На этотъ вопросъ онъ сейчасъ же и отвѣтилъ утвердительно. И вслѣдъ затѣмъ онъ выдвинулъ и другое соображеніе: если это такъ, то съ возрастомъ это влеченіе къ свѣту, усиливаясь, должно привести слѣпого къ душевному кризису: человѣкъ, дойдя до сознанія, что существуетъ недоступный ему міръ свѣта и красокъ, испытываетъ глубокую скорбь отъ невозможности воспріять этотъ міръ; слѣпой становится раздражителенъ, озлобляется, какъ тотъ слѣпорожденный звонарь, и на этомъ пути можетъ дойти до отчаянія. Изобразить эту драму и указать выходъ изъ кризиса—такова была задача „этюда“.—

Но—что особенно важно и любопытно для насъ—эта задача съ самаго начала расширилась и углубилась: изъ чисто-психологической она превратилась въ соціально-психологическую и моральную.

Присмотримся ближе къ этой ея постановкѣ и ея выполненію.

3.

Короленко поставилъ слѣпорожденнаго въ наилучшія условія, какія только можно вообразить: любящая мать, женщина умная и образованная, воспитатель—дядя Максимъ,

---

[1]) Эту сторону я старался очертить въ статьѣ о Короленкѣ по матеріалу „Исторіи моего современника“ („Вѣст. Европы“, сент. 1910 г.)

гарибальдіецъ, человѣкъ 60-хъ годовъ, умный, образованный и гуманный, маленькая подруга слѣпого, Эвелина, которая потомъ становится его женой...

Образъ Эвелины, по общему признанію,—одинъ изъ лучшихъ художественныхъ созданій Короленка, и въ нашей литературѣ, столь богатой идеальными женскими типами, ему принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Для насъ, въ данномъ случаѣ, эта законченная художественность образа имѣетъ важное значеніе: она служитъ какъ бы ручательствомъ въ томъ, что тутъ Короленко сказалъ что-то глубоко-завѣтное и глубоко-правдивое,—и поэтому для насъ чрезвычайно цѣнно то, что говоритъ онъ намъ отъ себя лично о тѣхъ натурахъ, художественнымъ обобщеніемъ и истолкованіемъ которыхъ явился образъ Эвелины. Въ началѣ главы VI-ой онъ говоритъ: „Есть натуры, будто заранѣе предназначенныя для тихаго подвига любви, соединенной съ печалью и заботой... Природа заранѣе надѣлила ихъ спокойствіемъ, безъ котораго немыслимъ будничный подвигъ жизни, она предусмотрительно смягчила въ нихъ личные порывы...“. (стр. 83).—Иначе говоря, этотъ высокій строй женской души—даръ наслѣдственности. „Маленькая знакомка Петра“—читаемъ ниже—„представляла въ себѣ всѣ черты этого типа, *который рѣдко вырабатывается жизнью и воспитаніемъ; онъ, какъ талантъ, какъ геній, дается въ удѣлъ избраннымъ натурамъ и проявляется рано...*“ *). (стр. 84).

Проявленіе этихъ чертъ у Эвелины-дѣвочки и потомъ дальнѣйшее обнаруженіе и развитіе ихъ у дѣвушки, невѣсты Петра, изображено съ великимъ художественнымъ мастерствомъ и тактомъ. Но на вопросѣ, откуда у Эвелины эти черты, т. е. на вопросѣ наслѣдственности, Короленко не останавливается, ограничиваясь ссылкой на „природу“. Тѣмъ не менѣе, мы можемъ, опираясь на то немногое, что сказано въ повѣсти о семьѣ Эвелины, высказать нѣкоторыя соображенія по этому вопросу.

О панѣ Яскульскомъ и его женѣ, паннѣ Агнешкѣ, родителяхъ Эвелины, Короленко говоритъ (гл. III) съ мягкимъ и добродушнымъ юморомъ, напоминающимъ тотъ юморъ, съ

*) Курсивъ мой.

какимъ нѣкогда Гоголь описывалъ жизнь „старосвѣтскихъ помѣщиковъ“. Передъ нами—простые, хорошіе люди, добрые католики, крѣпко держащіеся старыхъ традицій, боящіеся, какъ огня, всякихъ либеральныхъ идей и новыхъ вѣяній. Для нихъ старый революціонеръ-гарибальдіецъ Максимъ—исчадье ада, и, безъ сомнѣнія, онъ будетъ кипѣть въ смолѣ въ преисподней. Слово „отца-папежа“ для нихъ—святыня.

Панъ Яскульскій—бѣдный шляхтичъ, поссесоръ (арендаторъ). Онъ — представитель той демократизированной шляхты, которая, сохраняя традиціи и предразсудки шляхетства, фактически живетъ въ непосредственной близости и въ патріархальномъ симбіозѣ съ крестьянской массой. Ихъ жилище—не замокъ, не „паляцъ“, а изба. Вотъ описаніе обстановки ихъ укромнаго уголка: „Въ углу, занятомъ иконами, перевитыми плющомъ, у старухи, вмѣстѣ съ вербой и „громницей“ *), хранились какіе-то мѣшочки съ травами и кореньями, которыми она лѣчила мужа и приходившихъ къ ней деревенскихъ бабъ и мужиковъ. Эти травы наполняли всю избу особеннымъ специфическимъ благоуханіемъ, которое неразрывно связывалось въ памяти всякаго посѣтителя съ воспоминаніемъ объ этомъ чистомъ маленькомъ домикѣ, объ его тишинѣ и порядкѣ и о двухъ старикахъ, жившихъ въ немъ какою-то необычною въ наши дни тихою жизнью...“ (стр. 66). Долго пришлось имъ трудиться и маяться, пока имъ удалось устроить это скромное благосостояніе. Женились они поздно...

Въ этой-то патріархальной обстановкѣ, „въ обществѣ этихъ стариковъ росла ихъ единственная дочь, небольшая дѣвочка, съ длинною русою косой и голубыми глазами...“ (66).

Къ людямъ въ родѣ Яскульскихъ, свято хранящимъ завѣты старины не за страхъ, а за совѣсть, Короленко относится съ нескрываемой симпатіей. Онъ высоко цѣнитъ то, что у нихъ есть своя завѣтная святыня, и ту искренность и наивную непосредственность, съ какими они эту святыню оберегаютъ. Добродушный юморъ, особенно яркій въ гл. III, 8 **), по адресу пана Яскульскаго, нисколько не умаляетъ

---

*) Восковая свѣча.

**) Стр. 80—81.

уваженія и симпатіи Короленка къ людямъ этого—на иной „партійный" взглядъ—„черносотеннаго" рода, какъ не противорѣчить такой же юморъ по адресу дяди Максима высокой оцѣнкѣ этого лица и представляемаго имъ направленія.

И еще одно можно, повидимому, утверждать съ увѣренностью: Короленко склоненъ думать, что именно изъ среды такихъ простыхъ, наивныхъ, искреннихъ и старомодныхъ людей, какъ Яскульскіе, всего чаще и выходятъ натуры, подобныя Эвелинѣ, — *героини будней*. Ихъ нравственный укладъ—наслѣдственное, поколѣніями накоплявшееся, достояніе ихъ рода,—и это достояніе не зависитъ отъ идей, вѣрованій, направленія, а скорѣе само является почвою, на которой можетъ утвердиться міросозерцаніе, отвѣчающее прогрессивнымъ стремленіямъ человѣчества и требованіямъ широкой гуманности.

На этомъ примѣрѣ наглядно обнаруживается коренное отличіе точки зрѣнія Короленка, какъ передового человѣка 70-хъ и 80-хъ г.г., отъ той раціоналистической точки зрѣнія, на которой стояли радикалы-просвѣтители 60-хъ годовъ и прежде всего—Чернышевскій, который думалъ, что стоитъ только объяснить людямъ „истину", „открыть имъ глаза",— и они сразу переродятся. Центръ тяжести (если можно такъ выразиться) въ психикѣ человѣческой для людей 60-хъ годовъ помѣщался въ области мысли, понятій, идей, міросозерцанія. Для людей 70—80-хъ г.г. онъ передвинулся въ другую область — наслѣдственности, исторически-сложившихся навыковъ, чувствъ и настроеній, вообще—той сферы духа, которую можно назвать *ирраціональною*. Когда въ половинѣ 70-хъ годовъ *пропагандисты* несли въ народъ „благую вѣсть" соціализма, уповая на рѣшающую—магическую— силу идеи, то это была традиція и отголосокъ все того же *раціонализма* 60-хъ годовъ. Особенно ярко выразилось это въ той программѣ соціалистической пропаганды, которая была выдвинута тогда Лавровымъ (въ журн. „Впередъ") и усвоена группою такъ называемыхъ „лавристовъ". Какъ извѣстно, это направленіе потерпѣло полное фіаско, сразу же наткнувшись на противодѣйствіе „ирраціональныхъ началъ" въ психикѣ народа и общества, да и—самихъ соціалистовъ,— и движеніе стало направляться по другимъ путямъ, а интел-

лигентская мысль, въ своихъ исканіяхъ, все дальше и дальше уходила отъ раціоналистическаго пониманія людей и вещей.

Въ этомъ смыслѣ очень показательна фигура дяди Максима, воспитателя слѣпого Петра. Передъ нами типичный радикалъ-просвѣтитель 60-хъ годовъ, русскій гарибальдіецъ (такіе, какъ извѣстно, были, въ томъ числѣ и лица, потомъ выдвинувшіяся въ наукѣ и въ литературѣ). Максимъ Яценко—умный и широко-образованный человѣкъ, рыцарская натура, общественный дѣятель съ боевымъ темпераментомъ. Эта характерная фигура нарисована съ большимъ мастерствомъ—на фонѣ той среды, въ глазахъ которой онъ—пропащій человѣкъ, совратитель, опасный бунтовщикъ, исчадье ада. И эта среда вырисовывается здѣсь вовсе не какъ злонамѣренно-ретроградная, темная и грубая. Невольно вспоминается то, что читаемъ въ первыхъ строкахъ IV-го отдѣла I-ой главы (стр. 14—15): „Ребенокъ родился слѣпымъ. Кто виноватъ въ его несчастьи? Никто! Тутъ не только не было и тѣни чьей-либо „злой воли“, но даже самая причина несчастья скрыта гдѣ-то въ глубинѣ таинственныхъ и сложныхъ процессовъ жизни...“—Вотъ именно эти слова можно символически отнести къ тому обществу, которое такъ не любитъ, такъ не понимаетъ и боится честнаго рыцаря Максима Яценка, друга человѣчества. Эти люди не виноваты въ томъ, что „слѣпы“... И никто не виноватъ,— и нѣтъ здѣсь ничьей „злой воли“, а есть только какая-то „причина“, скрытая „гдѣ-то въ глубинѣ таинственныхъ и сложныхъ процессовъ жизни“...

Максимъ взялся за воспитаніе племянника—въ надеждѣ сдѣлать изъ него поборника добра и правды, друга „обездоленныхъ“. Дѣло представлялось ему сравнительно нетруднымъ... Онъ призвалъ на помощь науку и „сталъ выписывать книги по физіологіи, психологіи и педагогикѣ“... Но, быть можетъ, всего больше помогли ему его природный умъ, тонкая наблюдательность и доброе сердце,—да еще склонность къ своеобразному оптимистическому фатализму, вообще свойственная русскому человѣку и нерѣдко уживающаяся съ весьма различными міросозерцаніями, въ томъ числѣ и съ раціоналистическимъ. На эту послѣднюю черту указываетъ Короленко въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Даже свободнымъ мыслителямъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ

не было чуждо суевѣрное представленіе о „таинственныхъ предначертаніяхъ“ природы. Немудрено поэтому, что, по мѣрѣ развитія ребенка, выказывавшаго недюжинныя способности, дядя Максимъ утвердился окончательно въ убѣжденіи, что самая слѣпота есть лишь одно изъ проявленій этихъ таинственныхъ предначертаній. „Обездоленный за обиженныхъ“—вотъ девизъ, который онъ выставилъ заранѣе на боевомъ знамени своего питомца“ (I,VIII; стр. 27).

Цѣль воспитанія Максимъ полагалъ преимущественно въ развитіи ума и, главное, альтруистическихъ чувствъ. Поэтому, когда мальчикъ, одаренный тонкимъ слухомъ и недюжинными музыкальными способностями, сталъ увлекаться музыкой, то Максимъ призадумался: не повредитъ ли это моральному воспитанію—въ духѣ альтруизма и демократизма?—„Конечно“—разсуждалъ онъ—„музыка тоже великая сила, дающая возможность владѣть сердцемъ толпы. Онъ, слѣпой, будетъ собирать сотни разряженныхъ франтовъ и барынь, будетъ имъ разыгрывать разные тамъ... вальсы и ноктюрны, а они будутъ утирать слезы платочками. Эхъ, чортъ возьми, не того бы мнѣ хотѣлось, да что же дѣлать! Малый слѣпъ, такъ пусть же станетъ въ жизни тѣмъ, чѣмъ можетъ. Только все же лучше бы ужъ пѣсня ,что ли? Пѣсня говоритъ не одному неопредѣленно разнѣживающемуся слуху. Она даетъ образы, будитъ мысль въ головѣ и мужество въ сердцѣ...“ (II, XI; стр. 55).—И вотъ, прежде всего онъ обращается къ народной украинской поэзіи. По его настоянію кучеръ Іоахимъ поетъ Петру старинную „думу“...

Надо знать, что Максимъ—не только „радикалъ“ и демократъ 60-хъ г.г., но и украинофилъ той романтической окраски, которая въ 60-хъ годахъ и позже выражалась довольно ярко. „Онъ былъ“ — говоритъ Короленко — „романтикъ и когда-то мечталъ о новой Сѣчи“ (II, XI; стр. 56).—На вопросъ Петра: „это будетъ хлопская пѣсня?“—онъ отвѣчаетъ:—„Эхъ, малый! Это не хлопскія пѣсни... Это пѣсни сильнаго, вольнаго народа. Твои дѣды по матери пѣли ихъ на степяхъ по Днѣпру, и по Дунаю, и на Черномъ морѣ...“ (тамъ же).

Максиму успѣхъ опыта съ пѣсней казался сомнительнымъ: „онъ думалъ, что яркіе образы пѣсеннаго эпоса требуютъ непремѣнно зрительныхъ представленій, чтобы гово-

рить сердцу...“ (тамъ же). Но Короленко съ этимъ не согласенъ: „древніе баяны, украинскіе кобзари и бандуристы были, по большей части, слѣпые...“ (стр. 57), говоритъ онъ и дальше поясняетъ: „Слѣпота застилаетъ видимый міръ темною завѣсой, которая, конечно, ложится на мозгъ, затрудняя и угнетая его работу, *но все же изъ наслѣдственныхъ представленій* [1]) и изъ впечатлѣній, получаемыхъ другими путями, мозгъ творитъ въ темнотѣ свой собственный міръ, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзіи...“ (57).

Опытъ вполнѣ удался: „Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слѣпоту, на поэтическіе образы пѣсни...“ (II, XIII; стр. 60).

4.

Развитіе слуха и музыкальныхъ способностей привело къ тому, что у слѣпого „звуковыя формы стали главными формами его мысли, центромъ умственной работы“ (гл. II, III, стр. 62). Мальчикъ все больше и больше увлекался музыкою, и это увлеченіе „стало центромъ его умственнаго роста“ (стр. 63). Дядя Максимъ хорошо понялъ это и въ своемъ преподаваніи искусно пользовался *музыкальной иллюстраціей*, въ особенности излагая исторію своей родины—Украины: „вся она прошла передъ воображеніемъ слѣпого, сплетенная изъ звуковъ...“ (63).

И надо сказать правду,—нѣтъ, кажется, другого народа, исторія котораго въ такой мѣрѣ поддавалась иллюстраціи пѣсней и музыкой, какъ именно исторія малорусскаго народа. Она вся изошла мелодіями историческихъ „думъ“ и бытовыхъ пѣсенъ...

Ребенокъ росъ и развивался. Воспитаніе шло успѣшно, въ особенности съ появленіемъ маленькой Эвелины, — и Максиму „казалось, что душевное развитіе слѣпого пойдетъ тихимъ и ровнымъ, ничѣмъ не смущаемымъ ходомъ...“

*) Курсивъ мой.

(IV, 1 стр. 84). „Но“—говоритъ Короленко—„это была горькая ошибка“ (стр. 84).

Максимъ, слишкомъ полагавшійся на „пластичность“ натуры человѣческой и преувеличивавшій силу воспитанія, не принялъ въ разсчетъ того кризиса, который возникаетъ на переходѣ отъ дѣтства къ юности, и который у слѣпорожденнаго могъ обнаружиться въ формѣ, невѣдомой зрячимъ. Максимъ ошибался, когда „думалъ, что онъ совершенно овладѣлъ душевнымъ ростомъ мальчика“ (84).—И вотъ, „когда насталъ въ жизни ребенка періодъ, который является переходною гранью между дѣтствомъ и отрочествомъ, Максимъ увидѣлъ, какъ неосновательны эти гордыя педагогическія мечтанія...“ (84).—Настроеніе, самочувствіе и само умственное развитіе мальчика явно опредѣлялись не тѣмъ, что внушалъ воспитатель, а чѣмъ-то другимъ, исходящимъ извнутри, „своимъ“, органическимъ.—Тутъ мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки:

„Какая-то невѣдомая сила работала въ глубинѣ дѣтской души, выдвигая изъ этой глубины неожиданныя проявленія самостоятельнаго душевнаго роста, и Максиму приходилось останавливаться съ чувствомъ благоговѣнія передъ таинственными процессами жизни, которые вмѣшивались такимъ образомъ въ его педагогическую работу. *Эти толчки природы, ея даровыя откровенія, казалось, доставляли ребенку такія представленія, которыя не могли быть пріобрѣтены личнымъ опытомъ слѣпого* [1]), и Максимъ угадывалъ здѣсь неразрывную связь жизненныхъ явленій, которая проходитъ, дробясь въ тысячѣ процессовъ, черезъ послѣдовательный рядъ отдѣльныхъ жизней...“ (85).

Слѣдующія затѣмъ страницы, на которыхъ иллюстрируется инстинктивное стремленіе слѣпого мальчика къ свѣту, представляютъ, кромѣ непосредственнаго—психологическаго—интереса, еще и другой, болѣе общій: дѣло въ томъ, что позволительно и возможно придать сказанному здѣсь *символическое* значеніе, и отъ физической слѣпоты наша мысль невольно переходитъ къ „слѣпотѣ духовной“.

Максимъ угадалъ инстинктивные порывы слѣпого къ свѣту,—понялъ его муки, его жажду свѣтовыхъ впечатлѣній;

---

*) Курсивъ мой.

но, сознавая всю безплодность и безнадежность этихъ стремленій, рѣшилъ такъ или иначе пресѣчь ихъ: какой смыслъ стремиться къ тому, что недостижимо? Онъ хотѣлъ отвлечь вниманіе мальчика отъ внушеній наслѣдственной „зрительной интуиціи", заглушить ея голосъ и привести мальчика къ тому, чтобы онъ вполнѣ удовлетворялся доступными ему слуховыми и осязательными ощущеніями, не помышляя о зрительныхъ. Онъ испугался „возможности такихъ запросовъ, которые могли бы послужить для слѣпого только причиною неутолимыхъ страданій. И онъ пытался разыскать источники этихъ, откуда-то пробивающихся родниковъ, чтобъ... навсегда закрыть ихъ для блага слѣпого..." (85).

Иначе отнеслась къ этому жгучему, очередному вопросу мать слѣпого.

Максимъ говоритъ ей, что необходимо устроить такъ, чтобы мальчикъ не сознавалъ своей слѣпоты и не ощущалъ потребности въ зрѣніи,—и тогда онъ перестанетъ грустить и мучиться...,—„какъ и мы, обладающіе всѣми пятью органами, не грустимъ о томъ, что у насъ нѣтъ шестого..." (88). На это мать возражаетъ: „Мы грустимъ... мы часто грустимъ о невозможномъ..." (88).

Тутъ Короленко рѣшительно становится на сторону матери. Онъ прямо говоритъ, что Максимъ ошибался: „заботясь объ устраненіи внѣшнихъ вызововъ", онъ упускалъ изъ виду *„тѣ могучія побужденія, которыя были заложены въ дѣтскую душу самою природою..."* [1]) (89).

Читая эти строки, мы невольно вспоминаемъ объявившуюся въ 80-хъ годахъ рознь между „дѣтьми" и „отцами": старшее поколѣніе продолжало — по традиціи — отрицать метафизическія, религіозныя, мистическія проблемы, какъ нѣчто безплодное, недостижимое и ненужное, — а младшее поколѣніе, подрастая обнаруживало явную склонность къ нимъ и импульсивно тянулось, точно къ невѣдомому свѣту, ко всему метафизическому, непознаваемому, „трансцендентному", ища новыхъ откровеній то въ религіозномъ ученіи Толстого, то въ послѣднемъ романѣ Достоевскаго, то въ статьяхъ и рѣчахъ Влад. Соловьева. Это стихійное движеніе нельзя было сводить цѣликомъ къ „повѣтрію", „модѣ", „внуше-

*) Курсивъ мой.

ніямъ реакціи". Тутъ обнаруживались (говоря словами Короленка) „полученныя по наслѣдству и дремавшія въ неясномъ существованіи возможности" (89).

Тысячелѣтіями выработалась и укрѣпилась въ человѣчествѣ психологическая тяга къ сверхчувственному, къ непознаваемому,—и „возможность" метафизики и мистики уподобляется той „возможности" свѣтовыхъ воспріятій у слѣпого, о которой говоритъ Короленко. Въ этомъ отношеніи человѣчество можно назвать „слѣпорожденнымъ": дана внутренняя, потенціальная „возможность", дана тяга, но нѣтъ органа. „Окна закрыты" (90), „судьба мальчика рѣшена:... его жизнь вся пройдетъ въ темнотѣ... И темнота эта... полна призраковъ..." (90).

Оставляя въ сторонѣ религію или, скажемъ лучше, *религіозность, какъ особую психическую категорію*, которая есть не только „возможность, но и *соціологическое явленіе*, и имѣя въ виду только такъ-называемую „метафизику" и мистику, какъ стремленіе познающаго разума проникнуть въ „сверхчувственный" міръ, какъ тягу къ непознаваемому, мы имѣемъ право сказать, что человѣчество — въ этомъ отношеніи — осуждено жить въ темнотѣ, и что эта темнота полна призраковъ.

И позволительно думать, что отъ этихъ призраковъ человѣчество никогда не избавится. Какъ бы основательно ни доказывала, какъ бы убѣдительно ни раскрывала положительная наука всю „тщету" метафизики,—метафизика не исчезнетъ. Не исчезнутъ и мистическія стремленія въ „потусторонній міръ". На одно только можно надѣяться: эти стремленія все больше будутъ освобождаться отъ *миѳологическихъ* примѣсей, отъ пережитковъ наивнаго и грубаго мистицизма прошлыхъ вѣковъ,—и, оставаясь *наслѣдственными*, перестанутъ быть *атавистическими*.

5.

Дальнѣйшая исторія слѣпого, представляя высокій психологическій и художественный интересъ, не входитъ—цѣликомъ—въ рамки нашей задачи. Намъ достаточно отмѣтить слѣдующіе моменты:

1) Выходъ изъ кризиса и примиреніе слѣпого съ его

участью путемъ замѣны свѣтовыхъ воспріятій слуховыми и осязательными.

2). Развитіе музыкальнаго дарованія, въ силу чего у слѣпого является живой интересъ въ жизни и намѣчается призваніе и цѣль.

3) Развитіе (при особливомъ участіи Максима) альтруистическихъ чувствъ, дающее слѣпому возможность преодолѣть свое отщепенство и стать живымъ участникомъ въ жизни ближнихъ, почувствовать себя „общественною единицею“ и человѣкомъ своего времени, не чуждымъ его стремленіямъ, идеямъ, очереднымъ задачамъ.

Все это мастерски и обстоятельно развито и художественно „показано“.

Для насъ важенъ вопросъ: что изъ этого явствуетъ въ отношеніи самого Короленка, какъ представителя эпохи, какъ дѣятеля 80-хъ годовъ?

Прежде всего, передъ нами очерчивается образъ большого художника, который изъ эпохи 70-хъ годовъ вынесъ *особливое предпочтеніе идеи альтруизма*, но который оказывается совершенно свободнымъ отъ власти тѣхъ запретовъ, въ силу которыхъ люди 70-хъ годовъ налагали „veto“ на многое, что, по ихъ мнѣнію, могло отвлекать человѣка отъ служенія народу и человѣчеству, могло ослаблять фанатическую преданность идеалу и дѣятельную любовь ко всѣмъ обездоленнымъ. У Короленка нѣтъ *аскетизма*—ни художническаго, ни вообще интеллигентскаго. Онъ не отрицаетъ правъ „чистаго искусства“ и „чистой науки“ и увѣренъ, что эти права легко согласуются съ велѣніями альтруизма, съ борьбою за общественную правду, съ стремленіемъ къ исторически-очередному идеалу.

Музыка, вопросъ о которой въ данномъ случаѣ выдвигается впередъ, имѣетъ свои „законы“ и задачи, казалось бы, независимые отъ очередной общественной борьбы, отъ „злобы“ дня и эпохи. Но музыкантъ, композиторъ прежде всего человѣкъ, а человѣкъ—существо общественное, пріуроченное къ данной общественной средѣ, къ мѣсту и времени. Если онъ замкнется въ себѣ и возымѣетъ горделивую и эгоистическую претензію—устраниться отъ жизни, если онъ культу любви къ ближнему предпочтетъ культъ индифферентизма, то холодъ одиночества и отчужденности заморитъ въ немъ и человѣческое, и художническое. Напротивъ,

даже при условіяхъ, особливо благопріятствующихъ одиночеству и отчужденности, общественный интересъ и альтруистическія чувства способны вырвать человѣка изъ этой душевной тюрьмы и дѣйствуютъ оздоровляющимъ образомъ на его человѣческую и художническую натуру.

Ю. И. Айхенвальдъ выразилъ сожалѣніе, что Короленко вывелъ слѣпого изъ мрака отчужденности къ свѣту лучшихъ человѣческихъ чувствъ и стремленій. Если я понялъ слова критика, то они означаютъ, что онъ хотѣлъ-бы найти въ „Слѣпомъ музыкантѣ“ изображеніе ужаса одиночества. Въ такомъ случаѣ онъ не правъ: ужасъ одиночества изображенъ въ „этюдѣ“—описаніемъ двухъ кризисовъ, пережитыхъ слѣпымъ: одного на переходѣ отъ дѣтства къ отрочеству и другого—при наступленіи зрѣлости. Если же Айхенвальдъ имѣетъ въ виду нѣчто другое, напр., положительную сторону одиночества, углубленія въ себя, если онъ хотѣлъ бы найти здѣсь раскрытіе тайнъ и сокровищъ индивидуальнаго духа, свободнаго отъ узъ общественности, неподвластнаго юдоли соціальнаго бытія, то приходится возразить ему, что такой задачи Короленко не ставилъ себѣ, да и не могъ бы и выполнить, ибо, натура здравая и жизнедѣятельная, онъ въ подобномъ „углубленіи въ себя“, отчужденіи отъ общества и полномъ индифферентизмѣ не можетъ не видѣть явленія патологическаго, упадка человѣчности, извращенія натуры.

Уклонъ въ сторону такого извращенія обнаруживался въ поколѣніи 80-хъ годовъ, когда младшіе его представители и кое-кто изъ старшихъ отдавали дань увлеченію „эстетизмомъ“, „аполитизмомъ“, „аморализмомъ“, и въ этомъ направленіи было высказано—устно и печатно—не мало глупостей, имѣвшихъ видъ чего-то якобы значительнаго. Въ лирической поэзіи зазвучали декадентскія ноты... Шатанію мысли, разброду идей не мало содѣйствовала, конечно, реакція той эпохи, какъ правительственная, такъ еще болѣе общественная.

Короленко шелъ своимъ путемъ, пристально всматриваясь въ сумракъ времени... И отъ его зоркихъ глазъ не скрылись черты, которыя показывали, что, въ сущности, застоя нѣтъ, что реакція безсильна повернуть теченіе времени вспять... Нѣкоторыя изъ этихъ чертъ были весьма по-

казательны, какъ напр., огромная популярность въ эту смутную эпоху поэзіи Надсона, произведеній Гаршина и, что еще важнѣе, быстрый ростъ славы самого Короленка. Признаки здороваго роста обнаруживались въ различныхъ областяхъ жизни и мысли. И многое, что на первыхъ порахъ казалось реакціоннымъ въ настроеніи людей 80-хъ годовъ, было только закономѣрнымъ протестомъ противъ крайностей утопизма и аскетизма 70-хъ годовъ.

Короленко шелъ своимъ путемъ—бодро и смѣло... И вскорѣ *на своемъ пути* онъ встрѣтилъ Чехова и сразу угадалъ въ немъ большую творческую и прогрессивную силу. И съ своей стороны Чеховъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ типичный человѣкъ 80-хъ годовъ, сразу понялъ и оцѣнилъ творческую силу и сильную натуру Короленка. Онъ писалъ:„ ...Мнѣ хочется вѣрить, что Короленко выйдетъ побѣдителемъ и найдетъ точку опоры. На его сторонѣ крѣпкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядовъ и ясный, хорошій умъ, хотя и не чуждый предубѣжденій, но зато свободный отъ предразсудковъ...“. (Изъ письма къ Плещееву, 1889 г.).—Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о Короленкѣ: „это мой любимый изъ современныхъ писателей...“— И еще (въ характерной шутливой формѣ его писемъ): „Я готовъ поклясться, что Короленко очень хорошій человѣкъ. Итти не только рядомъ, но и за этимъ парнемъ весело...“. (См. „На памятникъ Чехову“, стр. 149—150).

То, что Чехову казалось „предубѣжденіями“, которыхъ „не чуждъ“ Короленко, было наслѣдіемъ (и вполнѣ законнымъ) 70-хъ годовъ, выражавшимся, какъ можно догадываться, въ суровости приговоровъ о нѣкоторыхъ лицахъ, къ которымъ Чеховъ, не унаслѣдовавшій традицій 70-хъ годовъ, относился терпимо и благодушно. Но „предубѣжденія“ Короленка не были „предразсудками“ и не мѣшали Чехову „идти весело“ рядомъ съ Короленкой или даже за нимъ....

Мы видѣли, какъ „шелъ“ Короленко. Теперь посмотримъ, какъ и куда „шелъ“ въ ту эпоху Чеховъ.

ГЛАВА III.

Чеховъ въ 80-хъ годахъ.

1.

Въ XIII-ой главѣ II-ой части этого труда, гдѣ шла рѣчь о 80-хъ годахъ, мы имѣли въ виду правительственную и общественную *реакцію*, т.-е. ту сторону, которою эта эпоха характеризуется по преимуществу. Но было бы большою ошибкою думать, что въ 80-хъ годахъ ничего, кромѣ реакціи, не было, что жизнь остановилась въ своемъ развитіи и наступилъ полный регрессъ или упадокъ. Такъ, правда, казалось тогда многимъ, чьи иллюзіи были разбиты, равно какъ и тѣмъ, которые, не питая иллюзій, не лелѣя большихъ надеждъ, все-таки уповали на прогрессъ, хотя бы и очень медленный, на продолженіе освободительныхъ реформъ, начатыхъ въ 60-хъ годахъ и потомъ пріостановленныхъ или искаженныхъ. Иллюзіи были разбиты, самыя скромныя надежды не оправдались,—и естественно возникала другая иллюзія: казалось, будто жизнь замерла, и наступила всероссійская летаргія.

Въ дѣйствительности же никакой летаргіи не было, и жизнь шла впередъ своимъ порядкомъ: общественные вопросы продолжали, какъ и прежде, занимать умы, только ставились и освѣщались иначе,—политическая мысль бродила въ тиши,—проповѣдь Толстого, казалось бы, столь аскетическая и не отъ міра сего, получала значеніе протеста,—общество далеко не оставалось безучастнымъ къ вопросамъ о народной нуждѣ и темнотѣ,—зачиналась та просвѣтительная дѣятельность, которой вскорѣ предстояло широко развернуться (общества грамотности съ ихъ школами, общественными библіотеками, народными читальнями и издательской дѣятельностью),—кругъ читателей быстро увеличивался, — университеты, хотя и обезличенные ретроградною реформою 1884 года, все-таки какъ-нибудь исполняли свою просвѣтительную и научную миссію, подрастало, училось и волновалось молодое поколѣніе,—въ литературѣ выдвигались новые таланты и т. д., и т. д.

Яркимъ проявленіемъ, можно сказать, краснорѣчивымъ символомъ этого роста жизни, которая вступала въ свои права и, наперекоръ всякимъ реакціямъ и всякому отчаянію, не хотѣла ни идти вспять, ни отчаиваться, былъ тотъ молодой, веселый, заразительный смѣхъ, который вдругъ раздался въ самомъ началѣ 80-хъ годовъ, среди почти повальнаго унынія.

Это смѣялся и смѣшилъ публику Антонъ Чеховъ, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ „Чехонте", студентъ московскаго университета, сотрудникъ „Стрекозы" и другихъ юмористическихъ изданій. Многимъ этотъ безпричинный и беззаботный смѣхъ казался тогда неумѣстнымъ и даже неприличнымъ, какъ на похоронахъ или панихидѣ. Но въ немъ было столько неподдѣльной веселости, юмора, жизнерадостности, что вскорѣ его „права" были поневолѣ признаны—даже нѣкоторыми изъ тѣхъ, которымъ тогда было вовсе не до смѣха.

Къ числу послѣднихъ принадлежалъ В. Г. Короленко. Писатель строго-идейный, уже пережившій суровый искусъ 70-хъ годовъ и закаленный имъ, онъ сразу разглядѣлъ въ беззаботныхъ и безыдейныхъ литературныхъ шалостяхъ юмориста „Чехонте" и, конечно, еще яснѣе—въ „Пестрыхъ разсказахъ" задатки большого таланта и признаки натуры, богатой душевными силами, которыя со временемъ могутъ развиться и обнаружиться иначе. Въ своихъ воспоминаніяхъ о Чеховѣ онъ пишетъ, что послѣдній произвелъ на него тогда (это было въ концѣ 1886 или въ началѣ 1887 года) „впечатлѣніе человѣка глубоко-жизнерадостнаго. Казалось, изъ глазъ его струится неисчерпаемый источникъ остроумія и непосредственнаго веселья, которымъ были переполнены его разсказы. *И вмѣстѣ угадывалось что-то болѣе глубокое, чему еще предстоитъ развернуться и развернуться въ хорошую сторону*" [1]).

Всякій большой художникъ—прирожденный психологъ и „сердцевѣдъ", но, думается мнѣ, далеко не всѣ большіе художники обладаютъ такимъ даромъ *индивидуальнаго діагноза*, какимъ отличается В. Г. Короленко, неоднократно доказавшій, что онъ умѣетъ *угадывать* человѣка и улавли-

---

[1]) „Отошедшіе", стр. 107.—Курсивъ мой.

вать самую „суть“ его натуры, даже тогда, когда обстоятельства, казалось бы, далеко не благопріятствуютъ возможности правильнаго діагноза и непредубѣжденнаго сужденія. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Корифеи литературы (въ томъ числѣ Н. К. Михайловскій и, какъ можно догадываться по нѣкоторымъ намекамъ въ воспоминаніяхъ Короленка, Гл. Успенскій) относились къ Чехову съ предубѣжденіемъ, недовѣрчиво. Талантъ его, конечно, замѣтили **), но, кажется, только Короленко увидѣлъ въ его талантѣ и натурѣ „что-то глубокое“ и угадалъ его будущее, и вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣтилъ нѣкоторыя изъ тѣхъ коренныхъ чертъ душевнаго склада Чехова, безъ пониманія которыхъ нельзя уяснить себѣ ни его общаго міросозерцанія, ни самаго смысла и значенія его произведеній.

Характеристикой и оцѣнкой этихъ коренныхъ чертъ мы и займемся теперь, имѣя въ виду посильно раскрыть ихъ *общественно-психологическое значеніе*, какъ одного изъ выраженій того поворота въ настроеніи и въ направленіи умовъ, который совершался въ 80-хъ годахъ.

2.

Обратимъ прежде всего вниманіе на ту черту, которую Короленко опредѣляетъ какъ „*избытокъ бодрости и силы*“. Прочтемъ слѣдующія строки: „...Въ самый разгаръ 80-хъ годовъ, когда общественная жизнь такъ похожа была на эту степь *) съ ея безмолвною истомой и тоскливой пѣснью, онъ явился беззаботный, веселый, съ избыткомъ бодрости и силы. То и дѣло у него неизвѣстно откуда являлись разные проекты и притомъ какъ-то сразу въ готовомъ видѣ, съ мелкими деталями...“ („Отошедшіе“, 113). Проекты съ ихъ деталями дышали юной наивностью, молодой предпріимчивостью и были простодушнымъ выраженіемъ „избытка бодрости и силы“. Въ нихъ сказывалась и та потребность дѣятельности, та жажда труда, которая видна и во многихъ мѣстахъ его писемъ этихъ годовъ. Работать, ра-

*) Раньше другихъ Д. В. Григоровичъ и А. С. Суворинъ.

**) Имѣется въ виду знаменитый разсказъ Чехова „Степь“, написанный въ 1887 г.

ботать, и притомъ всѣмъ вмѣстѣ, дружно, бодро—таковъ смыслъ и лозунгъ, сквозящій въ затѣяхъ Чехова. Нужно отмѣтить, что эта работа, въ его представленіи, являлась дѣятельностью прогрессивною,—писатели, какъ и вообще люди, одаренные талантомъ, „призваны вліять на общество *воспитывающе*“ *). Но вмѣстѣ съ тѣмъ она не должна быть партійною и идеологическою въ собственномъ смыслѣ, на манеръ передовыхъ журналовъ 70-хъ годовъ. Перечитывая письма Чехова и воспоминанія о немъ, живо чувствуешь, что имѣешь дѣло съ представителемъ поколѣнія, которое тяготилось узами идеологіи, обязательныхъ нормъ и программъ дѣятельности, партійныхъ шаблоновъ и стремилось мыслить и дѣйствовать по-своему. Эта черта замѣчалась тогда у многихъ. У Чехова она выразилась съ особенной яркостью и послужила лишнимъ поводомъ заподозрѣть его въ безыдейности, въ безпринципности. Короленко въ эту ошибку не впалъ. Онъ хорошо понималъ, что тутъ сказывалась потребность нѣкоторой передышки, и что молодежь, не впрягающаяся сразу въ хомутъ готовой идеологіи и партійной дѣятельности, имѣла психологическое и даже нравственное право на это. Прежде чѣмъ „пуститься въ путь дальнѣйшей борьбы и дальнѣйшихъ исканій“, говоритъ онъ, „нужно было остановиться, осмотрѣться,—нуженъ былъ „пересмотръ“ наличнаго достоянія идей“.—„И потому „свобода“ Чехова „отъ партій“ при наличности большого таланта и большой искренности, казались мнѣ тогда,—пишетъ онъ,—признаюсь, нѣкоторымъ преимуществомъ. Все равно, думалъ я, это не надолго“... („Отошедшіе“, 107).

Въ то время Чеховъ возлагалъ, повидимому, большія надежды на дружную, совмѣстную работу молодыхъ писателей. Въ одномъ письмѣ **) онъ говоритъ, что „мы можемъ взять усиліями цѣлаго поколѣнія,—не иначе. Всѣхъ насъ будутъ звать не Чеховъ, не Т., не К., не Щ., не Б., не В., а „восьмидесятые годы“, или конецъ XIX-го столѣтія“. Нѣкоторымъ образомъ артель“... Онъ не хочетъ

*) См. сборникъ „На памятникъ Чехову“ въ статьѣ Ѳ. Д. Батюшкова „А. П. Чеховъ по воспоминаніямъ о немъ и письмамъ“, стр. 28.

**) Къ В. А. Тихонову. Цитирую по статьѣ Ѳ. Д. Батюшкова въ сборникѣ „На памятникъ Чехову“, стр. 12.

выдѣлять себя изъ ряда другихъ писателей-сверстниковъ, хотя въ то время онъ уже фактически выдѣлился и былъ отмѣченъ компетентными цѣнителями и отчасти самой публикой, какъ крупный талантъ, которому предстоитъ блестящее будущее. Помимо присущей ему скромности, здѣсь сказалась еще другая черта,—та самая, которая такъ ярко проявлялась у Пушкина: наивное, почти импульсивное стремленіе генія переоцѣнивать таланты другихъ, подымать ихъ до своего уровня и всячески поощрять собратьевъ по перу къ напряженной и плодотворной работѣ *). У Чехова это была, можно сказать, стойкая и характерная черта, проявлявшаяся весьма часто и въ послѣдующее время (объ этомъ свидѣтельствуютъ авторы воспоминаній о немъ), но въ 80-хъ годахъ она выражалась не только въ видѣ сочувствія, поддержки, поощренія, но преимущественно въ планахъ и предложеніяхъ совмѣстной работы. „Однажды, — вспоминаетъ В. Г. Короленко, — онъ сталъ развивать передо мною планъ журнала, въ которомъ будутъ участвовать беллетристы, числомъ 25, „и всѣ начинающіе, вообще молодые“. Въ другой разъ, устремивъ на меня свои прекрасные глаза, съ выраженіемъ внезапно созрѣвающей мысли, онъ сказалъ: „Слушайте, Короленко, я пріѣду къ вамъ въ Нижній“.— „Буду очень радъ. Смотрите же, не обманите“.—„Непремѣнно пріѣду... Будемъ вмѣстѣ работать. Напишемъ драму. Въ четырехъ дѣйствіяхъ. Въ двѣ недѣли“. — „Я засмѣялся...“ **). Фраза: „авось вмѣстѣ что-нибудь да и напишемъ сообща“, приводимая г. Тихоновымъ, въ высокой степени характерна для „восьмидесятника“ Чехова, который такъ охотно и такъ часто представлялъ себя работникомъ въ дружной артели молодыхъ писателей, объединенныхъ не взглядами и партійною программою, а общимъ стремленіемъ приложить свои силы къ дѣлу, работать рука объ руку на литературной нивѣ... Они не стѣснены никакимъ шаблономъ, каждый ревниво блюдетъ свою писательскую индивидуальность, и всѣ работаютъ дружно, по-

*) Эту сторону я старался оттѣнить и объяснить въ статьѣ по поводу сборника „На памятникъ Чехову“ (С.-Петерб., 1906 г.), помѣщенной въ газ. „Страна“.

**) „Отошедшіе“. 113—114.

могая другъ другу, радуясь успѣхамъ товарища, движимые благороднымъ соревнованіемъ, но чуждые зависти и мелкихъ чувствъ... Это была мечта, это была фантастическая идиллія, и въ письмахъ Чехова мы встрѣчаемъ выраженіе чувствъ глубокаго негодованія и разочарованія, которыя имъ овладѣвали, когда онъ наталкивался на разладъ, недоброжелательство, зависть. Сюда относятся напр., слѣдующія строки въ одномъ письмѣ къ покойному поэту А. Н. Плещееву: „Теперь о зависти. Если премію *) мнѣ дали, въ самомъ дѣлѣ, не по заслугамъ, то и зависть, которую она возбуждаетъ, свободна отъ правды. Завидовать и досадовать имѣютъ нравственное право тѣ, кто лучше меня или идетъ рядомъ со мною, но отнюдь не тѣ господа NN. и K°, для которыхъ я собственнымъ лбомъ пробилъ дорогу къ толстымъ журналамъ и къ этой же преміи... У нихъ ни патріотизма, ни любви къ литературѣ, а одно самолюбьишко. Они готовы повѣсить меня и Короленко за успѣхъ. Будь я и Короленко геніи, спаси мы съ нимъ отечество, создай мы храмъ Соломоновъ, то насъ возненавидѣли бы еще больше, потому что гг. NN. не видятъ ни отечества, ни литературы,—все это для нихъ вздоръ; они замѣчаютъ только чужой успѣхъ и свой неуспѣхъ, а остальное хоть травой порасти. Кто не умѣетъ быть слугою, тому нельзя позволить быть господиномъ; кто не умѣетъ радоваться чужимъ успѣхамъ, тому чужды интересы общественной жизни и тому нельзя давать въ руки общественное дѣло". **).

Очевидно, идиллія „литературной артели" рушилась довольно скоро.... .

3.

Эту „идиллію" подкосили однако не только мелкія чувства, но также и неизбѣжный конфликтъ между столь характернымъ для поколѣнія 80-хъ годовъ вообще и столь яркимъ у Чехова стремленіемъ къ индивидуализму, „вну-

*) Пушкинская премія въ 500 рублей, полученная Чеховымъ въ 1888 году.

**) „На памятникъ Чехову", стр. 157.

тренней свободѣ“, „безпартійности“ и т. д. съ одной стороны и тѣмъ тяготѣніемъ къ нѣкоторому „шаблону“ и „ярлыку“, къ группировкѣ по „взглядамъ“, по общественнымъ симпатіямъ и антипатіямъ—съ другой, которое фатально возникаетъ во всякомъ общественномъ дѣлѣ и только подлежитъ нѣкоторому коррективу или смягченію подъ воздѣйствіемъ ума, гуманности и такта. Это тяготѣніе обнаруживалось и въ 80-хъ годахъ, въ средѣ тѣхъ же молодыхъ писателей, которые такъ возставали противъ партійной узости и всякихъ „шаблоновъ“. Лично Чеховъ въ своемъ отвращеніи къ журнальной и вообще писательской „кружковщинѣ“ шелъ дальше, чѣмъ слѣдовало бы, какъ дѣлали это и нѣкоторые другіе. Прочтемъ слѣдующую любопытную тираду изъ его письма къ г. Щеглову-Леонтьеву: „Получилъ я отъ Лемана письмо; онъ извѣщаетъ, что „мы (т. е. всѣ вы, питерцы) согласились печатать объявленія другъ о другѣ въ своихъ книгахъ“, приглашаетъ меня согласиться и предостерегаетъ, что можно въ число избранныхъ „включить лишь лицъ, болѣе или менѣе *солидарныхъ* съ нами“. Въ отвѣтъ я послалъ согласіе и вопросъ: откуда вамъ извѣстно, съ кѣмъ я солидаренъ и съ кѣмъ не солидаренъ?“—Какъ у васъ въ Питерѣ любятъ духоту! Неужели вамъ всѣмъ не душно отъ такихъ словъ, какъ солидарность, единеніе молодыхъ писателей, общность интересовъ и проч.? Солидарность и прочія штуки я понимаю на биржѣ, въ политикѣ, въ дѣлахъ религіозныхъ (секта) и т. п., солидарность же молодыхъ литераторовъ невозможна и не нужна... Чтобы помочь своему коллегѣ, уважать его личность и трудъ, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемѣрить передъ нимъ—для всего этого нужно быть не столько молодымъ литераторомъ, сколько вообще человѣкомъ *)...“—Онъ протестуетъ противъ „взвинченной“, „профессіональной, кружковой солидарности“, которая, по его мнѣнію, неизбѣжно „породитъ невольное шпіонство другъ за другомъ, подозрительность, контроль“, и „мы,—добавляетъ онъ,—сами того не желая, сдѣлаемся чѣмъ-то въ родѣ іезуитскихъ социусовъ другъ у друга“....

*) „На памятникъ Чехову“. стр. 173.

*

Нетрудно указать слабые пункты въ этой аргументаціи или въ этой филиппикѣ Чехова. Литература—не биржа, не политика, не секта, но она—дѣло общественное въ широкомъ смыслѣ этого слова, и нѣтъ ничего удивительнаго и зазорнаго въ томъ, что молодые писатели, желая сгруппироваться и основать общее дѣло, подымаютъ вопросъ о солидарности не только интересовъ, но и воззрѣній и не остаются равнодушными къ важному вообще, а у насъ, въ Россіи, да еще въ 80-хъ годахъ—въ особенности, вопросу объ убѣжденіяхъ, о направленіи писателя, желающаго вступить въ кружокъ и пользоваться его поддержкою. Если этотъ писатель проводитъ въ своихъ сочиненіяхъ идеи и возбждаетъ чувства, по мнѣнію членовъ кружка, дурныя и вредныя, то какъ же требовать отъ нихъ, чтобы они приняли его въ свою среду и содѣйствовали распространенію его произведеній? Нужно отмѣтить и то, что вѣдь дѣло шло о лицахъ *„болѣе или менѣе солидарныхъ“* съ иниціаторами соглашенія. Чеховъ, цитируя эту фразу, подчеркиваетъ слово „солидарныхъ“ и какъ будто не обращаетъ вниманія на выраженіе: „болѣе или менѣе“. А между тѣмъ оно показываетъ, что тутъ вовсе не имѣлась въ виду непремѣнно „взвинченная солидарность“ и та „духота“, та „кружковщина“, которая предполагаетъ полное, по всѣмъ пунктамъ, согласіе въ „исповѣданіи вѣры“ и не терпитъ ни малѣйшаго отступленія отъ „догмы“, не допускаетъ никакой „ереси“.

Съ другой стороны, можно упрекнуть Чехова въ томъ, что, выдѣляя литературу, гдѣ не должно быть „духоты“, онъ обрекаетъ на „духоту“ политику и религію. Ужъ разъ дѣло идетъ о томъ, чтобы бороться съ духотой и всякими „словами“, отъ которыхъ становится „душно“, то эту борьбу прежде всего слѣдуетъ перенести именно въ область политики и религіозной дѣятельности, гдѣ шаблоны идей, партійная нетерпимость и догматическія привычки мысли всегда и вездѣ сказываются съ особливою силою и проявляются такъ властно, что грозятъ задушить и гуманность, и справедливость, и уваженіе къ человѣческой личности, т. е. какъ разъ все то, что является цѣлью разумной и прогрессивной политики и должно было бы составлять психологическую основу истинной религіозности.—Что же касается

литературы (именно художественной, о которой собственно и идетъ рѣчь), то здѣсь партійные шаблоны далеко не такъ вредны, какъ въ политикѣ и въ религіи, ибо психологическія условія художественной работы таковы, что, вопреки всякимъ шаблонамъ, выдвигаютъ впередъ индивидуальность писателя: если она сильна и оригинальна, то никакой шаблонъ ей не страшенъ; если она слаба и безцвѣтна, то, все равно, и безъ шаблона она не создастъ ничего оригинальнаго и значительнаго.—Наконецъ, говоря о „словахъ", отъ которыхъ „душно", и имѣя въ виду спеціально литературу художественную, слѣдовало бы ополчаться не противъ такихъ „словъ", какъ „солидарность",—словъ, относящихся не столько къ литературѣ, сколько къ литераторамъ, а противъ такихъ, какъ „реализмъ", „романтизмъ", „символизмъ" и т. д., т. е. означающихъ чисто литературныя понятія, шаблоны литературныхъ школъ, направленій и модъ, подъ ферулою которыхъ большимъ талантамъ иногда становится душно, а маленькіе совсѣмъ задыхаются.

Я увѣренъ въ томъ, что если бы эти возраженія были предъявлены Чехову тогда же, то онъ не только согласился бы съ ними, но и не нашелъ бы въ нихъ ничего для себя новаго. Но, вѣроятно, онъ—въ свое оправданіе—указалъ бы на то, что тогда подъ такими во всякомъ случаѣ хорошими словами, какъ „солидарность", „единеніе молодыхъ писателей" и т. п., скрывались поползновенія на подчиненіе личности деспотизму кружковъ и направленій и что въ своей филиппикѣ онъ только возставалъ противъ этого деспотизма.

Въ этомъ, а еще яснѣе въ неосторожныхъ выраженіяхъ филиппики, протестующей противъ „взвинченной солидарности", сказался типичный „восьмидесятникъ", молодой, еще не установившійся писатель того времени съ замѣтно „взвинченнымъ" самочувствіемъ, болѣзненно и утрированно реагирующимъ на всякую, дѣйствительную или мнимую, попытку нарушить его внутреннюю свободу, навязать ему тѣ или другіе—обязательные—взгляды, пристегнуть его къ опредѣленному направленію, которое требуетъ соотвѣтственнаго „поведенія": нельзя быть „солидарнымъ" съ такимъ-то, нельзя печататься въ такомъ-то журналѣ и т. д. Слѣдующія строки того же письма къ г. Леонтьеву являются характер-

нымъ для „восьмидесятника“ выраженіемъ протеста или „бунта“ противъ этихъ правилъ литературной *благопристойности*, казавшихся Чехову и его сверстникамъ чѣмъ-то въ родѣ сектантскихъ предразсудковъ: „Я милый Жанъ, не солидаренъ съ Вами, но обѣщаю Вамъ по гробъ жизни полную свободу, какъ литератору, т. е. Вы можете писать, гдѣ и какъ угодно, мыслить хотя бы на манеръ Корейши, измѣнять 1000 разъ убѣжденіямъ и направленіямъ и пр. и пр., и человѣческія отношенія мои къ Вамъ не измѣнятся ни на одинъ гранъ, и я не всегда буду на своихъ обложкахъ печатать объявленія о Вашихъ книгахъ. То же самое я могу пообѣщать и прочимъ моимъ коллегамъ, того же хотѣлъ бы и для себя“.....

Это было время, когда такая точка зрѣнія какъ-то сама собою навязывалась молодымъ умамъ, новымъ пришельцамъ на литературной аренѣ, и когда не только эти пришельцы (въ томъ числѣ и Чеховъ), но и нѣкоторые старые литераторы съ безупречнымъ именемъ, какъ напр., покойный Терпигоревъ (С. Атава), не брезгали печататься въ „Новомъ Времени“, съ направленіемъ котораго они не были „солидарны“....

Немудрено, что на лучшихъ представителей старшаго поколѣнія эти новые пришельцы, въ томъ числѣ и Чеховъ, производили невыгодное впечатлѣніе. Упреки и подозрѣнія въ безпринципности долго преслѣдовали Чехова, и ему иногда приходилось разъяснять даже людямъ, хорошо его знавшимъ и искренно къ нему расположеннымъ, что напр., онъ вовсе не врагъ „людей 60-хъ годовъ“, что въ такой-то повѣсти онъ отнюдь не имѣлъ въ виду очернить украинофильство, что при всей своей „безпартійности“ онъ вовсе не чуждъ идей и идеаловъ и т. д. [1]).—По такимъ поводамъ онъ откровенно высказывалъ свою точку зрѣнія на вещи, къ которой можно относиться различно, но въ которой ни въ какомъ случаѣ нельзя усматривать признаковъ безпринципности или безыдейности, хотя, надо признать, иныя выраженія Чехова легко могли *тогда* дать поводъ къ подозрѣнію его въ этомъ грѣхѣ. Вотъ напр., что читаемъ мы въ

*) См. въ сборникѣ „На памятникъ Чехову“ письмо къ А. Н. Плещееву, стр. 146—147.

одномъ письмѣ къ А. Н. Плещееву: „Я боюсь тѣхъ, кто между строкъ ищетъ тенденціи и кто хочетъ видѣть меня непремѣнно либераломъ или консерваторомъ. Я не либералъ, не консерваторъ, не постепеновецъ, не монахъ, не индифферентистъ. Я хотѣлъ бы быть свободнымъ художникомъ—и только... *Я ненавижу ложь и насиліе въ всѣхъ его видахъ* *)... Фарисейство, тупоуміе и произволъ царятъ не въ однихъ только купеческихъ домахъ и кутузкахъ; я вижу ихъ въ наукѣ, въ литературѣ, среди молодежи... Потому я одинаково и не питаю особаго пристрастія ни къ жандармамъ, ни къ мясникамъ, ни къ ученымъ, ни къ писателямъ, ни къ молодежи. *Фирму и ярлыкъ я считаю предразсудкомъ. Моя святая святыхъ—это человѣческое тѣло, здоровье, умъ, талантъ, вдохновеніе, любовь и абсолютнѣйшая свобода, свобода отъ силы и лжи, въ чемъ бы послѣднія двѣ ни выражались* *). Вотъ программа, которой я держался бы, *если бы былъ большимъ художникомъ*" *) („На памятн. Чехову", стр. 145).

Въ послѣдней оговоркѣ сквозитъ какъ бы нѣкоторое сомнѣніе въ правѣ всякаго молодого писателя, только „подающаго надежды" (какимъ и былъ Чеховъ тогда: письмо относится къ 1887 или 1888 году), выступать съ такою—можно сказать, горделивою—„программой". Quod licet Jovi, non licet bovi,—и старые писатели, умудренные опытомъ, могли справедливо усматривать здѣсь только *претензію*. Рѣдкій изъ молодыхъ „восьмидесятниковъ" не питалъ тогда подобныхъ притязаній на „абсолютнѣйшую свободу", рѣдкій не выражалъ такъ или иначе своего презрѣнія къ „фирмамъ" и „ярлыкамъ" и не мнилъ себя призваннымъ стоять выше всѣхъ этихъ либераловъ, консерваторовъ, постепеновцевъ и т. д., копошащихся гдѣ-то тамъ внизу, въ то время какъ онъ, „свободный художникъ", взираетъ на міръ съ высоты, недоступной профанамъ... И нерѣдко подъ такими претензіями и фразами скрывались—вмѣсто „абсолютнѣйшей свободы"—абсолютнѣйшая пустота и безпринципность... Чеховъ имѣлъ безспорно внутреннее право претендовать на роль „свободнаго художника" и только нѣсколько поспѣ-

*) Курсивъ мой.

шилъ съ заявленіемъ своей „программы“ *). Но будущее его оправдало: онъ въ самомъ дѣлѣ осуществилъ „программу“ и доказалъ своими произведеніями, что былъ рожденъ не только „большимъ“, но и *великимъ* художникомъ.

При всемъ томъ нельзя не замѣтить, что такого рода заявленія всегда производятъ досадное впечатлѣніе гордыни, къ тому же совершенно излишней: если они преждевременны, то они всегда рискованны и сбиваются на смѣшную претензію; если они дѣлаются post factum, когда художникъ доказалъ, что принадлежитъ къ числу „избранниковъ“, и признанъ таковымъ, то они не нужны...

Отмѣтимъ еще характерную для 80-хъ годовъ черту: умный, просвѣщенный и несомнѣнно передовой молодой писатель утверждаетъ, что онъ не либералъ и не консерваторъ и какъ бы даже кичится этимъ отсутствіемъ опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій. Въ то время это была своего рода „мода“, это былъ также „ярлыкъ“.

4.

Но присмотримся нѣсколько ближе къ „программѣ свободнаго художника“: въ ней есть „пункты“ въ высокой степени любопытные и притомъ такіе, которые, хотя нерѣдко выставлялись и въ прежнее время, но только въ 80-хъ годахъ становились—впервые у насъ—общимъ достояніемъ, превращались въ нѣчто въ родѣ общепризнанной истины, являясь симптомомъ совершавшейся тогда и потомъ усилившейся культурной эволюціи. Обратимъ вниманіе на то, что такія вещи, какъ *умъ*, *талантъ*, *вдохновеніе*, выставляются въ „программѣ“ какъ нѣчто *цѣнное само по себѣ*, какъ *благо*, не только личное, но и общественное, *культурное*, и рядомъ съ ними, поставлены *человѣческое тѣло* и *здоровье*.

---

*) Правда, она выражена въ частномъ письмѣ, но, такъ какъ это письмо къ А. Н. Плещееву, завѣдывавшему беллетристическимъ отдѣломъ „Сѣвернаго Вѣстника“, гдѣ печатался Чеховъ, имѣло цѣлью разъяснить нѣкоторыя редакціонныя недоразумѣнія касательно „направленія“ Чехова, то, очевидно, „программа“ подлежала и нѣкоторой огласкѣ, по крайней мѣрѣ въ кругу редакціи и лицъ, къ ней близкихъ.

Это какъ бы выхвачено изъ глубокихъ нѣдръ жизни, это—формула, мѣтко выражающая то, что стихiйно и глухо бродило и назрѣвало въ общественномъ самочувствiи. Еще недавно, въ 70-хъ годахъ, умъ, талантъ, вдохновенiе сами по себѣ не цѣнились—какъ благо. Ихъ подвергали строгому экзамену и спрашивали: *на что* они направлены, какому дѣлу, какимъ идеямъ и идеаламъ служатъ они? Сами же по себѣ они понимались просто какъ сила, которая можетъ быть и полезной, и вредной, и безразличной. Это высказывалъ неоднократно, напр., Михайловскiй, и въ передовыхъ кругахъ это было какъ бы догмой или самоочевидной истиной. Было даже въ ходу подозрительное и недовѣрчивое отношенiе къ уму, таланту, генiю, какъ къ чему-то въ родѣ слѣпой стихiйной силы, не поддающейся дисциплинѣ и способной вдругъ взять да и устремиться въ нежелательномъ направленiи, отчего можетъ воспослѣдовать великiй вредъ для прогресса, для торжества тѣхъ идей, въ которыхъ видѣли единственное и несомнѣнное благо. И часто упускалась изъ виду коварная антитеза: если умъ и талантъ орудiя обоюдоострыя и сами по себѣ не благо, то ихъ противоположности,—глупость и бездарность,—отнюдь не являются „орудiемъ обоюдоострымъ" и не могутъ быть признаваемы чѣмъ-то безразличнымъ: они всегда вредны, они—родъ общественнаго бѣдствiя, хотя бы и были направлены въ „хорошую сторону".

Вообще европейское понятiе *культурнаго блага* прививалось и распространялось у насъ очень туго. Никакъ не могли усвоить той „истины", что, напр., народная школа или общественная гигiена—это несомнѣнныя культурныя блага сами по себѣ, и ставили рядъ вопросовъ въ родѣ: а какое употребленiе сдѣлаетъ мужикъ изъ грамоты? кто и съ какими цѣлями воспользуется преимуществами общественной гигiены? Если грамота только помогла мужику стать кулакомъ или усвоить нежелательныя идеи, то она принесла вредъ. Если гигiена только содѣйствуетъ благополучiю „правящихъ классовъ" и основана на эксплоатацiи народа, то она вредна и т. д.—Эта точка зрѣнiя прилагалась и къ университетамъ, и къ самоуправленiю, и къ наукѣ, и къ искусству, и къ „конституцiи".

И только въ 80-е годы обозначился поворотъ въ сторону

признанія самоцѣнности всего, что повсюду въ цивилизованномъ мірѣ подводится подъ понятіе „культурнаго блага". Тутъ отчасти „помогла" своимъ вандализмомъ и реакція этой эпохи: она ускорила процессъ, „наглядно" показавъ, что упраздненныя или изуродованныя ею начала, какъ земская самодѣятельность, независимый судъ, университетское самоуправленіе и др.,—въ самомъ дѣлѣ *блага*, которыми слѣдуетъ дорожить. И соотвѣтственно разрушительной дѣятельности реакціи, принявшей форму борьбы съ прогрессомъ и культурою, движеніе, зачинавшееся въ 80-хъ годахъ и ускорившееся въ 90-хъ, было по преимуществу *борьбою за культурныя блага*,—за сохраненіе и развитіе тѣхъ, которыя были на-лицо, и за возможность создавать новыя.

Однимъ изъ важныхъ симптомовъ этого поворота въ сторону признанія самоцѣнности культурныхъ благъ было *обращеніе къ наукѣ, высокая оцѣнка ея призванія и роли*, доходившая иногда до своего рода *культа научности*. Тутъ отчасти помогло „толстовство", которое своимъ отрицаніемъ науки невольно заставляло задумываться на тему о томъ, что же такое наука, въ чемъ ея призваніе и какую цѣну имѣетъ она, какъ одно изъ „культурныхъ благъ".

Чеховъ и въ этомъ отношеніи явился типичнымъ и яркимъ представителемъ эпохи. „Случайность" ли или нѣтъ то, что онъ поступилъ на медицинскій факультетъ, что онъ занимался (и повидимому довольно усердно) естественными науками, что онъ сталъ практическимъ врачомъ и глубоко заинтересовался земской медициной,—но все это, какъ нельзя лучше, гармонируетъ съ общей тенденціей времени въ сторону высокой оцѣнки науки вообще и ея приложеній къ жизни въ частности, независимо отъ „направленія" или идей, какихъ придерживается тотъ или другой адептъ теоретическаго или прикладного знанія. Научное знаніе само по себѣ стало благомъ *).

„Я—врачъ и по уши втянулся въ медицину", писалъ

---

*) Въ 80-хъ г.г. наши ученые „съѣзды" (даже археологическіе) вызывали замѣтно больше интереса и сочувствія въ публикѣ, чѣмъ это было раньше. Наибольшій успѣхъ выпалъ на долю съѣзда естествоиспытателей и врачей въ 1883 г. (въ Одессѣ), на которомъ, между прочимъ, проф. И. И. Мечниковъ прочиталъ свой знаменитый докладъ о „фагоцитахъ".

Чеховъ Д. В. Григоровичу въ 1886 г., т. е. въ то время, когда онъ былъ хотя и молодымъ, но уже замѣченнымъ писателемъ. — А. И. Купринъ въ своихъ воспоминаніяхъ высказываетъ между прочимъ мысль, что практическая медицина была настоящимъ *призваніемъ* Чехова, которое только должно было отступить передъ другимъ, болѣе могучимъ, призваніемъ—художника: „Если бы Чеховъ не былъ такимъ замѣчательнымъ писателемъ, онъ былъ бы прекраснымъ врачомъ. Доктора, приглашавшіе его изрѣдка на консультаціи, отзывались о немъ, какъ о чрезвычайно вдумчивомъ наблюдателѣ и находчивомъ, проницательномъ діагностѣ... Между прочимъ, чрезвычайно удачно лѣчилъ онъ дѣтей. *Вѣрилъ онъ въ медицину твердо и крѣпко, и ничто не могло пошатнуть этой вѣры* *). Помню я, какъ однажды онъ разсердился, когда кто-то началъ свысока третировать медицину, по роману Золя—„Докторъ Паскаль“.— Золя вашъ ничего не понимаетъ и все выдумываетъ у себя въ кабинетѣ,—сказалъ онъ, волнуясь и покашливая.—*Пусть бы онъ поѣхалъ и посмотрѣлъ, какъ работаютъ наши земскіе врачи и что они дѣлаютъ для народа...*“ („Памяти Чехова“ въ „Сборникѣ знанія“, 1904 г., кн. III, стр. 39—40).

Обладая отъ природы выдающимся умомъ наблюдателя, Чеховъ развилъ свои умственныя силы на изученіи естественныхъ наукъ и медицины, и это повліяло самымъ благотворнымъ образомъ не только на его художественное творчество, но и на всѣ его отношенія къ дѣйствительности, къ очереднымъ вопросамъ времени, къ идеямъ и идеаламъ. Какъ въ его художественныхъ произведеніяхъ, такъ и въ письмахъ и его сужденіяхъ, сохраненныхъ авторами воспоминаній о немъ, сказывается прежде всего *просвѣщенный* и *научно-дисциплинированный умъ, мыслящій критически и раціонально*. А это—какъ разъ то, на что въ 80-хъ годахъ и въ послѣдующее время русская жизнь предъявляла усиленный спросъ. Такіе умы всегда нужны, но не всегда они цѣнятся. Чеховская трезвость и разлагающая критика были бы не ко двору, напр., въ 70-хъ годахъ, когда преобладалъ спросъ на *идеологію* и когда терминъ „критически-мыслящая личность“ въ сущности означалъ человѣка, вѣрую-

*) Курсивъ мой.

щаго въ соціалистическую идеологію и исповѣдующаго ея принципы, какъ догму. Въ 80-хъ годахъ, наряду съ извѣстнымъ успѣхомъ ученій Толстого, Достоевскаго и Влад. Соловьева, свидѣтельствовавшимъ о силѣ и распространенности у насъ ненаучнаго, нераціональнаго, некритическаго пошиба мысли, проявлялась и все громче заявляла о себѣ потребность въ научномъ и наукообразномъ знаніи, въ критическомъ и научно-наблюдательномъ отношеніи къ дѣйствительности и въ усвоеніи соотвѣтственныхъ пріемовъ мысли. Оттуда—тотъ фактъ, что въ 80-хъ годахъ еще больше, чѣмъ въ 60-хъ, развилась просвѣтительная дѣятельность, что въ это время возникъ усиленный спросъ на книги по всѣмъ областямъ знанія, на энциклопедическіе словари. Чувствовалась необходимость точныхъ наблюденій надъ дѣйствительностью, критическаго пересмотра всѣхъ вопросовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, наперекоръ Толстому, росло и крѣпло *уваженіе къ наукѣ.*

У Чехова, давшаго намъ—въ художественной формѣ—*изумительно точныя* наблюденія надъ дѣйствительностью, равносильныя научнымъ, уваженіе къ наукѣ выражалось съ особенной яркостью. Онъ хорошо сознавалъ и высоко цѣнилъ ту услугу, какую научныя занятія оказали ему лично, какъ художнику. Въ своей автобіографіи онъ говоритъ: „Не сомнѣваюсь, что занятія медицинскими науками имѣли серьезное вліяніе на мою литературную дѣятельность: они значительно раздвинули область моихъ наблюденій, обогатили меня знаніями, истинную цѣну которыхъ для меня, какъ для писателя, можетъ понять только тотъ, кто самъ врачъ... Знакомство съ естественными науками, съ научнымъ методомъ держало меня насторожѣ, и я старался, гдѣ было возможно, соображаться съ научными данными, а гдѣ невозможно, предпочиталъ не писать вовсе... Къ беллетристамъ, относящимся къ наукѣ отрицательно, я не принадлежу; къ тѣмъ, которые до всего доходятъ своимъ умомъ, не хотѣлъ бы принадлежать...“ [1]).

Своимъ умомъ доходилъ до всего Л. Н. Толстой... Чеховъ, какъ истый восьмидесятникъ, одно время, въ годы

*) Изъ автобіографіи, напечатанной въ „Русск. Вѣд.“ (въ 1904 г., въ іюлѣ). Цитирую по статьѣ Ѳ. Д. Батюшкова („На памятн. Чехову“, стр. 7).

студенчества, отдавалъ дань увлеченію проповѣдью великаго писателя. Онъ высоко цѣнилъ также тѣ художественныя произведенія Толстого, въ которыхъ эта проповѣдь получила столь сильное выраженіе, въ томъ числѣ и „Крейцерову сонату". О ней онъ восторженно отзывается въ письмѣ къ Плещееву (1889 г.). Но вотъ что читаемъ мы тутъ же: „Кромѣ всего того, что вы перечислили, въ ней есть еще одно, чего не хочется простить ея автору, а именно—смѣлость, съ какою Толстой трактуетъ о томъ, чего онъ не знаетъ и чего изъ упрямства не хочетъ понять. Такъ, его сужденія о сифилисѣ, воспитательныхъ домахъ и пр. не только могутъ быть оспариваемы, но и прямо изобличаютъ человѣка, не потрудившагося въ продолженіе своей долгой жизни прочесть двѣ-три книжки, написанныя спеціалистами..." („На памятн. Чехову", 161).

Критическое отношеніе къ религіозно-моральному ученію Толстого, повидимому, сложилось у него главнымъ образомъ подъ вліяніемъ науки, которую Толстой отрицалъ, а Чеховъ такъ высоко ставилъ и въ которой онъ видѣлъ важнѣйшую движущую силу прогресса. Въ одномъ письмѣ (къ А. С. Суворину) онъ говоритъ: „...толстовская философія сильно трогала меня, владѣла мною лѣтъ 6—7, и дѣйствовали на меня не основныя положенія, которыя были мнѣ извѣстны и раньше, а толстовская манера выражаться, разсудительность и, вѣроятно, гипнотизмъ своего рода. Теперь же во мнѣ что-то протестуетъ; *расчетливость и справедливость говорятъ мнѣ, что въ электричествѣ и парѣ любви къ человѣку больше, чѣмъ въ цѣломудріи и воздержаніи отъ мяса*" *).

Прогрессъ культуры и развитіе человѣчности зависятъ отъ успѣховъ и силы вліянія теоретической и прикладной науки (техники) въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ отъ всѣхъ моральныхъ проповѣдей, вмѣстѣ взятыхъ—такъ можно формулировать основную идею міросозерцанія Чехова. Морали, религіознымъ ученіямъ и исканіямъ, идеологіямъ онъ отводитъ второстепенное мѣсто. Это видно, между

*) Курсивъ мой. Цитирую по статьѣ Ѳ. Д. Батюшкова („На памятн. Чехову", стр. 24).

прочимъ, изъ его писемъ къ г. Дягилеву, приведенныхъ въ книгѣ г. Мережковскаго „Грядущій Хамъ“. Хотя эти письма относятся къ позднѣйшему времени (1902 и 1903 гг.) и въ нихъ рѣчь идетъ спеціально о религіозномъ движеніи въ интеллигенціи (мистика и „неохристіанство“ гг. Мережковскаго, Минскаго и другихъ), но мы имѣемъ право смотрѣть на сужденія Чехова, здѣсь выраженныя, какъ на окончательный выводъ и логическое довершеніе того, что созрѣвало и упрочивалось въ немъ еще въ 80-хъ годахъ. Между прочимъ онъ говоритъ здѣсь слѣдующее: „Я давно растерялъ мою вѣру и только съ недоумѣніемъ поглядываю на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго...“—„Религіозное движеніе,—читаемъ дальше,—само по себѣ, а вся современная культура—сама по себѣ, и ставить вторую въ причинную зависимость отъ первой никакъ нельзя. Теперешняя культура,—это начало работы во имя великаго будущаго, работы, которая будетъ продолжаться десятки тысячъ лѣтъ для того, чтобы хотя въ далекомъ будущемъ человѣчество познало истину настоящаго Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы въ Достоевскомъ, а познало ясно, какъ познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура—это начало работы, а религіозное движеніе, о которомъ вы говорили, есть пережитокъ, уже почти конецъ того, что отжило или отживаетъ“.—Цитируя это, Ѳ. Д. Батюшковъ справедливо замѣчаетъ: „Эти строки краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о безграничной вѣрѣ Чехова въ силу знанія, въ безграничность науки, и иной религіи, иного „настоящаго Бога“, кромѣ того, который представится непредубѣжденному разуму, обогащенному знаніемъ, онъ себѣ не мыслилъ“ („На памятн. Чехову“, стр. 28).

То, что принято называть „вѣрою“ въ науку и въ прогрессъ человѣчества, обусловленный побѣдою человѣка, вооруженнаго наукой, надъ природой и самимъ собой, есть въ сущности не „вѣра“, а *прогнозъ*. Этотъ прогнозъ осложненъ *великими ожиданіями*, имѣющими достаточное оправданіе въ великихъ успѣхахъ и завоеваніяхъ, уже сдѣланныхъ наукою и техникою, и психологически обоснованъ *научнымъ воспитаніемъ ума*.

Научно-воспитанный умъ привыкъ созерцать *безконечное*,

которое открывается намъ по преимуществу въ наукѣ, *какъ безконечность пространства, времени и эволюціи.* Оттуда—то прозрѣніе въ далекое будущее и та человѣческая „любовь къ дальнему“, которыя свойственны научно-дисциплинированнымъ умамъ и образуютъ основу присущаго имъ *оптимизма.*

Достаточно извѣстно, какъ ярко сказывался этотъ оптимистическій прогнозъ у Чехова. — „Какъ хороша будетъ жизнь черезъ 300 лѣтъ!“ говорилъ онъ нерѣдко,—и эту фразу-формулу, перешедшую и въ его художественныя созданія („Три сестры“), А. И. Купринъ комментируетъ такъ: „И потому-то онъ съ одинаковой любовью ухаживалъ за цвѣтами, точно видя въ нихъ символъ будущей красоты, и слѣдилъ за новыми путями, пролагаемыми человѣческимъ умомъ и знаніемъ. Онъ съ удовольствіемъ глядѣлъ на новыя зданія оригинальной постройки и на большіе морскіе пароходы, живо интересовался всякимъ послѣднимъ изобрѣтеніемъ въ области техники и не скучалъ въ обществѣ спеціалистовъ. Онъ съ твердымъ убѣжденіемъ говорилъ о томъ, что преступленія въ родѣ убійства, воровства и прелюбодѣянія становятся все рѣже, почти исчезаютъ въ настоящемъ интеллигентномъ обществѣ, въ средѣ учителей, докторовъ, писателей. Онъ вѣрилъ въ то, что грядущая истинная культура облагородитъ человѣчество“ („Сборн. зн.“, 1904 г., книга III, стр. 9).

По всему видно, что грядущее торжество „истинной культуры“ связывалось въ представленіи Чехова съ прогрессомъ (съ прогрессивной эволюціей) нынѣшней—далеко не „истинной“—культуры. Вспомнимъ изъ вышеприведенной выдержки изъ письма къ г. Дягилеву выраженіе: „теперешняя культура—это начало работы во имя великаго будущаго—работы, которая будетъ продолжаться десятки тысячъ лѣтъ...“. — Незримо, нечувствительно для невооруженнаго глаза совершается вѣковѣчное движеніе впередъ. Чеховъ обладалъ, если можно такъ выразиться, психическимъ органомъ, приспособленнымъ къ тому, чтобы *чувствовать* развитіе человѣчества. Въ одномъ позднѣйшемъ письмѣ (1900 г., къ Ѳ. Д. Батюшкову) онъ говоритъ: „Движеніе есть, но оно, какъ движеніе земли вокругъ солнца,

невидимо для насъ“ [1]). Признаніе прогресса, какъ факта, и прежде всего—прогресса матеріальной культуры, какъ необходимой основы всякаго другого, повидимому, уже въ 80-хъ годахъ было центральною идеей его міросозерцанія.

Въ воспоминаніяхъ А. И. Куприна эта идея превосходно, можно сказать, художественно иллюстрируется изображеніемъ жизни Чехова на его ялтинской дачѣ, въ особенности въ слѣдующихъ словахъ: „...онъ съ особенной ревнивой любовью относился къ своему саду. Многіе видѣли, какъ онъ иногда по утрамъ, сидя на корточкахъ, заботливо обмазывалъ сѣрой стволы розъ или выдергивалъ сорныя травы изъ клумбъ... Но не чувство собственника сказывалось въ этой хлопотливой любви, а другое, болѣе мощное и мудрое, сознаніе. Какъ часто говорилъ онъ, глядя на свой садъ прищуренными глазами:—Послушайте, при мнѣ здѣсь посажено каждое дерево, и, конечно, мнѣ это дорого. Но и не это важно. Вѣдь здѣсь до меня былъ пустырь и нелѣпые овраги, всѣ въ камняхъ и въ чертополохѣ. А я вотъ пришелъ и сдѣлалъ изъ этой дичи культурное, красивое мѣсто. Знаете ли,—прибавлялъ онъ вдругъ съ серьезнымъ лицомъ, тономъ глубокой вѣры,—знаете ли, черезъ 300—400 лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ. И жизнь будетъ тогда необыкновенно легка и удобна...“ („Сборн. зн.“, 1904, III, 8).

И вотъ когда этотъ апостолъ культурности обращался къ созерцанію нашей русской культурной отсталости, то его художническому взору открывалась безотрадная картина своего рода сизифовой работы,—вѣчной, упорной и часто безнадежной борьбы съ природой, со стихіями, съ неурожаемъ, съ хроническими голодовками, съ эпидеміями, съ непорядками, дикими нравами, невѣжествомъ, распущенностью, обломовщиною, недомысліемъ... И тогда безусловный оптимистъ Чеховъ писалъ изумительныя по силѣ и горькой правдѣ картины русской жизни, внушавшія читателямъ ложное представленіе объ авторѣ, какъ о *пессимистѣ*, да еще вдобавокъ пессимистѣ безстрастномъ, холодномъ, чуть ли не злорадномъ. Впослѣдствіи выяснилось, что Чеховъ никогда не былъ пессимистомъ и что подъ кажущимся безстрастіемъ его изображеній скрывалась глубокая скорбь

---

*) „На памяти. Чехову“, стр. 181.

оптимиста, лучшія чувства котораго русская дѣйствительность на каждомъ шагу оскорбляла, но котораго упованій и радостнаго прогноза даже она разбить не могла [1]).

Кажущееся безстрастіе и равнодушіе, съ какими Чеховъ писалъ свои мрачныя картины, внушавшія мысль о его „пессимизмѣ“, зависѣли, прежде всего, отъ особенностей его художническаго дарованія и темперамента, а кромѣ того находились въ несомнѣнномъ сродствѣ съ вышеуказанною научною дисциплиною его ума.

Есть художники, которые могутъ творить только подъ живымъ воздѣйствіемъ чувствъ и настроеній, вызванныхъ въ нихъ впечатлѣніями дѣйствительности. Есть другіе, которые творятъ лишь тогда, когда эти чувства и настроенія улеглись. Чеховъ принадлежалъ къ этому второму типу. Онъ самъ указалъ на это въ нѣсколько парадоксальной формѣ, сказавъ однажды, что „садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холоднымъ, какъ ледъ“ [1]).—Ѳ. Д. Батюшковъ, цитируя эту фразу, замѣчаетъ, что „холодность тутъ, очевидно, въ смыслѣ умѣнія владѣть собой, внутренняго контроля“ („На памятн. Чех.“, 8). Это совершенно вѣрно, но я добавилъ бы, что тутъ слышится голосъ настоятельной психологической потребности художника, такъ сказать, „остыть“, освободиться отъ давленія чувствъ и настроеній, имъ пережитыхъ подъ воздѣйствіемъ впечатлѣній, чтобы отъ этихъ чувствъ или настроеній остались только ихъ представленія, ихъ слѣды, которые и войдутъ въ процессъ творчества, какъ составная часть матеріала наблюденій, но отнюдь не какъ прямой предметъ изображенія. Эта часть матеріала подвергается въ процессѣ творчества радикальной переработкѣ, въ результатѣ которой получается такой

---

*) Починъ въ опроверженіи легенды о пессимизмѣ Чехова принадлежитъ Ѳ. Д. Батюшкову. „Намъ лично,—пишетъ онъ,—при анализѣ однихъ только произведеній Чехова онъ никогда не представлялся дѣйствительнымъ пессимистомъ по своему міропониманію...„ („На памятн. Чех.“. стр. 21).—Этотъ взглядъ Ѳ. Д. Батюшковъ высказалъ и обосновалъ еще въ 1903 г. въ статьѣ о Чеховѣ, помѣщенной въ „С.-Петерб. Вѣдом.“. Послѣ смерти Чехова авторы воспоминаній вполнѣ подтвердили діагнозъ критика.

**) Это приводитъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Чеховѣ И. А. Бунинъ (“Сборн. зн.“, 1904, III, стр. 262).

эффектъ: картина выходитъ потрясающей, а художникъ кажется „безстрастнымъ".

„Остываніе" чувствъ, „холодность" творчества означаютъ только, что писатель—не художникъ-публицистъ, не идеологъ въ искусствѣ, что онъ не ощущаетъ потребности—*въ своемъ творчествѣ*—дать непосредственное выраженіе *своимъ* чувствамъ и настроеніямъ. Онъ—художникъ изъ числа тѣхъ, которые, какъ сказалъ Чеховъ въ одномъ позднѣйшемъ письмѣ (къ Ѳ. Д. Батюшкову), не умѣютъ „писать непосредственно съ натуры": „я умѣю,—говоритъ онъ,—писать только по воспоминаніямъ... Мнѣ нужно, чтобы память моя процѣдила сюжетъ и чтобы на ней, какъ на фильтрѣ, осталось только то, что важно и типично" („На памят. Чех.", стр. 179. Письмо относится къ 1897 г.).—Писать по воспоминаніямъ значитъ именно „остыть", пожалуй, стать „холоднымъ какъ ледъ" (если ужъ пользоваться этимъ образнымъ, но не совсѣмъ правильнымъ выраженіемъ), но вѣдь отсюда вовсе не слѣдуетъ, что писатель не переживалъ чувствъ, быть можетъ, очень сильныхъ. Напротивъ, стремленіе „остыть" и быть „холоднымъ какъ ледъ" именно и указываетъ на наличность чувствъ и на ихъ силу.

И когда „на фильтрѣ" памяти останется только „важное" и „типичное", то тутъ будутъ даны и представленія чувствъ, но только не въ томъ— сыромъ—видѣ, какъ ихъ переживалъ художникъ подъ непосредственными впечатлѣніями дѣйствительности, а именно въ ихъ „важныхъ" и „типичныхъ" проявленіяхъ. Въ силу этого получается эффектъ, будто эти чувства, напр., тоски, скорби, негодованія, вовсе не принадлежатъ самому автору и выражаются не имъ, а являются какъ-то сами собою,—ихъ выражаетъ сама дѣйствительность, отраженная въ созданіи поэта: откуда-то слышится голосъ скорби, звучатъ гдѣ-то ноты унынія и тоски, подымается негодованіе,—и все это какъ бы разлито въ пространствѣ и, отраженное стократнымъ эхомъ ото всѣхъ угловъ жизни, представляется ея всеобщимъ, безличнымъ, стихійнымъ стономъ...

Этотъ родъ художественнаго творчества, въ которомъ Чеховъ былъ великій мастеръ, находится въ несомнѣнномъ психологическомъ родствѣ съ тѣми пріемами наблюденія и изученія, которые называются *научными*—въ противопо-

ложность публицистическимъ и идеологическимъ. Какъ естествоиспытатель заставляетъ природу говорить самое за себя и выдавать свои тайны, такъ художникъ заставляетъ жизнь говорить и—разоблачаться. Какъ естествоиспытатель, на основаніи точныхъ данныхъ, *предвидитъ* будущее и *предсказываетъ*, такъ и художникъ, на основаніи точныхъ наблюденій надъ жизнью, заглядываетъ въ даль грядущаго и *пророчитъ*. И „любовь къ дальнему", это высшее проявленіе *неэгоистической* („интеллектуальной", какъ сказалъ бы Спиноза) любви къ человѣчеству, есть одинаково достояніе и высшей науки и высшаго искусства. Вышеприведенныя слова Чехова (въ письмѣ къ А. С. Суворину): „расчетливость и справедливость говорятъ мнѣ, что въ электричествѣ и парѣ любви къ человѣку больше, чѣмъ въ цѣломудріи и въ воздержаніи отъ мяса", удивительно гармонируютъ съ слѣдующими словами *стараго ученаго* въ „Скучной исторіи", которыя въ дальнѣйшемъ намъ еще придется комментировать: „Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука—самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви и что только ею человѣкъ побѣдитъ природу и себя".

Стоя твердо на этой точкѣ зрѣнія и отдавая рѣшительное преимущество наукѣ передъ религіозно-моральными исканіями и идеологическими стремленіями, Чеховъ однако хорошо понималъ, что безъ морали и идеологіи человѣчество все-таки обойтись не можетъ. Оно слишкомъ страдаетъ и, стремясь къ лучшему будущему, слишкомъ живо чувствуетъ свои вѣковыя невзгоды и скорби, чтобы не стонать, не жаловаться, не грезить, не искать утѣшенія и спасенія въ религіи, въ этикѣ, въ идеологіи, не обольщаться утопіями...

Стоны, мечты, грезы и упованія человѣчества кристаллизовались въ догмы и этику великихъ религій, въ ученія моралистовъ, въ утопіи мечтателей, реформаторовъ, революціонеровъ. Психологическая необходимость этихъ великихъ „насъ возвышающихъ" самообмановъ человѣчества геніально понята и раскрыта Чеховымъ въ „Скучной исторіи",—произведеніи, которое явилось заключительнымъ аккордомъ въ творчествѣ Чехова—„восьмидесятника", итогомъ

*

его художественнаго міросозерцанія, какъ сложилось оно къ концу 80-хъ годовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ отразились и нѣкоторыя существенныя черты эпохи, а также воспроизведены и нѣкоторыя—очень важныя—стороны въ психологіи *типичнаго ученаго* XIX вѣка.

Эта *„исповѣдь ученаго“*, глубокая по мысли и блестящая по исполненію, заслуживала бы заглавія: *„Фаустъ XIX вѣка“*, и требуетъ обстоятельнаго разбора, къ которому мы и обратимся въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА IV.

Чеховъ въ 80-хъ годахъ.—„Скучная исторія“.

1.

Въ „Скучной исторіи“, принадлежащей къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній Чехова, мы находимъ своеобразное отраженіе духа и „колорита“ времени, и вмѣстѣ съ тѣмъ она даетъ намъ не мало указаній, важныхъ для правильнаго пониманія того *умонастроенія*, какое переживалъ Чеховъ въ концѣ 80-хъ годовъ.

Уяснить себѣ это умонастроеніе, довольно сложное и очень любопытное, и составитъ нашу ближайшую задачу, и это поможетъ намъ лучше понять и то своеобразное освѣщеніе, въ какомъ воспроизведена въ „Скучной исторіи“ эпоха 80-хъ годовъ. Объ умонастроеніи Чехова можемъ судить по его отношеніямъ, какъ автора, къ главному „герою“ разсказа, *какъ типу* и *какъ человѣку*,—къ его мыслямъ, разсужденіямъ, чувствамъ.

Казалось бы, разстояніе между Чеховымъ и его „героемъ“ такъ значительно, что трудно найти что-либо общее между ними. „Герой“ (Николай Степановичъ) — старый человѣкъ, заслуженный профессоръ университета, знаменитый ученый, блестящій лекторъ, у котораго позади славное прошлое, въ настоящемъ—болѣзни, быстрое угасаніе, упадокъ силъ и духа, разочарованность, въ близкомъ бу-

дущемъ—могила. Чеховъ тогда былъ молодой беллетристъ, полный жизни и надеждъ, съ блестящей будущностью впереди, — поэтъ, переживавшій расцвѣтъ своихъ творческихъ силъ. И при всемъ томъ, эти два лица, старый профессоръ и молодой поэтъ, сходятся и въ своемъ общемъ умственномъ обликѣ, и во многихъ взглядахъ и симпатіяхъ, и въ самомъ пошибѣ мышленія.

Намъ извѣстно одно лишь свидѣтельство автора о „Скучной исторіи"—въ письмѣ къ А. Н. Плещееву (24 сентября 1889 г.), гдѣ Чеховъ, извѣщая Плещеева, что посылаетъ ему (для „Сѣверн. Вѣстника") разсказъ, говоритъ: „Называется онъ такъ: „Скучная исторія" (изъ записокъ стараго человѣка). Самое скучное въ немъ, какъ увидите, это длинныя разсужденія, которыхъ, къ сожалѣнію, нельзя выбросить, такъ какъ безъ нихъ не можетъ обойтись мой герой, пишущій записки. Эти разсужденія фатальны и необходимы, какъ тяжелый лафетъ для пушки. *Они характеризуютъ и героя, и его настроеніе и его виляніе передъ самимъ собой...*" [1]) („На памятникъ Чехову", стр. 151).

Какъ увидимъ ниже, многія изъ „разсужденій" героя характеризуютъ не только его, но и самого Чехова. Что касается „настроенія", то оно, приличествуя „старому человѣку", удрученному недугами и мыслью о близкой смерти, не можетъ быть приписано Чехову конца 80-хъ годовъ; но тѣмъ не менѣе въ немъ есть нѣчто „чеховское", и это нѣчто вскорѣ и обнаружилось въ послѣдующихъ произведеніяхъ Чехова. Наконецъ, „виляніе передъ самимъ собой", которое Чеховъ приписываетъ своему герою, представляетъ любопытную черту, подсказывающую намъ нѣкоторыя мысли о самомъ Чеховѣ при помощи „заключенія отъ противнаго".

2.

Въ другомъ письмѣ (къ тому же А. Н. Плещееву, но по другому поводу) Чеховъ писалъ (10 февр. 1889 г.),

---

[*]) Курсивъ мой.

что работаетъ надъ романомъ, въ основу котораго онъ кладетъ „жизнь хорошихъ людей, ихъ лица, дѣла, слова, мысли и надежды", и что его цѣль—„убить сразу двухъ зайцевъ: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется отъ нормы..." И къ этому онъ присоединяетъ слѣдующія замѣчательныя поясненія, въ которыхъ отчетливо звучитъ протестъ противъ обязательности—для „хорошаго человѣка" — узаконеннаго кодекса передовой идеологіи: *„Норма мнѣ неизвѣстна, какъ неизвѣстна никому изъ насъ* [1]). Всѣ мы знаемъ, что такое безчестный поступокъ, но что такое честь — мы не знаемъ. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнѣе и умнѣе меня. Рамка эта—абсолютная свобода человѣка, свобода отъ насилія, отъ предразсудковъ, невѣжества, чорта, свобода отъ страстей и пр." („На памятникъ Чехову", стр. 152).

Хотя это сказано по поводу другого произведенія, но мы имѣемъ право использовать это замѣчательное признаніе, это чеховское „profession de foi", и для „Скучной исторіи", въ особенности для характеристики „героя", который, какъ извѣстно, также не знаетъ нормы и, подобно Чехову, протестуетъ противъ предразсудковъ, насилія, чорта, страстей и т. д.

Чеховъ съ этой стороны и рисуетъ стараго ученаго и видимо любуется его свободнымъ отношеніемъ ко всѣмъ вопросамъ, его „внутреннею свободою" отъ предвзятыхъ идей, отъ обязательныхъ нормъ той или иной идеологіи. Для него, какъ и для Чехова, „норма" есть нѣчто искомое, а не заранѣе данное, нѣчто не устанавливаемое a priori философскимъ или богословскимъ путемъ: „норму" ищетъ человѣчество, — оно идетъ къ ней путемъ многовѣковой культурной эволюціи, интенсивнымъ трудомъ на всѣхъ поприщахъ жизни и мысли, и никакая „догма" ее предвосхитить не можетъ, а только связываетъ и суживаетъ человѣка. Есть что-то „базаровское" (въ смягченномъ и

---

*) Курсивъ Чехова. Это—смѣлое, почти дерзкое заявленіе, родъ вызова всѣмъ, кто тогда мнилъ себя обладателемъ „истины"; „норму" хорошо знали либералы, радикалы, народники-соціалисты, революціонеры всѣхъ оттѣнковъ...

облагороженномъ видѣ) въ этомъ моральномъ и идеологическомъ *эмпиризмѣ* Чехова и стараго профессора, который, кстати сказать, принадлежитъ къ людямъ 50—60-хъ годовъ и въ своемъ умственномъ обликѣ сохраняетъ отпечатокъ этой эпохи.

Въ разсказѣ разсыпаны тамъ и сямъ, какъ бисеръ, удивительно умныя и мѣткія сужденія стараго профессора о наукѣ, о профессорской дѣятельности, объ университетѣ, о студентахъ, о литературѣ, о театрѣ,—сужденія, въ высшей степени характерныя для него, какъ типа, и въ то же время либо завѣдомо принадлежащія къ числу излюбленныхъ мыслей самого Чехова, либо находящіяся въ согласіи съ его понятіями и мнѣніями, поскольку они намъ извѣстны по письмамъ и воспоминаніямъ [1]).

„Старый ученый" представляетъ собою фигуру въ высшей степени типичную, въ которой узнаютъ себя или извѣстныя стороны своего ума и натуры многіе представители современной науки, какъ въ Зап. Европѣ, такъ и у насъ. Николай Степановичъ—ученый медикъ и естествоиспытатель, воспитанный въ лучшихъ традиціяхъ научной мысли. На немъ лежитъ печать той дисциплины ума и всей души, которая пріобрѣтается долгимъ методическимъ, раціональнымъ трудомъ въ той или иной спеціальной области научнаго знанія вообще, въ особенности же въ сферѣ естествознанія и математики. Но есть особые оттѣнки, связанные съ различными спеціальностями. Такъ, наблюдается по преимуществу „математическій" складъ мысли и умственныхъ привычекъ и вкусовъ у однихъ и иной—эмпирическій и индуктивный—у другихъ. Николай Степановичъ

*) Таковы, прежде всего, сужденія о театрѣ (гл. II), гдѣ, несомнѣнно, старый профессоръ говоритъ не только отъ своего лица, но и отъ лица Чехова; затѣмъ—о современной женщинѣ и о необходимости реформы женскаго воспитанія и образованія. („Современная женщина такъ же слезлива и груба сердцемъ, какъ и въ средніе вѣка. И, по моему, вполнѣ благоразумно поступаютъ тѣ, которые совѣтуютъ ей воспитываться, какъ мужчина", гл. II). Далѣе, замѣчанія (въ гл. III) о студентахъ, о ихъ недостаткахъ и т. д.; о „серьезныхъ статьяхъ" въ журналахъ, внушающихъ читателю „непреодолимый страхъ" „необычайною важностью, игривымъ генеральскимъ тономъ, фамильярнымъ обращеніемъ съ иностранными авторами" (гл. IV). Наконецъ, „вѣру" стараго профессора *въ науку*, какъ мы знаемъ, раздѣляетъ и Чеховъ.

принадлежитъ къ числу послѣднихъ. Привычка изслѣдовать и обсуждать факты въ ихъ натуральной, прагматической связи между собою, а не въ искусственной, заранѣе принятой системѣ ихъ, и затѣмъ уже отъ фактовъ, „какъ они есть“, восходить къ ихъ обобщенію, искать ихъ закона—эта привычка является обычною, характеристическою принадлежностью умовъ этого типа, слагающагося въ лабораторіяхъ и клиникахъ. Такая привычка становится у нихъ „второю натурою“ и обнаруживается и за предѣлами лабораторій и клиникъ, выражаясь въ изощренной наблюдательности, въ неусыпной вдумчивости, въ вѣчно бодрствующемъ анализѣ и критикѣ явленій, о которыхъ судитъ человѣкъ, въ осторожномъ исканіи ихъ синтеза, вскрывающемъ ихъ внутренній смыслъ. Человѣкъ съ такими умственными привычками можетъ, разумѣется, ошибаться не меньше другихъ, но онъ не ошибается въ одномъ, самомъ главномъ,—въ выборѣ метода, въ способѣ мыслить. Онъ идетъ, быть можетъ, черезъ рядъ частныхъ ошибокъ, но идетъ по надлежащему пути, ведущему къ цѣли, а не топчется на одномъ мѣстѣ въ заколдованномъ кругѣ и не шествуетъ вспять, воображая, что движется впередъ. Путь—медленный, трудный, но закаляющій и воспитывающій, и нынѣ представители наукъ историческихъ и соціальныхъ въ своей ученой работѣ, а за ними и практическіе дѣятели въ своей жизненной работѣ уже начинаютъ сознавать, что нѣтъ другого—лучшаго—пути къ познанію и къ „нормѣ“, что только *этимъ* путемъ, проторенньмъ естествоиспытателями и врачами, человѣкъ, говоря словами стараго ученаго, „побѣдитъ природу и себя“.

Люди этого типа встрѣчаются довольно часто въ Зап Европѣ, рѣже у насъ, гдѣ онъ осложняется нѣкоторыми особенностями, зависящими отъ условій русской жизни. Въ числѣ этихъ особенностей прежде всего бросается въ глаза относительная неустойчивость или непрочность типа: у насъ его представители нерѣдко старѣютъ преждевременно, утрачиваютъ ученую работоспособность, оскудѣваютъ духовно, ихъ мысль притупляется, ихъ духовный взоръ затемняется... Чеховскому ученому всего 62 года, а онъ уже хилый старикъ и близокъ къ отчаянію.

3.

Въ „Скучной исторіи“ изображенъ рѣзкій контрастъ между блестящимъ прошлымъ знаменитаго ученаго и его печальнымъ настоящимъ. Самое прискорбное въ его положеніи, это — ослабленіе умственной дѣятельности, ученой и профессорской работоспособности. Прочтемъ слѣдующее мѣсто въ концѣ главы I-ой: „Отъ безсонницы и вслѣдствіе напряженной борьбы съ возрастающею слабостью, со мной происходитъ нѣчто странное. Среди лекціи къ горлу вдругъ подступаютъ слезы, начинаютъ чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желаніе протянуть впередъ руку и громко пожаловаться. Мнѣ хочется прокричать громкимъ голосомъ, что меня, знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казни... Я хочу прокричать, что я отравленъ; *новыя мысли, какихъ не зналъ я раньше, отравили послѣдніе дни моей жизни и продолжаютъ жалить мой мозгъ какъ москиты* [1]. И въ это время мое положеніе представляется такимъ ужаснымъ, что мнѣ хочется, чтобы всѣ мои слушатели ужаснулись, вскочили съ мѣста и въ паническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ бросились къ выходу...“.

„Новыя мысли, которыя жалятъ мозгъ стараго ученаго“, раскрываютъ сложную картину душевнаго состоянія, въ составъ котораго входятъ и чувства, и настроенія, связанныя съ этими ядовитыми мыслями, и все вмѣстѣ представляетъ собою нѣчто противоположное вышенамѣченному умонастроенію и всему душевному обличью профессора, нѣчто для него совсѣмъ новое и чуждое. Но само по себѣ это новое очень старо и очень хорошо извѣстно людямъ; оно, можно сказать, имѣетъ за собою многовѣковую всемірно-историческую давность, и человѣчество такъ привыкло къ нему, что видитъ въ немъ или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ элементахъ его нѣчто положительное, какое-то психологическое благо, упуская изъ виду его отрицательныя стороны. Самъ же старый профессоръ на-

*) Курсивъ мой.

столько пораженъ этимъ измѣненіемъ своей моральной личности, что не можетъ отдать себѣ яснаго отчета въ смыслѣ и значеніи происшедшихъ въ немъ измѣненій; но онъ чувствуетъ, что съ нимъ происходитъ что-то неладное и въ конечномъ итогѣ, колеблясь и „виляя передъ самимъ собою“, склоняется къ выводу, что онъ „побѣжденъ“, и что въ его новыхъ мысляхъ и настроеніяхъ есть что-то ненормальное, что-то отрицательное и патологическое. Что же касается самого Чехова, то онъ, сохраняя полную объективность (форма „записокъ“ словно нарочно избрана имъ для того, чтобы отнять у себя всякую возможность высказать свое, авторское, мнѣніе), раскрываетъ однако же свою точку зрѣнія тѣмъ, что *всѣ эти новыя мысли, чувства и настроенія героя, при всѣхъ возможныхъ положительныхъ и симпатичныхъ чертахъ, какія тамъ найдутся, онъ изображаетъ какъ продуктъ болѣзни, упадка душевныхъ силъ и ослабленія умственной дѣятельности.*

Новыя мысли и настроенія въ существенномъ сводятся къ слѣдующему.

Знаменитому ученому раньше не приходилось задумываться надъ вопросомъ о безсмертіи души, о тайнѣ загробнаго существованія. Да и теперь онъ не подымаетъ ихъ, но онъ впервые ощутилъ родъ сожалѣнія о томъ, что раздумье на эту тему такъ и не дается ему, несмотря на близость смерти. И онъ пишетъ: „Къ несчастью, я не философъ и не богословъ. Мнѣ отлично извѣстно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробныхъ потемкахъ и о тѣхъ видѣніяхъ, которыя посѣтятъ мой могильный сонъ. *Но почему-то душа моя не хочетъ знать этихъ вопросовъ, хотя умъ и сознаетъ всю ихъ важность...“* [1]) (гл. I). Очень многіе готовы будутъ искренно пожалѣть стараго ученаго за то, что его душа такъ „испорчена наукой“, такъ невоспріимчива къ этимъ вѣковѣчнымъ „вопросамъ“. Равнымъ образомъ, многимъ покажется достойнымъ соболѣзнованія человѣкъ, котораго, по его собственному признанію, „судьбы костнаго мозга интересуютъ больше, чѣмъ конечная цѣль мірозданія“.

---

*) Курсивъ мой.

Но и тѣ и другіе похвалятъ его за другое признаніе,— что его умъ сознаетъ всю важность этихъ мудреныхъ вопросовъ. И они, эти соболѣзнующіе и одобряющіе, скажутъ: вотъ жертва „научности“, ученой спеціализаціи, и вотъ доказательства того, что эти „вопросы“—не шутка, не пустяки. Человѣкъ всю жизнь не чувствовалъ никакой надобности въ нихъ, а вотъ теперь ему пришлось пожалѣть, что онъ не „философъ“ и не „богословъ“.

Для Чехова это—не доказательство: приведенныя признанія ученаго вставлены между двумя тирадами, въ которыхъ онъ такъ живо изображаетъ упадокъ своихъ силъ, ослабленіе своей умственной дѣятельности... Выходитъ такъ, какъ будто бы гаданія о конечной цѣли міроздания, помыслы о загробныхъ тайнахъ, о безсмертіи, все это—видѣнія больной мысли, возникающія на почвѣ физическаго и умственнаго оскудѣнія... Противъ такого вывода можно, разумѣется, выдвинуть много возраженій и говорить долго и краснорѣчиво. Между прочимъ, можно сослаться на авторитетъ такихъ ученыхъ и мыслителей, какъ Н. И. Пироговъ, который въ своихъ предсмертныхъ „Запискахъ стараго врача“ написалъ столько умныхъ страницъ на ту же тему, страницъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что метафизика и вѣрованія великаго хирурга вовсе не были плодомъ упадка или болѣзни и начали созрѣвать еще въ цвѣтущую пору его жизни и дѣятельности... И тѣмъ не менѣе, вопреки всѣмъ возможнымъ возраженіямъ и доводамъ, всякому, кто раціонально и безпристрастно изучаетъ историческое развитіе миѳологическихъ вѣрованій и метафизическихъ гаданій, невольно навязывается мысль, что въ этомъ закономѣрномъ процессѣ была также своя *патологическая сторона* и что многое въ этихъ своеобразныхъ видѣніяхъ и прозрѣніяхъ было симптомомъ, орудіемъ и результатомъ борьбы *больного* человѣчества „съ природой и съ самимъ собою“,— съ своими физическими, психическими и соціальными недугами и невзгодами. Глубоко вѣрна мысль И. И. Мечникова о „дисгармоніяхъ человѣческой природы“, какъ объ источникѣ многихъ миѳологическихъ вѣрованій и философскихъ идей. Но эта мысль требуетъ расширенія: нужно

---

*) Курсивъ мой.

имѣть въ виду не одну лишь біологическую сторону вопроса, но и психологическую и соціальную, и говорить о „дисгармоніяхъ" не только тѣла, но и духа и о болѣзняхъ соціальной эволюціи человѣчества....

Подобно Мечникову, и старый профессоръ Чехова всѣ упованія возлагаетъ на науку. Хотя его умъ и сознаетъ всю важность метафизическихъ вопросовъ, но *вѣруетъ* онъ только въ науку. И онъ говоритъ тутъ же: „Какъ 20 — 30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь передъ смертью меня интересуетъ одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви и что только ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя...". Вмѣстѣ съ нимъ эту „вѣру" (я бы назвалъ это не „вѣрою", а „прогнозомъ"), какъ мы указали въ предыдущей главѣ, раздѣлялъ и Чеховъ.

Старый ученый, высказывая одновременно и незыблемую „вѣру" въ науку, и сожалѣніе, что онъ не „философъ" (т. е. не метафизикъ) и не „богословъ", очевидно, впадаетъ въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою. Это и есть одно изъ тѣхъ „виляній", о которыхъ говоритъ Чеховъ въ письмѣ къ Плещееву, и которыя самому Чехову были чужды до конца жизни.

4.

Но пойдемъ дальше и разсмотримъ другое—еще болѣе любопытное — выраженіе „новыхъ мыслей" и другое „виляніе" стараго ученаго.

Въ главѣ VI-й онъ признается, что въ его мысляхъ, желаніяхъ, стремленіяхъ, вообще въ его внутреннемъ мірѣ „нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго", а именно „*чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое*[1]).—„Каждое чувство и каждая мысль,—пишетъ онъ,—живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, о театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картин-

*) Курсивъ мой.

кахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка".

За эти слова Н. К. Михайловскій очень похвалилъ не стараго ученаго, а молодого писателя, Чехова, который этимъ, по мнѣнію покойнаго критика, обозначилъ свой переходъ отъ „индифферентизма" къ сознанію необходимости выработать себѣ „общую идею", усвоить объединяющую идеологію. Съ этой точки зрѣнія можно бы похвалить и стараго ученаго за то, что хоть передъ смертью онъ созналъ свою многолѣтнюю „ошибку", свой „коренной недостатокъ", грѣхъ, такъ сказать, идейнаго или идеологическаго „атеизма" или „нигилизма".

Но присмотримся ближе къ этой сторонѣ дѣла, какъ она поставлена у Чехова.

Во-первыхъ, отмѣтимъ, что сожалѣніе стараго ученаго объ отсутствіи у него объединяющей идеи или „бога живого человѣка" относится исключительно къ настоящему, когда онъ въ упадкѣ и ждетъ смерти, а вовсе не къ его славному, трудовому прошлому. Смыслъ всей тирады, если взять ее въ связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ, таковъ: до сихъ поръ я отлично обходился безъ объединяющей идеи" и дѣлалъ свое, несомнѣнно важное, отвѣтственное и полезное дѣло — ученаго и профессора—не хуже тѣхъ, которые ее имѣютъ; но теперь, когда я въ упадкѣ и у меня въ душѣ такой разбродъ, мнѣ кажется, что этотъ упадокъ и разбродъ произошли именно отъ того, что у меня не было „общей идеи" или идеала, и я сожалѣю, что не запасся имъ заблаговременно на случай болѣзни, ослабленія душевной дѣятельности и приближающейся смерти... И выходитъ такъ, что „самое главное", которымъ я не запасся, нужно не для жизни, по крайней мѣрѣ, не для той, какую я прожилъ, а для безпечальнаго и спокойнаго ухода изъ жизни, для умиранія....

Само собою напрашивается и другое соображеніе: правильно ли утвержденіе стараго ученаго, что у него нѣтъ „общей идеи" или „бога живого человѣка"? Вѣдь онъ сохранилъ свою „вѣру въ науку",а развѣ идея науки не есть „общая идея", способная внести въ духовный міръ человѣка, къ тому же призваннаго человѣка науки,

единство и стройный порядокъ? Вѣдь есть же фанатики, мученики и подвижники науки, для которыхъ идея науки есть именно „богъ живого человѣка“—не хуже другихъ боговъ. На это слѣдуетъ возразить такъ:

Старый профессоръ — призванный человѣкъ науки изъ числа тѣхъ научно-воспитанныхъ умовъ, которымъ ясно коренное противорѣчіе между научнымъ укладомъ мысли и стремленіемъ или способностью обоготворять что бы то ни было и превращать идеи въ кумиры. Научное воспитаніе ума само по себѣ не исключаетъ религіозныхъ потребностей и навыковъ, не вытравляетъ ихъ, но оно несомнѣнно подкашиваетъ и сводитъ къ минимуму или даже къ нулю то, что я назову „дѣйственною психологическою религіозностью“ человѣка. Среди заправскихъ ученыхъ найдется не мало лицъ вѣрующихъ, лицъ, чтущихъ и сохраняющихъ религію своихъ отцовъ, какъ традицію и какъ выраженіе тѣхъ запросовъ души, на которые наука не берется отвѣчать; но въ большинствѣ случаевъ призванный и *нормальный* человѣкъ науки не будетъ искать новой вѣры, не способенъ превращать идеи въ догмы; у него нѣтъ позыва къ религіозному творчеству, нѣтъ дѣйственной психологической религіозности: ея задатки, какіе у него могли быть, парализованы разлагающимъ дѣйствіемъ раціональныхъ силъ мысли, научныхъ пріемовъ мышленія. Это, такъ сказать, общее правило. Выставляя его, я отнюдь не хочу сказать, что невозможны случаи, когда призванный человѣкъ науки, и при томъ хорошо воспитанный въ научныхъ пріемахъ мышленія, вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаетъ психологическую религіозность и склонность къ догматическимъ формамъ мысли (таковъ былъ, напр., покойный П. Л. Лавровъ). Человѣческая натура сложна и исполнена противорѣчій, въ ней нерѣдко уживаются рядомъ противоположныя и внутренно-противорѣчивыя тенденціи.

Не лишена противорѣчій и натура героя „Скучной исторіи“. Въ немъ, правда, нѣтъ психологической религіозности, но, вѣроятно, были ея задатки; въ данное время, когда въ его душевномъ мірѣ происходитъ такой разладъ и распадъ, ему кажется, что, будь у него „общая идея“, властная догма, онъ не чувствовалъ бы себя такимъ безпомощнымъ, безсильнымъ и несчастнымъ. Ему сдается,

что онъ обладалъ бы тогда чѣмъ-то такимъ, что „выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній“,—и онъ встрѣтилъ бы смерть, какъ подобаетъ человѣку, исполнившему на землѣ все земное, и не мучился бы горькимъ сознаніемъ, что онъ „омрачилъ послѣдніе мѣсяцы своей жизни мыслями и чувствами, достойными раба и варвара...“.

Къ числу этихъ „мыслей и чувствъ, достойныхъ раба и варвара“, отнесены и тѣ, на которыя онъ жалуется своей воспитанницѣ и другу Катѣ въ главѣ III-й. Это одна изъ замѣчательнѣйшихъ страницъ разсказа. Вникнемъ въ нее.

Какъ истинный ученый, къ тому же натуралистъ-медикъ, профессоръ доселѣ относился ко всему на свѣтѣ и къ тому, что творится въ Россіи, а также и къ обстоятельствамъ своей личной жизни съ спокойствіемъ мыслителя, съ безпристрастіемъ и объективностью ученаго наблюдателя, sine ira et studio... Это не было равнодушіемъ и индифферентизмомъ, это не было признакомъ душевной органиченности человѣка, ушедшаго въ спеціальную науку и интересующагося судьбами костнаго мозга больше не только конечной цѣли міроздания, но и судебъ отечества, Нѣтъ, Николай Степановичъ — человѣкъ живой и разносторонній, слѣдящій за всѣмъ, что происходитъ въ окружающемъ мірѣ, человѣкъ широко-образованный и способный принимать близко къ сердцу, кромѣ судебъ костнаго мозга, еще многое и многое... У него есть, какъ у всякаго живого и мыслящаго человѣка, свои симпатіи и антипатіи, и онѣ направлены въ надлежащую сторону, руководимыя природнымъ чутьемъ добра, природнымъ отвращеніемъ къ злу, просвѣщеннымъ умомъ и тою высшаго порядка гуманностью, которая воспитывается въ человѣкѣ высшею культурою мысли. Въ прежнее время такая гуманность была привилегіей исключительныхъ натуръ и умовъ, напр., такихъ, какъ Спиноза. Теперь, благодаря распространенію просвѣщенія и научнаго образованія, она становится или можетъ стать достояніемъ всякаго нормальнаго человѣка. Николай Степановичъ— человѣкъ высокодаровитый и большой ученый, но онъ— не Спиноза; такихъ, какъ онъ, довольно много въ цивилизованномъ мірѣ, найдется не мало и у насъ, и ихъ

число повсюду увеличивается. И онъ обладаетъ или точнѣе, обладалъ до послѣдняго времени этою прерогативою широкой гуманности, которую онъ сравниваетъ съ „правомъ помилованія". Онъ говоритъ: „Самое лучшее и святое право королей, это—право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, такъ какъ безгранично пользовался этимъ правомъ..."—Оно проявлялось въ томъ, что онъ „никогда не судилъ, былъ снисходителенъ, охотно прощалъ направо и налѣво", и „гдѣ другіе протестовали и возмущались, тамъ онъ только совѣтовалъ и убѣждалъ..."—Такой мудрой „политики" держался онъ и въ своей общественной дѣятельности, и въ частной жизни, между прочимъ и въ семейной. И даже теперь, когда онъ уже не въ состояніи сохранять необходимое для этого спокойствіе духа, и то и дѣло раздражается и брюзжитъ, онъ все-таки остается при убѣжденіи, что поступалъ вполнѣ правильно, что его гуманность и терпимость приводили къ положительнымъ результатамъ: „такое мое отношеніе къ людямъ,—говоритъ онъ,—я знаю, воспитывало всѣхъ, кому приходилось быть около меня...".

И вотъ теперь все это пошло прахомъ: „теперь ужъ я—не король, — говоритъ онъ Катѣ, — во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ...". Въ его головѣ „день и ночь бродятъ злыя мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства", какихъ онъ „не зналъ раньше": онъ теперь „*и ненавидитъ, и презираетъ, и негодуетъ, и возмущается, и боится*" [1]). Все это, по его глубокому убѣжденію, которому онъ не измѣняетъ и теперь,—мысли и чувства „раба и варвара". Они явились въ немъ—какъ результатъ упадка душевныхъ силъ и—въ особенности — ослабленія силы мысли. Съ его точки зрѣнія, человѣкъ, сохраняющій полноту душевныхъ силъ и высокій строй мысли, не долженъ быть доступенъ не только чувству страха, но и чувствамъ негодованія, возмущенія и презрѣнія... Перемѣну, въ немъ происшедшую, старый ученый склоненъ связывать, между прочимъ, съ измѣненіемъ самой „логики" его, — измѣненіемъ, которое, очевидно, представляется какъ порча: „прежде я презиралъ

---

*) Курсивъ мой.

только деньги"—говоритъ онъ,—„теперь же я питаю злое чувство не къ деньгамъ, а къ богачамъ, точно они виноваты; прежде ненавидѣлъ насиліе и произволъ, а теперь ненавижу людей, употребляющихъ насиліе, точно виноваты они одни, а не всѣ мы, которые не умѣемъ воспитывать другъ друга"...

„Что это значитъ? — спрашиваетъ онъ. Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ перемѣны убѣжденій, то откуда могла взяться эта перемѣна? Развѣ міръ сталъ хуже, а я лучше, или раньше я былъ слѣпъ и равнодушенъ?..". Такъ именно полагаетъ Катя: „просто у васъ открылись глаза, — говоритъ она, — вы увидѣли то, чего раньше почему-то не хотѣли замѣчать..."; и она рѣшительно устраняетъ мысль о томъ, что въ происшедшей перемѣнѣ есть нѣчто ненормальное, что она связана причинною связью съ болѣзнью Николая Степановича („болѣзнь тутъ ни при чемъ", заявляетъ она категорически). Но старому натуралисту и медику это объясненіе Кати, въ которомъ сквозитъ такъ называемая „женская логика", разумѣется, не представляется убѣдительнымъ. Хотя онъ и не рѣшается утверждать положительно, что перемѣна въ его умонастроеніи и въ его чувствующей сферѣ непосредственно вызвана болѣзнью, но, повидимому, это для него—самое подходящее объясненіе. Если же оно оправдается, „если... перемѣна произошла",—говоритъ онъ,—отъ общаго упадка физическихъ и умственныхъ силъ—я вѣдь боленъ и каждый день теряю въ вѣсѣ,—то положеніе мое жалко: значитъ, мои новыя мысли ненормальны, нездоровы, я долженъ стыдиться ихъ и считать ничтожными...".

Эти жалобы и стоны, эти „виляніяˮ и недоумѣнія стараго ученаго воспроизводятъ (и вызываютъ въ читателѣ) то специфическое настроеніе, которое слыветъ подъ именемъ „чеховскаго" и благодаря которому Чеховъ въ тѣ времена считался пессимистомъ и „нытикомъ".

Теперь мы знаемъ навѣрное, что пессимистами и нытиками были герои Чехова, а не онъ самъ, тогда веселый, бодрый, жизнерадостный... „Чеховскія настроенія" отнюдь не были настроеніями Чехова, утверждавшаго, что его „святая святыхъ—это человѣческое тѣло, здоровье, умъ, талантъ, вдохновеніе, любовь и абсолютнѣйшая свобода, сво-

бода отъ силы и лжи... „(письмо къ А. Н. Плещееву 4 окт. 1887 г.). Но наблюдая въ жизни многочисленныя, повседневныя, затяжныя проявленія того, что образуетъ прямую противоположность „здоровью, уму, таланту, любви, свободѣ“, онъ, врачъ по образованію и призванію, искалъ именно здѣсь, въ немощахъ тѣла и духа, въ слабости ума, въ оскудѣніи мысли, въ душевной ограниченности, въ недостачѣ внутренней свободы, источника того духа унынія, тѣхъ пессимистическихъ настроеній, брюзжаній, разочарованности, душевной пасмурности, которыхъ всегда не мало въ обиходѣ русской жизни и которые въ 80-хъ годахъ казались повальными. Ко всѣмъ этимъ болѣзненнымъ уклонамъ мысли, чувства и воли русскихъ людей онъ подходилъ, какъ врачъ-художникъ, и тамъ, гдѣ другіе могли усматривать напр., гражданскую или міровую скорбь, уныніе „лишняго человѣка“, душевную боль высшаго порядка и т. п., онъ прежде всего „опредѣлялъ“ неврастенію, вырожденіе, слабость умственныхъ процессовъ, оскудѣніе психики... Произведенія Чехова имѣютъ значеніе *діагноза*,—и эта особенность ихъ должна быть принимаема во вниманіе всякій разъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы по нимъ опредѣлить точку зрѣнія или міросозерцаніе автора. Такъ, напр., взглядъ на Чехова, какъ на *пессимиста*, могъ быть выведенъ безъ натяжекъ изъ цѣлаго ряда его произведеній (въ особенности конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ, каковы „Ивановъ“, „Скучная исторія“, „Жена“ и др.); но, если мы будемъ считаться съ несомнѣннымъ *діагностическимъ* характеромъ этихъ произведеній, то намъ станетъ ясно, что „пессимизмъ“ Чехова былъ только кажущимся: это не былъ настоящій психологическій и идейный пессимизмъ, который бы коренился въ глубинѣ натуры и въ укладѣ мысли художника, а это былъ только „пессимизмъ“ врача-діагноста, констатирующаго неизлѣчимую или, по крайней мѣрѣ, тяжкую и опасную болѣзнь паціента.

Къ „Скучной исторіи“, какъ мы видѣли выше, „констатирована“ рѣзкая перемѣна въ *самочувствіи* „паціента“, знаменитаго русскаго ученаго. Эта перемѣна такъ значительна, что кажется, будто Николай Степановичъ прежняго времени, цвѣтущей поры и Николай Степановичъ въ данное время, удрученный физическими и мо-

ральными недугами, это—два разныхъ лица. Произошло нѣчто въ родѣ „раздвоенія личности“. Слѣдующее мѣсто, если намъ удастся его правильно освѣтить и комментировать, дополняетъ эту „картину болѣзни“ и вмѣстѣ съ тѣмъ подводитъ итогъ всей ея „исторіи“. Въ главѣ III старый ученый разсказываетъ, какъ онъ, поддаваясь „старческой слабости — воспоминаніямъ“, въ бесѣдахъ съ Катей распространялся о своемъ прошломъ, въ особенности о томъ времени, когда онъ „учился въ семинаріи“ и „мечталъ поступить въ университетъ“, а она слушала его „съ изумленіемъ, съ гордостью, притаивъ дыханіе...“: „—Бывало гуляю я по нашему семинарскому саду... Донесетъ вѣтеръ изъ какого-нибудь далекаго кабака пиликаніе гармоники и пѣсню, или промчится мимо семинарскаго забора тройка съ колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдругъ наполнило не только грудь, но даже животъ, ноги, руки... Слушаешь гармонику или затихающіе колокола, а самъ воображаешь себя врачемъ и рисуешь картины—одна другой лучше. И вотъ, какъ видишь, мечты мои сбылись. Я получилъ больше, чѣмъ смѣлъ мечтать. Тридцать лѣтъ я былъ любимымъ профессоромъ, имѣлъ превосходныхъ товарищей, пользовался почетною извѣстностью. Я любилъ, женился по страстной любви, имѣлъ дѣтей. Однимъ словомъ, если оглянуться назадъ, то вся моя жизнь представляется мнѣ красивой, талантливо сдѣланной композиціей. Теперь мнѣ остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человѣчески. Если смерть въ самомъ дѣлѣ опасность, то нужно встрѣтить ее такъ, какъ подобаетъ это учителю, ученому и гражданину христіанскаго государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финалъ...“.

Мы знаемъ, въ чемъ состояла эта порча; мы познакомились съ тѣми „новыми мыслями“, которыя „жалили мозгъ“ стараго ученаго, и съ тѣми чувствами и настроеніями, которыя возмутили покой его души и отравили послѣдніе мѣсяцы его жизни. Но только что приведенная тирада приводитъ насъ къ другому соображенію: можетъ быть, эта „отрава“ не была бы такъ сильна, можетъ быть, и „порча финала“ оказалась бы далеко не столь значительною, если бы вся прошлая жизнь ученаго не была

или не казалась ему столь счастливою, столь безпечальною. И мы спрашиваемъ: не былъ ли знаменитый ученый подъ властью какой-то роковой и странной *иллюзіи*, въ силу которой вся его прошлая жизнь представляется ему „красивой, талантливо сдѣланной композиціей“?

Очевидно, *иллюзія* тутъ была: было какое-то „безпричинное“ *чувство счастья*, которое „наполняло не только грудь, но даже животъ, ноги, руки...“ И мы можемъ утверждать съ увѣренностью, что оно являлось неизмѣннымъ спутникомъ жизни ученаго: оно (только, вѣроятно, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ) сопровождало его и въ годы студенчества, и потомъ—въ теченіе всей 30-лѣтней славной и блестящей дѣятельности его, какъ ученаго и профессора. Вѣдь не даромъ же онъ всю жизнь чувствовалъ себя „королемъ“ и по-королевски „миловалъ“ всѣхъ направо и налѣво, не вѣдая отравляющихъ душу чувствъ негодованія, презрѣнія, страха. Безъ всякаго сомнѣнія, *чувство радости* должно было прежде всего наполнять его душу въ процессѣ ученой работы и при чтеніи его блестящихъ лекцій, о которыхъ онъ теперь вспоминаетъ съ глубокимъ душевнымъ удовлетвореніемъ, почти съ восторгомъ. Онъ говоритъ: „Никакой спортъ, никакія развлеченія и игры никогда не доставляли мнѣ такого наслажденія, какъ чтеніе лекцій. Только на лекціи я могъ отдаваться страсти и понималъ, что вдохновеніе не выдумка поэтовъ, а существуетъ на самомъ дѣлѣ...“ (гл. I).

Если личная жизнь такого ученаго сложится сравнительно благопріятно, если никакихъ ошеломляющихъ несчастій ему не придется испытать, если его заслуги будутъ признаны, и онъ пріобрѣтетъ заслуженную славу и популярность, то не трудно понять, какой просторъ въ его душѣ откроется свободной игрѣ этого „чувства счастья“, а равно и то, что *интеллектуальныя радости*, которыя онъ переживалъ чуть ли не изо дня въ день, должны будутъ кристаллизоваться въ блаженную *иллюзію*, способную сгладить всѣ шероховатости жизни и бросить оптимистическій свѣтъ, нерѣдко обманчивый, и на личную жизнь человѣка, и на окружающую среду, и на весь ходъ вещей въ странѣ—да и во всемъ мірѣ... Силы и размѣры такой иллюзіи, равно какъ и ея роль въ общемъ міросозерцаніи и въ направленіи

общественной мысли у разныхъ лицъ могутъ быть весьма различны. Я здѣсь не вхожу въ разсмотрѣніе этой стороны дѣла,—я имѣю въ виду указать только на психологическое значеніе данной иллюзіи для личнаго и соціальнаго самочувствія человѣка и, отправляясь отсюда, охарактеризовать тотъ *психологическій типъ*, для котораго она является однимъ изъ существенныхъ признаковъ и который такъ удачно представленъ героемъ „Скучной исторіи“.

Этотъ психологическій типъ во многомъ и прежде всего въ своихъ основныхъ чертахъ противоположенъ, съ одной стороны, типу *„фаустовскому“*, а съ другой—*„донкихотскому“*. Но съ первымъ у него есть нѣкоторыя точки соприкосновенія, нѣкоторое генетическое родство. Такимъ натурамъ и умамъ, какъ герой „Скучной исторіи“, далеко не чужды настроенія и муки мысли, составляющія необходимую принадлежность людей „фаустовскаго“ типа,—и какъ у Гете Фаусту противопоставленъ ограниченный Вагнеръ, такъ у Чехова Николаю Степановичу противополагается его лаборантъ, его „famulus“, Петръ Игнатьевичъ, о которомъ старый ученый отзывается такъ: „Работаетъ онъ отъ утра до ночи, читаетъ массу, отлично помнитъ все прочитанное—и въ этомъ отношеніи онъ не человѣкъ, а золото; въ остальномъ же прочемъ—это ломовой конь или, какъ иначе говорятъ, ученый тупица. Характерныя черты ломового коня, отличающія его отъ таланта, таковы: кругозоръ его тѣсенъ и рѣзко ограниченъ спеціальностью; внѣ своей спеціальности онъ наивенъ какъ ребенокъ... другая черта: фанатическая вѣра въ непогрѣшимость науки и главнымъ образомъ всего того, что пишутъ нѣмцы. Онъ увѣренъ въ самомъ себѣ, въ своихъ препаратахъ, знаетъ цѣль жизни и *совершенно не знакомъ съ сомнѣніями и разочарованіями, отъ которыхъ сѣдѣютъ таланты*. Рабское поклоненіе авторитетамъ и отсутствіе потребности самостоятельно мыслить...“ (гл. I).—Это новый Вагнеръ, какихъ не мало... Но если Петръ Игнатьевичъ—Вагнеръ, то отсюда, повидимому, слѣдуетъ, что знаменитый ученый „Скучной исторіи“ есть какъ бы новый Фаустъ; и это подтверждается указаніемъ на испытанныя имъ, на хорошо знакомыя его душѣ „сомнѣнія и разочарованія, отъ которыхъ сѣдѣютъ таланты“. А если мы выдвинемъ впередъ все то, чѣмъ характеризуется изображенное въ „Скучной исторіи“

душевное состоянiе стараго ученаго въ послѣднiе мѣсяцы его жизни,—всѣ эти „чувства, достойныя раба и варвара“, эти ядовитыя мысли, которыя „жалятъ его мозгъ“, то, пожалуй, будемъ склонны видѣть въ немъ новое воплощенiе стараго фаустовскаго типа. Но это было бы вопiющею ошибкой: герой „Скучной исторiи“ отнюдь не повторяетъ гетевскаго Фауста, а представляетъ собою новаго современнаго „Фауста“, который отъ стараго, гетевскаго, отличается столь существенными признаками, что нѣтъ возможности подводить ихъ подъ одинъ и тотъ же психологическiй типъ. Мы можемъ назвать героя „Скучной исторiи“ *„Фаустомъ XIX вѣка“*—съ цѣлью обозначить этимъ генетическую связь и глубокое различiе между двумя типами: онъ относится къ старому Фаусту такъ, какъ современная наука относится къ средневѣковой, какъ химiя—къ алхимiи, какъ астрономiя къ астрологiи, какъ современное рацiональное философское мышленiе—къ средневѣковому иррацiональному. Строй мысли, ея методика и сама психологiя умственныхъ процессовъ у „новыхъ фаустовъ“, можно сказать, дiаметрально противоположны тѣмъ, какими характеризовались фаусты прежняго времени.—Сомнѣнiя и разочарованiя, отъ которыхъ „сѣдѣютъ“ дѣятели современной науки, мыслители новаго времени, весьма мало имѣютъ общаго съ томленiями плѣнной мысли стародавнихъ фаустовъ и легко скрашиваются интеллектуальными радостями, которыя были недоступны и невѣдомы этимъ послѣднимъ. Гетевскiй Фаустъ—пессимистъ, и его самочувствiе составляетъ прямую противоположность тому, съ какимъ прожилъ свою жизнь герой „Скучной исторiи“—вплоть до послѣдняго времени, когда онъ такъ радикально измѣнился подъ влiянiемъ болѣзни и упадка умственныхъ силъ. Средневѣковымъ умамъ была чужда та благодатная иллюзiя, въ силу которой человѣкъ на все окружающее смотритъ добрыми, внимательными глазами и склоненъ во всемъ искать хорошую сторону.—Наконецъ, гетевскiй Фаустъ разочаровывается въ своей „наукѣ“, въ самомъ дѣлѣ безплодной, и отрекается отъ нея,—герой же „Скучной исторiи“, несмотря на всѣ роковыя перемѣны, въ немъ происшедшiя, до послѣдняго вздоха сохраняетъ нерушимую „вѣру“ въ науку. И, въ связи съ этимъ различiемъ, гетевскiй Фаустъ ко всей своей прошлой жизни, потраченной на тщетныя исканiя, относится съ рѣз-

кимъ осужденіемъ и горькимъ сожалѣніемъ, полнымъ ѣдкаго сарказма,—нашъ старый ученый, напротивъ, вспоминаетъ о своемъ прошломъ, о своемъ 30-тилѣтнемъ служеніи наукѣ не иначе, какъ съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія, и умираетъ съ справедливымъ сознаніемъ, что прожилъ жизнь полезную, прекрасную и счастливую...

Всю жизнь онъ чувствовалъ себя „королемъ"; ему пріятно было расточать „помилованія" и быть справедливымъ и безпристрастнымъ; господствующею чертою въ его внутреннемъ мірѣ была гуманность. Тихо и ясно было у него въ душѣ, и оттуда лился тихій свѣтъ на внѣшній міръ, на окружающую среду, и все въ этомъ освѣщеніи казалось лучше, значительнѣе, интереснѣе, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ... Излишне пояснять, что такая иллюзія (если конечно она не чрезмѣрна) отнюдь не заставляетъ видѣть вещи непремѣнно въ розовомъ свѣтѣ. Она не мѣшаетъ критическому отношенію къ дѣйствительности и даже не парализуетъ чувствъ отвращенія, негодованія, презрѣнія. Она только умѣряетъ ихъ, не позволяя имъ переходить въ аффекты и страсти. Являясь симптомомъ и результатомъ душевнаго мира и спокойствія мысли, она въ свою очередь содѣйствуетъ сохраненію и упроченію такого уклада психики и нейтрализуетъ въ ней задатки всего „фаустовскаго" и всего „донкихотскаго".

Съ ея исчезновеніемъ эти задатки оживаютъ. Разъ — по какимъ бы то ни было причинамъ—душевный миръ нарушенъ и покой мысли возмущенъ,—въ современномъ „фаустѣ" воскреснетъ, хотя бы частично, старый гетевскій Фаустъ, казалось, давно погребенный подъ развалинами прошлаго, а вмѣстѣ съ нимъ такъ или иначе обнаруживается и вѣчноюный „донкихотъ", счастливо пережившій крушеніе стараго міра и только мѣняющій формы и формулы своего донкихотствованія... Спокойный мыслитель и „король" превращается въ „раба и варвара", обуреваемаго острыми чувствами страха, презрѣнія и негодованія...

5.

„Благодатная иллюзія", о которой мы говорили, въ извѣстномъ смыслѣ и извѣстной мѣрѣ оправдывается и

становится все менѣе иллюзорной (если можно такъ выразиться) тамъ, гдѣ уже достигнутъ довольно высокій уровень культуры, гдѣ „нравы укрощены наукой“, гдѣ пути мирнаго и спораго прогресса расчищены, гдѣ въ массѣ населенія здоровые элементы преобладаютъ надъ нездоровыми. Въ передовыхъ странахъ Европы эта „иллюзія“, повидимому, уже готова вскорѣ перестать быть иллюзіей и превратиться въ нормальное, здравое и согласное съ дѣйствительностью ощущеніе или воззрѣніе. И тамъ легко человѣку мыслящему и чувствующему сохранять относительный миръ души и спокойствіе раціональной мысли... Иначе стоитъ дѣло въ странахъ отсталыхъ. Всего *иллюзорнѣе* та *иллюзія* у насъ, въ Россіи, гдѣ еще такъ много варварства и дикости и гдѣ явно-болѣзненные процессы (включая сюда и настоящее—психофизическое—вырожденіе) въ жизни народныхъ массъ и образованнаго общества могутъ выступать въ роли „силъ“, „творящихъ исторію“, т. е. пагубно вліять на историческій ходъ вещей. У насъ человѣку раціонально мыслящему нѣтъ надобности самому заболѣть физически и морально (какъ это случилось съ героемъ „Скучной исторіи“), чтобы „чувства достойныя раба и варвара“ вторглись въ его душу. Достаточно оглядѣться вокругъ и вдуматься въ смыслъ того, что происходитъ, и острыя чувства негодованія, презрѣнія, страха, разочарованія и отвращенія овладѣютъ душою, проявляясь у однихъ какъ настроенія, у другихъ—какъ аффекты и страсти. Русская жизнь всегда отличалась способностью либо возмущать и ожесточать, либо притуплять и изнашивать людей мыслящихъ и чувствующихъ, превращая ихъ, то въ преждевременныхъ фаустовъ, то въ россійскихъ губернскихъ и уѣздныхъ гамлетовъ, то въ донкихотовъ разнаго рода...

Наши 80-е годы принадлежали къ числу эпохъ не столько ожесточающихъ, сколько изнашивающихъ. Тогда русскіе люди опускались и оскудѣвали въ бездѣйствіи легче и скорѣе, чѣмъ когда-либо, за исключеніемъ реакціоннаго періода 1848—1855 гг. Въ „Скучной исторіи“ удивительно схваченъ тусклый, безотрадный колоритъ этого времени. Жалобы, брюзжаніе и „виляніе“ стараго профессора, апатія и тоска безцѣльнаго существованія, которыми без-

выходно томится Катя, апатическій, холодно-насмѣшливый и пустой скептицизмъ профессора-филолога (Михаила Өедоровича), пошлыя фигуры жены и дочери Николая Степановича, ничтожный женихъ послѣдней Гнеккеръ, повидимому, проходимецъ, „ученый тупица“ Петръ Игнатьевичъ,—все это, мастерски воспроизведенное и скомбинированное, производитъ подавляющее, истинно „чеховское“ впечатлѣніе нашего русскаго унынія, нашей русской истомы и душевной изношенности,—то самое впечатлѣніе, которое во многихъ вызвала въ 80-хъ годахъ сама жизнь придавленная торжествующею реакціей.

ГЛАВА V.

Чеховъ въ 80-хъ годахъ.—Драма „Ивановъ“.

1.

Давно извѣстно, что Россія есть страна контрастовъ. Чуть ли не самый яркій изъ нихъ—это контрастъ между убожествомъ нашей матеріальной культуры и относительнымъ богатствомъ идейной жизни интеллигенціи. Въ Россіи плохо обрабатываютъ землю, но отлично культивируютъ всякую—нужную и ненужную—идеологію. У насъ неурожай и недородъ стали хроническими бѣдствіями, и нѣтъ запасовъ матеріальныхъ благъ, но зато у насъ не прерывается (развѣ на короткое время) урожай идей, и всегда есть запасы всякихъ „догматовъ“ для всѣхъ интеллигентскихъ „вѣроисповѣданій“. Отъ времени до времени наблюдается даже перепроизводство въ этой области. А когда случается заминка въ идеологическомъ творчествѣ, какъ это было въ 80-хъ годахъ, тогда намъ начинаетъ казаться, что къ матеріальной и культурной нищетѣ Россіи готова присоединиться еще и духовная. И въ такихъ случаяхъ нами овладѣваетъ невольный испугъ передъ надвигающимся сумракомъ идей...

Въ 80-хъ годахъ знаменитый романъ Сенкевича „Безъ

догмата", хотя онъ повѣствовалъ не о насъ, не о нашей жизни, казался написаннымъ именно для насъ—съ цѣлью показать, какъ необходимо мыслящему человѣку имѣть свою вѣру, свою идеологію, какъ трудно ему жить „безъ догмата".

Около того же времени Чеховъ отъ веселаго смѣха переходилъ къ тѣмъ произведеніямъ, въ которыхъ былъ поставленъ діагнозъ нашей „бѣдности да бѣдности". Этотъ діагнозъ казался холоднымъ, безстрастнымъ и безпринципнымъ. Художникъ опредѣлялъ болѣзнь и ни слова о томъ, какому богу нужно молиться, чтобы выздоровѣть. И получалось удручающее впечатлѣніе, будто надъ нами читаютъ отходную, будто каркаетъ зловѣщая птица, предвѣщая наступленіе безпросвѣтнаго мрака...

Эта иллюзія держалась довольно долго. Мы отдѣлывались отъ нея медленно, постепенно, по мѣрѣ того какъ все шире развертывалось творчество Чехова и выяснялись чарующія черты его личности. Окончательно разсѣялась иллюзія только послѣ его смерти. Мы знаемъ теперь, что, хотя Чеховъ и въ самомъ дѣлѣ былъ человѣкъ „безъ догмата", но это не мѣшало ему, во-первыхъ, быть человѣкомъ на рѣдкость хорошимъ и гуманнымъ и, во-вторыхъ, имѣть свои—очень прогрессивныя—убѣжденія, имѣть даже идеалы. Выяснилось также, что уже около половины 80-хъ годовъ онъ перестал подчиняться капризамъ своего огромнаго таланта и сталъ руководиться какой-то опредѣленной точкою зрѣнія на вещи, имѣвшей въ его творчествѣ значеніе принципіальное и методологическое. Это была точка зрѣнія высоко-культурнаго человѣка, научно-воспитаннаго гуманиста, врача-художника.

Какъ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ къ людямъ, такъ и въ своихъ художническихъ наблюденіяхъ надъ ними, онъ не задавалъ ближнему грознаго вопроса: „како вѣруеши?" Онъ ставилъ—для себя—другіе вопросы: какъ этотъ человѣкъ живетъ? какъ онъ работаетъ? какъ относится къ людямъ? Все ли благополучно въ его внутреннемъ мірѣ? не таитъ ли онъ въ себѣ долю фальши, лицемѣрія, пошлости, глупости? не принадлежитъ ли къ числу алкоголиковъ, нервно-больныхъ, психопатовъ и выродковъ, какихъ не мало?

Такого рода вопросами, обращенными ко всему обществу, къ той дѣйствительности, которую Чеховъ наблюдалъ и воспроизводилъ, и опредѣляется его художественный методъ. Это—методъ, если можно такъ выразиться, художника-гигіениста, котораго прежде всего занимаетъ проблема общественнаго здравія въ обширномъ смыслѣ слова. И понятно, что онъ долженъ былъ сосредоточивать вниманіе на отрицательныхъ сторонахъ дѣйствительности. Вопросъ о томъ, много ли въ обществѣ алкоголиковъ, дегенератовъ и лицъ психически ничтожныхъ, для него важнѣе вопроса, много ли значится въ данной средѣ высокихъ идей и благородныхъ стремленій. Во всякой соціальной средѣ, во всякомъ классѣ или слоѣ общества есть извѣстный уровень нервнаго и душевнаго здравія, есть извѣстный запасъ нервной и психической силы и вездѣ имѣются на-лицо случаи пониженія этого уровня, признаки истощенія этого запаса. Пристальный взоръ художника устремленъ сюда, на эти случаи и признаки. Онъ хорошо знаетъ, какое значеніе они имѣютъ въ общемъ обиходѣ жизни, и потому видитъ въ нихъ не *казусы*, а *симптомы*. Это именно симптомы общественнаго оскудѣнія. Въ художественномъ воспроизведеніи они могутъ дать типичную картину, показывающую (выражаясь его же словами), „насколько жизнь уклоняется отъ нормы“ [1]).

И, наблюдая различныя уклоненія отъ нормы, онъ скоро придетъ къ удивительной по силѣ и яркости изображенія постановкѣ вопроса о томъ коренномъ контрастѣ нашей жизни, о которомъ я упомянулъ выше,—объ антитезѣ культурной нищеты и идейнаго, идеологическаго и моральнаго богатства. Какъ именно разрабатывалъ Чеховъ эту тему, къ какимъ выводамъ можетъ привести насъ его діагнозъ, это мы увидимъ въ дальнѣйшемъ, разбирая нѣкоторыя его произведенія 90-хъ годовъ. А теперь у насъ на очереди разсмотрѣніе одного изъ частныхъ проявленій той же антитезы, именно того, которое въ самой жизни выдвигалось въ 80-хъ годахъ и воспроизведено Чеховымъ тогда же въ драмѣ „Ивановъ“.

Понятіе культурной скудности есть понятіе очень ши-

---

*) См. письмо къ А. Н. Плещееву. („На памятникъ Чехову“, стр. 152).

рокое, объемлющее много весьма разнообразныхъ явленій жизни. Культурное убожество въ своемъ родѣ многосторонне и чревато всякими послѣдствіями, какихъ и учесть нельзя. Въ ихъ ряду бросается въ глаза, то, что можно назвать оскудѣніемъ запасовъ нервной и психической силы. Если это оскудѣніе сопоставить съ относительно обильнымъ запасомъ готовыхъ идей, обращающихся въ обществѣ, то и получится одно изъ частныхъ проявленій той общей антитезы, о которой мы говорили. А если взять minimum идей, если выбрать изъ ихъ наличности тѣ, которыя попроще, не далеко хватаютъ, предполагая не большія, а лишь малыя дѣла, и если, сопоставивъ ихъ со скудостью запасовъ нервной и психической силы, показать, что послѣднихъ не хватаетъ даже для этихъ малыхъ дѣлъ, то и выйдетъ то самое, что изображено Чеховымъ въ драмѣ „Ивановъ" и зачастую наблюдалось въ ту эпоху въ самой жизни.

2.

Какъ настоящій художникъ, Чеховъ умѣетъ улавливать типичныя черты людей и жизни, но онъ лишь рѣдко даетъ намъ законченные художественные типы. Нельзя считать таковымъ и Иванова. Онъ—не типъ, но въ выской степени типично то, что онъ переживаетъ, то, что съ нимъ случилось. Оно типично—нѣкоторыми чертами—для русскаго человѣка вообще, а въ цѣломъ—для людей 80-хъ годовъ въ частности.

Ивановъ—человѣкъ, который „надорвался". Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ объ этомъ такъ: „не соразмѣривъ своихъ силъ, не разсуждая, не зная жизни, я взвалилъ на себя ношу, отъ которой сразу захрустѣла спина и потянулись жилы... Надорвался я!" (дѣйствіе IV, сцена X). Это случается у насъ весьма часто. И было бы большой ошибкой зачислять всѣхъ, съ кѣмъ это случается, въ одну опредѣленную группу. Казусъ Иванова типиченъ для людей всѣхъ званій и состояній, для натуръ весьма разнообразныхъ, для характеровъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго. Именно поэтому, при типичности казуса, самъ Ивановъ—не типъ. Было бы ошибкой также видѣть въ немъ новую разновидность

„лишняго человѣка“ Самая важная черта въ немъ, именно то, что онъ надорвался, не образуетъ необходимой принадлежности типа „лишнихъ людей“. Между ними были, конечно, и такіе, которые, подобно Иванову, взваливали на себя непосильную ношу и надрывались, но по большей части они никакой неудобоносимой ноши не подымали, не ставили себѣ непосильныхъ задачъ и не надрывались: они оказывались „лишними“ въ силу болѣе или менѣе рѣзкой отчужденности отъ окружающей среды, гдѣ для нихъ не находилось подходящаго мѣста. Вотъ этого-то и нельзя сказать объ Ивановѣ. Такихъ, какъ онъ, много (Чеховъ не даромъ назвалъ его „Ивановымъ“), и если признать его лишнимъ, то получился бы выводъ, что русская жизнь въ 80-хъ годахъ производила лишнихъ людей въ небываломъ даже въ 30-хъ и 40-хъ годахъ количествѣ, чего, какъ извѣстно, не было. Она производила много не „лишнихъ людей“, а людей нервно и психически слабыхъ, къ числу которыхъ и принадлежитъ Ивановъ.

Въ исторіи Иванова слѣдуетъ различать два момента. Первый ясно объзначенъ въ вышеприведенной цитатѣ,— *и онъ типиченъ для русскихъ людей разныхъ типовъ и всѣхъ эпохъ*. Это—не что иное, какъ столь извѣстная *легкомысленная самонадѣянность* русскаго человѣка, въ силу которой онъ легко берется за дѣло—очертя голову, не соразмѣривъ своихъ силъ, не разсуждая. Это—наше знаменитое „авось“ и „небось“,—черта, проявляющаяся въ самой нашей исторіи.

Другой моментъ (въ томъ видѣ, какъ онъ воспроизведенъ въ „Ивановѣ“) представляется типичнымъ преимущественно для такихъ эпохъ, какъ 80-е годы, когда русскіе хорошіе люди не брались за большія, рискованныя дѣла, а изнашивались и преждевременно утомлялись отъ малыхъ дѣлъ, отъ словъ, отъ намѣренія что-то дѣлать, отъ бездѣлья. И зачастую оказывалось, что малыя дѣла утомительнѣе большихъ. На это были свои причины, въ ряду которыхъ видное мѣсто занимала правительственная и общественная реакція того времени. Но вотъ что любопытно: въ прежнее время, напр., въ реакціонную эпоху 30-хъ и 40-хъ годовъ, реакція превращала людей энергичныхъ и работоспособныхъ въ „лишнихъ“, но не въ надорван-

ныхъ,—въ 80-е же годы люди, отнюдь не являвшіеся лишними, легко и скоро переутомлялись отъ малыхъ дѣлъ и отъ бездѣлья, даже просто отъ жизни. Обнаружилась какая-то странная утомляемость, точно народилось поколѣніе съ негодными нервами и неустойчивой психикой. Человѣкъ надрывался въ цвѣтѣ лѣтъ (чеховскому Иванову всего 35) оттого только, что пробовалъ жить „не по шаблону" и хотѣлъ быть культурнымъ работникомъ. И въ томъ, и въ другомъ онъ оказывался неудачникомъ, *потому что въ немъ вдругъ изсякъ тотъ небольшой запасъ нервной и душевной энергіи, какой у него былъ и котораго не хватило даже на эти малыя дѣла.*

Это и представлено въ драмѣ „Ивановъ".

Въ V-ой сценѣ I-го акта Ивановъ говоритъ доктору Львову: „Не женитесь вы ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ всякихъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. Вообще всю жизнь стройте по шаблону... Да хранитъ васъ Богъ отъ всевозможныхъ раціональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплѣе, честнѣе и здоровѣе. А жизнь, которую я прожилъ,—какъ она утомительна! Ахъ, какъ утомительна!..".

Цитируя это мѣсто, г. Ивановъ-Разумникъ видитъ здѣсь типичную для 80-хъ годовъ „теорію малыхъ дѣлъ". Онъ говоритъ: „Эта философія Иванова намъ хорошо знакома: все тѣ же основные мотивы эпохи общественнаго мѣщанства — теорія малыхъ дѣлъ, постепенство, шаблонъ и пр. и пр.". („Исторія русской общественной мысли", изд. I, т II, стр. 375). Расходясь во многомъ и существенномъ съ высокодаровитымъ авторомъ этой замѣчательной книги, я не могу согласиться съ нимъ и въ данномъ случаѣ. Произнося приведенную тираду, Ивановъ вовсе не является проповѣдникомъ „философіи малыхъ дѣлъ": онъ только выражаетъ здѣсь свое отчаяніе. Это—не проповѣдь, а горькія слова человѣка, который надорвался. Тирада дѣйствительно воспроизводитъ одну изъ характерныхъ чертъ эпохи, но эту черту слѣдуетъ видѣть не въ томъ, что непосредственно сказано въ тирадѣ, *а въ томъ, что подразумѣвается,*

и въ той иллюзіи, въ какую впадаетъ Ивановъ. Если взять тираду отдѣльно отъ всего остального, что дано въ пьесѣ, то и читатель будетъ введенъ въ заблужденіе, аналогичное иллюзіи Иванова. Дѣло въ томъ, что самому Иванову представляется (и это—явная иллюзія), будто жизнь, которую онъ прожилъ, была какая-то необыкновенная жизнь, далеко уклоняющаяся отъ „шаблона", полная тревогъ и опасностей, требовавшая крайняго напряженія всѣхъ душевныхъ силъ. Да и читатель, встрѣчая въ той же тирадѣ указаніе на борьбу съ вѣтряными мельницами, на покушеніе „биться лбомъ объ стѣну", склоненъ видѣть въ Ивановѣ чуть ли не революціонера, который возставалъ противъ существующаго порядка вещей и, слѣдовательно, брался за дѣла, далеко не „малыя". Изъ пьесы же видно, что ничего подобнаго не было и въ поминѣ. Жизнь Иванова, въ сущности, была обыкновенною, шаблонною жизнью, какою жили тогда многіе — такіе, какъ онъ. Ничего „геройскаго" въ ней не было. Женитьба на еврейкѣ и вытекающія оттуда незначительныя осложненія — фактъ заурядный. Упоминаніе о психопаткахъ — черта, не лишенная характерности: въ 80-хъ годахъ развелось множество психопатокъ, и жениться на психопаткѣ было даже какъ бы модой. Горячія рѣчи произносились по-прежнему и, какъ раньше, и позже, не были подвигомъ. Не видать даже, чтобы за эти рѣчи Ивановъ подвергался гоненіямъ. Школы, обыкновенныя и необыкновенныя, устраивались въ 80-хъ годахъ, конечно, не безъ препятствій со стороны реакціонныхъ элементовъ въ правительствѣ и въ обществѣ, но это дѣло, само по себѣ не малое, а очень большое, было дѣло мирное, культурное, не требовавшее героическаго стуканія лбомъ объ стѣну. Имъ съ успѣхомъ занимались люди, стоявшіе на точкѣ зрѣнія „малыхъ дѣлъ" и „постепенства" *). Раціональное хозяй-

*) Кстати. Противники теоріи малыхъ дѣлъ и постепенства дѣлаютъ большую ошибку, когда возстаютъ не только противъ этой „теоріи", но и противъ самой практики ея, т. е. противъ самихъ малыхъ дѣлъ и постепенности въ прогрессивной дѣятельности. Съ другой стороны проповѣдники теоріи забываютъ, что истины, равносильныя математическимъ аксіомамъ или „общимъ мѣстамъ", не могутъ быть „проповѣдуемы", и что „малыя дѣла" нужно дѣлать и непремѣнно *хорошо* дѣлать, а не разглагольствовать о нихъ, сложа руки.

ство — вещь рискованная; но нѣтъ надобности быть необыкновеннымъ человѣкомъ и „сверхъ-помѣщикомъ“, чтобы его заводить. А разориться на немъ—это ужъ совсѣмъ шаблонъ...

Ноша, которую взвалилъ на свои плечи Ивановъ, вовсе не отличалась какою-то необычайною, исключительною тяжестью. Онъ надорвался потому только, что онъ—неврастеникъ и субъектъ психически-слабый. Вотъ послушаемъ, что онъ говоритъ о себѣ: „...Я сталъ раздражителенъ, вспыльчивъ, рѣзокъ, мелоченъ до того, что не узнаю себя. По цѣлымъ днямъ у меня голова болитъ, безсонница, шумъ въ ушахъ...“ „...Мысли мои перепутались, душа скована какою-то лѣнью, и я не въ силахъ понимать себя...“. Это—характерные симптомы неврастеніи. У Иванова она приняла ту формулу, при которой происходитъ, такъ сказать, опустошеніе души: чувства, которыми человѣкъ еще недавно жилъ и которыя были ему дороги, вдругъ исчезаютъ какъ бы безъ видимой причины, безъ внѣшняго повода; человѣкъ становится безчувственнымъ, деревяннымъ. Ивановъ женился по любви, и до недавняго времени эта любовь была жива въ немъ. Теперь онъ совершенно равнодушенъ къ женѣ, любовь вдругъ исчезла, какъ будто ея и не бывало; онъ не доступенъ даже простому чувству жалости или безпокойства въ виду ея болѣзни. Когда докторъ Львовъ настойчиво указываетъ ему на близость рокового исхода, онъ отвѣчаетъ: „Вотъ вы говорите мнѣ, что она скоро умретъ, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомленіе. Если со стороны поглядѣть на меня, то это, вѣроятно, ужасно; самъ же я не понимаю, что дѣлается съ моей душой...“. (дѣйствіе I, сц. III). По натурѣ добрый и гуманный человѣкъ, онъ сталъ теперь черствымъ эгоистомъ. Но это эгоизмъ, такъ сказать, не моральнаго, а патологическаго порядка; это — животный эгоизмъ больного, инстинктивно чувствующаго, что запасъ нервной и душевной силы у него на исходѣ и что нѣтъ физической возможности тратить его на другихъ, хотя бы самыхъ близкихъ людей. И словно изъ чувства самосохраненія онъ избѣгаетъ всего, что требуетъ траты нервной и душевной силы. Такой же психологическій смыслъ имѣетъ и неспособность неврастеника къ сосредоточенію вниманія и къ умственному уси-

лію; занятія и дѣла, требующія хотя бы и не большого напряженія мысли и воли, ему не подъ силу. И имъ овладѣваетъ лѣнь и апатія. Человѣкъ изнываетъ въ бездѣйствіи, мечется изъ угла въ уголъ, не находитъ себѣ мѣста, всюду преслѣдуемый безпричинною, безпредметною тоскою. Не лишено симптоматическаго значенія то, что говоритъ Ивановъ женѣ въ VI-ой сценѣ I-го дѣйствія: „Голубушка моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мѣшай мнѣ уѣзжать по вечерамъ изъ дому. Это жестоко, несправедливо съ моей стороны, но позволяй мнѣ дѣлать эту несправедливость! Дома мнѣ мучительно тяжело! Какъ только прячется солнце, душу мою начинаетъ давить тоска... Не спрашивай, отчего это. Я самъ не знаю. Клянусь, не знаю! Здѣсь тоска, а поѣдешь къ Лебедевымъ, тамъ еще хуже; вернешься оттуда, а здѣсь опять тоска, и такъ всю ночь... Просто отчаяніе...“.

Если бы докторъ Львовъ былъ врачъ по призванію, а не ремесленникъ въ медицинѣ, и если бы онъ былъ также живой и гуманный человѣкъ, а не ходячая злая мораль, то онъ сразу бы догадался, что передъ нимъ не безсердечный эгоистъ и беззастѣнчивый дѣлецъ, какимъ кажется ему Ивановъ, а нервно-больной субъектъ, страдающій одною изъ тяжелыхъ формъ неврастеніи, по всей вѣроятности тою, которая извѣстна подъ именемъ „мозговой“ или „психической“.

Тупой доктринеръ и буквоѣдъ въ морали, докторъ Львовъ не замѣчаетъ ни глубокой искренности Иванова, ни его жестокихъ душевныхъ страданій.

3.

Ивановъ жестоко страдаетъ отъ сознанія своего душевнаго безсилія. Онъ понимаетъ смыслъ перемѣны, въ немъ происшедшей; онъ чувствуетъ, что онъ — ужъ не тотъ прежній Ивановъ, который еще недавно „былъ молодымъ, горячимъ, искреннимъ, неглупымъ“, который „любилъ, ненавидѣлъ и вѣрилъ не такъ, какъ всѣ, работалъ и надѣялся за десятерыхъ, сражался съ мельницами, бился лбомъ объ стѣны...“. (дѣйств. IV, сц. X). Сарра отзы-

вается о немъ, какъ о человѣкѣ „замѣчательномъ" (дѣйствіе I, сц. VII), и повидимому, онъ и самъ склоненъ былъ такъ смотрѣть на себя, преувеличивая свои силы и переоцѣнивая значеніе своей дѣятельности. Но это не было самохвальство или самообожаніе; это была только ошибка въ самоопредѣленіи, плодъ той иллюзіи, въ силу которой искренность и горячность молодости кажутся человѣку положительной силой, способной вершить большія дѣла, а горячія, красивыя рѣчи принимаются за половину дѣла, и человѣкомъ овладѣваетъ наивная вѣра въ магическую силу слова и убѣжденія. По временамъ эта иллюзія навязывается ему и теперь, когда онъ сравниваетъ свое нынѣшнее душевное состояніе съ прежнимъ, которое поэтому и кажется ему еще болѣе яркимъ и значительнымъ. Онъ кипѣлъ и вдругъ остылъ; онъ горѣлъ и вдругъ потухъ... Онъ хорошо помнитъ, какъ онъ кипѣлъ, горѣлъ, любилъ, работалъ, жилъ, — и ему мучительно жаль этого прекраснаго прошлаго, — онъ силится возстановить въ себѣ живого человѣка и—не можетъ. Это чувство безсилія при сознаніи и преувеличеніи прежней силы въ высокой степени мучительно и способно повергнуть человѣка въ отчаяніе. Безнадежное желаніе, полная невозможность воскреснуть изъ мертвыхъ—такова трагедія Иванова, кончающаяся самоубійствомъ.

Онъ разлюбилъ жену и спрашиваетъ себя въ отчаяніи: „какъ? почему? за что?"—и сознается, что не понимаетъ этого, не можетъ отвѣтить на эти вопросы (дѣйств. III. сц. VI). Онъ чувствуетъ за собою вину, совѣсть мучитъ его, но онъ не въ силахъ расшевелить въ себѣ даже чувства жалости, любовь умерла, всѣ чувства въ немъ умерли, потому что онъ—весь умеръ. Участье и любовь Саши безсильны оживить его. Тѣ искорки чувства, которыя чуть-чуть вспыхиваютъ въ немъ подъ вліяніемъ этой любви, чтобы сейчасъ же и потухнуть, служатъ лучшимъ доказательствомъ того, что онъ умеръ безнадежно. На время овладѣваетъ имъ иллюзія, будто новая жизнь открывается ему въ любви Саши; но на другой же день „онъ вѣритъ въ эту жизнь и въ счастье такъ же мало, какъ въ домового". (дѣйств. III, сц. VI). „Что со мною?". — спрашиваетъ онъ себя.—„Въ какую пропасть толкаю я себя? От-

куда во мнѣ эта слабость? Что стало съ моими нервами?.. Не понимаю, не понимаю, не понимаю! Просто, хоть пулю въ лобъ!..“. (дѣйств. III, сц. VI.). Это стало у него навязчивою мыслью. Почти во всѣхъ своихъ репликахъ и монологахъ онъ твердитъ о томъ же, рисуя яркими красками свое теперешнее состояніе душевной летаргіи, вспоминая недавнее прошлое, которое по большей части представляется ему въ радужныхъ краскахъ. Такъ, въ томъ же монологѣ онъ говоритъ: „Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ этими самыми руками, говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣждъ, умѣлъ плакать, когда видѣлъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло...“. Сознаніе роковой перемѣны преслѣдуетъ его, какъ кошмаръ. Въ X-ой сценѣ IV-го акта (передъ свадьбой) онъ, стараясь объяснить Лебедеву, почему онъ отказывается отъ женитьбы на его дочери, опять вспоминаетъ прошлое и, какъ и раньше, утверждаетъ, что онъ просто переутомился, надорвался: онъ „спѣшилъ расходовать себя на одну только молодость, пьянѣлъ, возбуждался, работалъ; не зналъ мѣры...“. И, какъ бы въ оправданіе такой неэкономной траты силъ, говоритъ: „И скажи: можно ли было иначе? Вѣдь насъ мало, а работы много, много! Боже, какъ много!..“.

Въ другихъ призведеніяхъ Чеховъ покажетъ намъ, какъ въ самомъ дѣлѣ много на Руси „работы“, какъ трудно справляться съ нею, какъ мало людей, умѣющихъ исполнять ее, и какъ она утомительна. Но та работа, которая уходила Иванова, не была, разумѣется, ни чрезмѣрной, ни изнурительной по существу. Если Ивановъ не вынесъ ея, то это свидѣтельствуетъ только о дефектахъ его нервной организаціи и о его психической слабости. Да и не отъ одной „работы“ надорвался Ивановъ: онъ надорвался отъ избытка молодой жизни, отъ пылкихъ чувствъ, отъ горячихъ рѣчей; его утомила его молодость, его живость, его отзывчивость. Онъ изжилъ все, что было у него за душой, и превратился въ живой трупъ. „Съ тяжелою головой, съ лѣнивою душой (говоритъ онъ въ той же сценѣ), утомленный, надорванный, надломленный, безъ вѣры, безъ любви, безъ цѣли, какъ тѣнь слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачѣмъ живу,

*

чего хочу?..“. Такъ въ угнетенномъ сознанiи этого человѣка, въ его болѣзненномъ самочувствiи отражается патологическiй процессъ, совершающiйся въ его нервной системѣ и въ его психикѣ. Онъ чувствуетъ, что его пѣсня спѣта, что онъ „погибъ безвозвратно“. „Передъ тобою,—говоритъ онъ Лебедеву (тамъ же),—стоитъ человѣкъ, въ 35 лѣтъ уже утомленный, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами; онъ сгораетъ со стыда, издѣвается надъ своею слабостью...“.

Это—настоящая и глубокая трагедiя. Но намъ, въ силу навыковъ, воспитанныхъ въ насъ отчасти старою поэтикой, отчасти условiями нашего литературнаго развитiя, такая—почти медицинская—трагедiя невольно кажется какъ бы „ненастоящею“, неимѣющею общественнаго смысла. Драма „Ивановъ“, безспорно, написана не только художникомъ, но и врачомъ. Такое вторженiе медицинской точки зрѣнiя въ искусство противорѣчитъ установившимся у насъ литературнымъ понятiямъ и вкусамъ. Нужно имѣть въ виду также и то, что въ самой наукѣ медицинскiй или медико-антропологическiй методъ изученiя соцiальныхъ явленiй еще не вполнѣ упрочился и не далъ тѣхъ результатовъ, тѣхъ выводовъ, которыхъ мы въ правѣ ожидать отъ него и которые онъ несомнѣнно дастъ въ недалекомъ будущемъ. Тѣмъ не менѣе нѣкоторыя положительныя прiобрѣтенiя на этомъ пути уже сдѣланы. Имѣя ихъ въ виду, Чеховъ говоритъ намъ своей пьесой: не забывайте, что многiя болѣзни, какъ, напр.: алкоголизмъ, неврастенiя, разные психозы, наконецъ, процессы физическаго и психическаго вырожденiя, имѣютъ огромное *общественное значенiе* и могутъ испортить жизнь цѣлыхъ поколѣнiй и свести на нѣтъ самыя плодотворныя начинанiя, всѣ высокiя идеи и стремленiя лучшихъ людей эпохи.

4.

Драма „Ивановъ“ заслуживала бы тщательнаго изученiя и разбора. Такой разборъ, однако, не входитъ въ нашу задачу. Но нѣсколько замѣчанiй въ этомъ направленiи представляются мнѣ необходимыми.

Внимательный читатель не можетъ не замѣтить, что „интрига“, или фабула, пьесы построена на изображеніи хитросплетенной сѣти *недоразумѣній и ложныхъ толкованій*, возбуждаемыхъ въ другихъ лицахъ поведеніемъ героя. Эти недоразумѣнія имѣютъ свое основаніе; ложнымъ толкованіямъ нельзя отказать въ логичности. Но и тѣ, и другія вытекаютъ изъ одного источника, изъ одной основной ошибки: никто не догадывается, что Ивановъ человѣкъ больной и что къ нему слѣдуетъ относиться прежде всего какъ къ больному. Его охлажденіе къ женѣ и его романъ съ Сашей Лебедевой объясняютъ въ обществѣ простымъ, грубымъ, беззастѣнчивымъ расчетомъ дѣльца. Такъ полагаетъ и докторъ Львовъ, задумавшій разоблачить Иванова, что и послужило послѣднимъ, рѣшительнымъ толчкомъ, ускорившимъ трагическую развязку. Чеховъ съ большимъ искусствомъ показалъ, что Ивановъ никакимъ расчетомъ не руководился и въ своихъ отношеніяхъ какъ къ Саррѣ, такъ и къ Сашѣ былъ вполнѣ честенъ и искрененъ, но что другіе, судя со стороны по его поступкамъ, дѣйствительно имѣли нѣкоторое основаніе объяснять его поведеніе матеріальнымъ расчетомъ.—Не догадываются о болѣзни героя и обѣ героини, Сарра и Саша. Еслибы онѣ знали истинную причину равнодушія, тоски, разочарованности, нытья, нерѣшительности Иванова, ихъ отношеніе къ нему было бы, пожалуй, иное. Сарра, быть можетъ, не такъ близко къ сердцу принимала бы равнодушіе мужа, его охлажденіе, его отлучки. Саша, быть можетъ, призадумалась бы въ рѣшительную минуту и усомнилась въ возможности воскресить любовью человѣка, нуждающагося прежде всего въ медицинской помощи.... Я говорю предположительно („можетъ быть“), ибо не увѣренъ въ томъ, чтобы онѣ, даже зная о болѣзни Иванова, сумѣли отнести прямо на ея счетъ всѣ его выходки и странности. Весьма возможно, что Сарра, какъ это зачастую бываетъ, сказала бы себѣ: болѣзнь—болѣзнью, и ею объясняется хмурое настроеніе мужа, но то, что онъ меня разлюбилъ, остается фактомъ, и это фактъ не неврастеніи Иванова, а его души; нервы сами по себѣ, душа сама по себѣ. Съ своей стороны, и Саша подумала бы: онъ упалъ духомъ, онъ страдаетъ душой, я воскрешу его, оживлю его

больную душу, — а нервы ужъ не трудно будетъ подправить; душа сама по себѣ, и она—главное; нервы сами по себѣ, и они — пустяки; восторженная самоотверженность и дѣятельная любовь—великая сила и могутъ совершать чудеса...

Независимость души отъ тѣла, самостоятельность, или, такъ сказать, абсолютная „психичность" такихъ моральныхъ страданій, какъ напр., тоска, хандра, отвращеніе къ жизни, — это родъ ходячей догмы, настолько распространенной въ обществѣ, настолько укоренившейся, что едва ли Сарра и Саша могли бы отрѣшиться отъ нея.

Но всего поразительнѣе то, что самъ Ивановъ, дающій точныя (почти въ медицинскомъ смыслѣ) показанія о своей болѣзни, не можетъ стать на медицинскую точку зрѣнія, которая могла бы отчасти смягчить гнетъ его тяжелаго самочувствія. Какъ удручающе-тяжко это самочувствіе, видно изъ приведенныхъ выше цитатъ. Приведемъ еще слѣдующія. Онъ говоритъ Сашѣ: „Своимъ нытьемъ я отравилъ женѣ послѣдній годъ ея жизни. Пока ты моя невѣста, ты разучилась смѣяться и постарѣла на пять лѣтъ... Ѣду ли я на съѣздъ, въ гости, на охоту, куда ни пойду, всюду вношу съ собою скуку, уныніе, недовольство... Никогда я не лгалъ, не клеветалъ на жизнь, но, ставши брюзгой, я, противъ воли, самъ того не замѣчая, клевещу на нее, ропщу на судьбу, жалуюсь, и всякій, слушая меня, заражается отвращеніемъ къ жизни и тоже начинаетъ клеветать. А какой тонъ! Точно я дѣлаю одолженіе природѣ, что живу. Да чортъ меня возьми!". (Дѣйств. IV, сц. VII). „Нехорошій, жалкій и ничтожный я человѣкъ!.. Какъ я себя презираю, Боже мой! Какъ глубоко ненавижу я свой голосъ, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смѣшно ли, не обидно ли? Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ, силенъ...". и т. д. (дѣйств. Ш, сц. VI).

Онъ возненавидѣлъ самого себя. Онъ готовъ даже обвинять себя, точно онъ въ самомъ дѣлѣ виноватъ, въ томъ, что пересталъ быть тѣмъ—прежнимъ—здоровымъ, горячимъ, искреннимъ, дѣятельнымъ Ивановымъ и превратился въ Иванова больного, холоднаго, равнодушнаго, хмураго, безсильнаго.

Казалось бы, эта рѣзкая перемѣна, сознаніе которой такъ тягостно для него, должна была бы навести его на простое соображеніе, выражаемое въ вопросѣ: не боленъ ли я въ точномъ медицинскомъ смыслѣ слова? Онъ все твердитъ, что надорвался, но ему и въ голову не приходитъ мысль, что этотъ „надрывъ“ есть прежде всего явленіе физіологическое, нервно-патологическое, что подъ нимъ должна скрываться опредѣленная форма неврастеніи, подлежащая медицинскому изслѣдованію и лѣченію. Вмѣсто того, онъ говоритъ совсѣмъ о другомъ, — что въ Россіи много „работы“, а мало работниковъ, и что онъ, будто бы, работая за десятерыхъ, переутомился и надорвался. Очевидно, по примѣру другихъ, онъ склоненъ отдѣлять жизнь и дѣятельность души отъ жизнедѣятельности организма. Психическое отраженіе нервно-патологическаго процесса онъ принимаетъ за явленіе вполнѣ самостоятельное; оно потому и кажется ему такимъ ужаснымъ, такимъ роковымъ. Будь онъ человѣкъ необразованный, темный, онъ бы приписалъ перемѣну, въ немъ происшедшую, дьявольскому навожденію, какой-нибудь „порчѣ“. Но онъ человѣкъ просвѣщенный и потому къ гипотезѣ „порчи“ или „навожденія“ не прибѣгаетъ, а говоритъ такъ: „Если неглупый, образованный и здоровый человѣкъ безъ всякой видимой причины сталъ пѣть Лазаря и покатилъ внизъ по наклонной плоскости, то онъ катитъ уже безъ удержа, и нѣтъ ему спасенія!..“. (дѣйств. IV, сц. VIII). На мѣсто нечистой силы здѣсь становится въ своемъ родѣ суевѣрное представленіе о чемъ-то невѣдомомъ и страшномъ, овладѣвшемъ душою и фатально влекущемъ человѣка въ бездну. Послушаемъ дальше: „Ну, гдѣ мое спасеніе, въ чемъ? Пить я не могу—голова болитъ отъ вина; плохихъ стиховъ писать не умѣю, молиться на свою душевную лѣнь и видѣть въ ней нѣчто превыспренное — не могу. Лѣнь и есть лѣнь, слабость есть слабость — другихъ названій у меня нѣтъ. Погибъ, погибъ,—и разговоровъ быть не можетъ!..“. (тамъ же).

Итакъ, имъ овладѣли *душевная лѣнь и слабость*, кажущіяся ему роковыми и неотвратимыми, какъ „навожденіе“, пагубными, какъ „порча“. Онъ, въ своихъ соб-

ственныхъ глазахъ, точно „одержимый“. И онъ не видитъ другого исхода, кромѣ самоубійства.

Словно привороженный, онъ пристально всматривается въ тѣ душевныя состоянія, которыя онъ переживаетъ, и ни о чемъ другомъ не можетъ говорить, какъ только о своей „лѣни“ и „слабости“. Онъ рисуетъ яркую картину своего душевнаго упадка, своей хандры, своей апатіи; онъ, какъ мы видѣли, старается ихъ объяснить, открыть ихъ источникъ—и находитъ таковой въ переутомленіи и „надрывѣ“; наконецъ, онъ высказываетъ свое отношеніе къ этимъ душевнымъ состояніямъ: онъ не видитъ въ нихъ „нѣчто превыспренное“, напротивъ, они кажутся ему отвратительными, и онъ становится противенъ себѣ самому.— Итакъ, казалось бы, человѣкъ изслѣдовалъ свой недугъ всесторонне и самымъ основательнымъ образомъ. И однако же самого-то главнаго онъ и не замѣтилъ: неврастенической основы своихъ душевныхъ страданій. Онъ какъ будто нарочно обходитъ этотъ пунктъ и всякій разъ, когда ему случается невольно приблизиться къ нему, онъ спѣшитъ отойти прочь и перенести вопросъ на другую почву. Такъ, въ одномъ мѣстѣ у него вырвался вопросъ: „что стало съ моими нервами?“. Но, какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ, онъ имѣетъ въ виду здѣсь не какую-либо болѣзнь нервовъ, а ту раздражительность, какую онъ сталъ обнаруживать [1]). Тѣлесное недомоганіе, имъ испытываемое, онъ склоненъ понимать, какъ результатъ душевнаго упадка и моральныхъ страданій. Въ общемъ, онъ полагаетъ, что физически онъ совершенно здоровъ и что только душа его больна. Въ сценѣ VI-ой II-го дѣйствія онъ говоритъ: „Я умираю отъ стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человѣкъ, обратился не то въ Гамлета, не то въ Манфреда, не то въ лишніе люди... самъ чортъ не разберетъ!..“. — И понятно, разъ весь процессъ цѣликомъ пріурочивается къ сферѣ психической, человѣку кажется, что тутъ отвѣтственно его „я“, что онъ *виноватъ въ чемъ-то*. Въ той же сценѣ онъ говоро-

---

*) „Что стало съ моими нервами? Стоитъ только больной женѣ уколоть мое самолюбіе, или не угодитъ прислуга, или ружье дастъ осѣчку, какъ становлюсь грубъ, золъ и непохожъ на самого себя... Не понимаю, не понимаю...“ (дѣйств. III, сц. VI).

ритъ: „День и ночь болитъ моя совѣсть; я чувствую, что глубоко виноватъ, но въ чемъ собственно моя вина, не понимаю...“. — А между тѣмъ, непосредственно передъ этимъ признаніемъ онъ произноситъ слова, которыя, казалось бы, должны были бы направить его мысли въ другую сторону. Онъ говоритъ: „Прежде я много работалъ и много думалъ, но никогда не утомлялся; теперь же ничего не дѣлаю и ни о чемъ не думаю, а усталъ тѣломъ и душой...“. Ясно, что человѣкъ боленъ, физически боленъ и, слѣдовательно, нѣтъ у него основанія считать себя „глубоко виноватымъ“.

Ивановъ настолько уменъ и честенъ, что не разыгрываетъ россійскаго Гамлета, не говоритъ о душевныхъ мукахъ высшаго порядка, не корчитъ разочарованнаго и пессимиста. Онъ не зачисляетъ себя и въ разрядъ лишнихъ людей. Онъ откровенно признается въ своей душевной немощи, стыдясь ея, презирая себя, чувствуя себя безъ вины виноватымъ. Въ этой иллюзіи вины есть доля трагизма, какъ есть и доля правды. Онъ не виноватъ въ томъ, что, ничего не дѣлая и ни о чемъ не думая, онъ устаетъ тѣломъ и душой; но онъ виноватъ передъ Саррой, передъ Сашей и живо чувствуетъ, что поступаетъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Но въ этихъ и другихъ случаяхъ онъ виноватъ безъ вины, потому что психологически неспособенъ управлять собою, не въ силахъ относиться къ людямъ гуманно и здраво. Онъ катится по наклонной плоскости, предвидитъ свою гибель, но удержаться не можетъ.

5.

Въ прежнее время многіе изъ такихъ „Ивановыхъ“, переутомившихся отъ малыхъ дѣлъ или отъ бездѣлья, сваливали вину съ больной головы на другую больную голову: на „среду“, которая будто бы ихъ „заѣла“. И въ беллетристикѣ добраго стараго времени была мода изображать „среду“ въ самыхъ неприглядныхъ чертахъ и показывать, какъ она заѣдаетъ „свѣжаго человѣка“.

Но „свѣжесть“ заѣдаемаго средой человѣка давно уже заподозрѣна. Онъ то и дѣло оказывался либо натурою

мелкою, слабою, ничтожною, либо просто человѣкомъ неумнымъ и неумѣлымъ. Чеховъ пошелъ въ этомъ вопросѣ по особому пути. Въ V-ой сценѣ III-го дѣйствія Лебедевъ въ отвѣтъ на вопросъ Иванова: „Чѣмъ, чѣмъ ты объяснишь такую утомляемость?" заикнулся было о средѣ: „Знаешь что?—говоритъ онъ,—тебя, братъ среда заѣла!". На это Ивановъ отвѣчаетъ кратко и вразумительно: *Глупо, Паша, и старо...*" И эта категорическая реплика оказывается вполнѣ убѣдительной и для самого Лебедева. Онъ сразу сообразилъ, что сказалъ ходячую глупость: „Дѣйствительно глупо, — говоритъ онъ — Теперь я самъ вижу, что глупо...".

Справедливость требуетъ сказать, что эта стереотипная фраза „среда заѣла такого-то" въ прежнее время, напр., въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, имѣла нѣкоторый смыслъ. Она опошливалась постепенно — десятилѣтіями, и къ 80-мъ годамъ превратилась въ пустую форму, лишенную содержанія.

Въ доброе старое время патріархальная среда, дѣйствительно, нередко „заѣдала" одинокаго просвѣщеннаго человѣка, т.-е. обращала его въ первобытное состояніе, потому что просвѣщеніе и гуманность были у него наносными, внѣшними, не имѣли прочныхъ корней въ его душѣ. „Заѣданіе", слѣдовательно, сводилось къ рецидиву, а рецидивъ прежде всего обусловливался причинами внутренними, дѣйствующими въ самомъ субъектѣ. Среда являлась только благопріятствующимъ рецидиву моментомъ. Понимаемая такъ фраза „среда заѣла такого-то" имѣла свой смыслъ: рецидивистъ, дѣйствительно, имѣлъ нѣкоторое право говорить, что одинъ въ полѣ не воинъ, и обвинять среду.

Но время шло, и среда незамѣтно измѣнялась. Послѣ реформъ 60-хъ годовъ измѣненія въ ея составѣ, соціальномъ укладѣ и въ самой ея психологіи пошли ускореннымъ ходомъ. Къ 80-мъ годамъ она уже перестала быть неподвижною, компактною толщею, которую ничѣмъ не проймешь. Она превратилась въ родъ соціальнаго киселя, стала зыбкой, дифференцировалась, разложилась и утратила тѣ свойства, которыя нѣкогда давали ей возможность заѣдать свѣжихъ людей. Эти „свѣжіе люди", ежегодно вы-

ходящіе изъ разныхъ, высшихъ и среднихъ, учебныхъ заведеній, съ дипломомъ или безъ него, но почти всегда съ запасомъ новыхъ идей и желаніемъ добра, давно уже перестали быть одинокими и безпомощными, — они вошли въ среду, заняли въ ней свои мѣста и образовали интегральную часть ея. Они уже не имѣютъ права говорить объ окружающей средѣ, какъ о чемъ-то чуждомъ или враждебномъ имъ. Въ значительной степени среда стала *ихъ* средою. И если, при такомъ положеніи вещей, наблюдаются рецидивы (а они далеко не рѣдки), то уже нѣтъ основаній обвинять среду и говорить о „заѣданіи". Можно и должно говорить только о рецидивизмѣ, котрый для своего возникновенія даже не нуждается въ благопріятствующихъ внѣшнихъ условіяхъ.

Достаточно извѣстно, съ какою легкостью русскій человѣкъ, казалось бы, достаточно вооруженный культурными навыками, просвѣщенный, воспитанный, обращается въ первобытное состояніе, обрастаетъ мохомъ, опускается. Это явленіе—широко распространенное. Чеховъ обращалъ на него особенное вниманіе. Въ его произведеніяхъ можно найти цѣлую коллекцію рецидивистовъ разнаго рода. Къ числу наиболѣе яркихъ принадлежатъ: Іонычъ (разсказъ „Іонычъ"), Андрей и докторъ Чебутыкинъ въ пьесѣ „Три сестры". Послѣдній говоритъ: „Думаютъ, что я докторъ, умѣю лѣчить всякія болѣзни, а я не знаю рѣшительно ничего,—все позабылъ, что зналъ, ничего не помню, рѣшительно ничего... Третьяго дня разговоръ въ клубѣ; говорятъ, Шекспиръ, Вольтеръ... Я не читалъ, совсѣмъ не читалъ, а на лицѣ своемъ показалъ, будто читалъ...". Это одинъ изъ самыхъ крайнихъ случаевъ рецидивизма. Другіе рецидивисты не идутъ такъ далеко вспять, останавливаясь на полдорогѣ. Нужно различать также разные виды попятнаго движенія или остановки въ развитіи. Такъ, одни, сохраняя умственные интересы, останавливаются или идутъ назадъ въ области нравственныхъ чувствъ и понятій, другіе—наоборотъ. Замѣчается нерѣдко просто утрата пріобрѣтенныхъ культурныхъ привычекъ и вкусовъ, родъ огрубѣнія или своеобразнаго „опрощенія", и — въ такихъ случаяхъ—сама собой навязывается мысль, что эти вкусы и привычки были для человѣка только лишней обузой:

безъ нихъ онъ лучше чувствуетъ себя, ему легче жить... Но чаще всего встрѣчается тотъ видъ рецидивизма, который сводится къ преждевременной изношенности души, къ ослабленію душевныхъ силъ, при чемъ однако человѣкъ сохраняетъ, какъ говорится, искру Божію, и у него есть извѣстный уровень, ниже котораго онъ не опустится. Къ этому сорту рецидивистовъ относятся графъ Шабельскій и Лебедевъ. Первый, по его же словамъ, „въ свое время разыгрывалъ Чацкаго, обличалъ мерзавцевъ и мошенниковъ“; второй, совсѣмъ опустившійся алкоголикъ, подъ пьяную руку любитъ вспоминать свою молодость, свои университетскіе годы.

Что касается самого Иванова, то у него рецидивъ еще не является совершившимся фактомъ. Почва для рецидива подготовлена его болѣзнью, но, вѣдь, не всякій неврастеникъ непремѣнно рецидивистъ. Натура Иванова, весь его умственный и нравственный обликъ, какъ они изображены въ пьесѣ, внушаютъ намъ мысль, что онъ изъ тѣхъ людей, которые психически не въ состояніи примириться съ участью рецидивиста. Шабельскій и Лебедевъ вызываютъ въ немъ чувство брезгливости и презрѣнія. А когда онъ говоритъ о своемъ упадкѣ, о своей слабости, то онъ переживаетъ цѣлую гамму острыхъ чувствъ: онъ „сгораетъ со стыда“, „издѣвается“ надъ собою, его „гордость возмущается“, его „душитъ бѣшенство“ (дѣйств. IV, сц. X). Мысль о самоубійствѣ давно ужъ вертится у него въ головѣ. Оскорбленіе, нанесенное ему Львовымъ, было только ближайшимъ внѣшнимъ поводомъ, ускорившимъ катастрофу. Онъ во всякомъ случаѣ покончилъ бы съ собою, именно въ виду угрожающаго ему, по его мнѣнію, нравственнаго и умственнаго крушенія. Вспомнимъ его предсмертныя слова: „Проснулась во мнѣ молодость, заговорилъ прежній Ивановъ!.. Долго катилъ внизъ по наклону, теперь стой! Пора и честь знать!..“. (дѣйств. IV, сц. XI).

То, что мы называемъ умственнымъ, нравственнымъ и культурнымъ рецидивизмомъ, наблюдалось у насъ во всѣ времена; но бываютъ эпохи, когда оно обнаруживается отчетливѣе и получаетъ значеніе какъ бы соціальнаго фак-

тора, когда люди съ пониженнымъ психическимъ уровнемъ выступаютъ на аренѣ общественной жизни съ тѣми или иными лозунгами. Такова была и эпоха 80-хъ годовъ, памятная не только реакціей, но и рѣзкимъ пониженіемъ жизненнаго тона, обиліемъ невропатіи и психозовъ, разными формами умственнаго и нравственнаго упадка. Это не значитъ, конечно, чтобы не было тогда и другихъ явленій, противоположнаго характера, не было признаковъ здороваго развитія, новыхъ, болѣе счастливыхъ всходовъ жизни. Все это было,—и тотъ же Чеховъ не преминулъ ихъ замѣтить и увѣковѣчить.

ГЛАВА VI.

Чеховъ въ началѣ 90-хъ гг.—Разсказъ «Жена».

1.

Въ предыдущей главѣ я указалъ на тотъ контрастъ, который образуетъ коренную и роковую черту русской дѣйствительности: это именно—*противорѣчіе между скудностью, можно сказать, безпомощностью нашей матеріальной культуры и относительнымъ богатствомъ идейной и моральной жизни интеллигенціи.* Нищета народныхъ массъ, жалкія избы, разобранныя крыши, хроническія голодовки, отсталость земледѣлія и промышленности и т. д., съ одной стороны, и высота моральныхъ запросовъ, обиліе благородныхъ чувствъ, постоянный урожай идей, болѣе или менѣе возвышенныхъ,—съ другой. Въ прежнее время этотъ вопіющій контрастъ не такъ бросался въ глаза: онъ былъ замаскированъ разными иллюзіями, однѣ изъ которыхъ основывались на утѣшительной мысли о несмѣтныхъ природныхъ богатствахъ страны, а другія возникали на почвѣ предвзятаго воззрѣнія, будто движущую силу прогресса и залогъ лучшаго будущаго нужно видѣть не въ развитіи матеріальной культуры, а въ готовности къ самопожертвованію.

Эти иллюзіи стали колебаться, и указанный контрастъ обнаружился съ большею ясностью въ 90-хъ годахъ, когда на Россію обрушились стихійныя бѣдствія (неурожаи, голодъ, эпидеміи) и стала очевидною полная неспособность населенія бороться съ ними. Вопіющіе факты и краснорѣчивыя цифры говорили о томъ, что въ Россіи природа сильнѣе человѣка, что у насъ, народа искони земледѣльческаго, нѣтъ запасовъ хлѣба, нѣтъ и запаса энегріи, зато есть залежи невѣжества, лѣни и тупого терпѣнія. Грозный призракъ вырожденія, какъ роковое „memento“, вставалъ передъ сознаніемъ мыслящей части общества. Интеллигенція, какъ она всегда это дѣлала, поспѣшила на помощь народу и, какъ всегда, обнаружила безкорыстную и беззавѣтную самоотверженность. Многіе находили въ этихъ подвигахъ высокое нравственное удовлетвореніе, обрѣтали—на время—покой совѣсти и „смыслъ своей жизни“. И въ самомъ дѣлѣ: сколько столовыхъ было открыто, сколько голодныхъ накормили, сколько жизней спасли! Правда, это не помѣшало процессамъ обнищанія, оскудѣнія и вырожденія идти впередъ, все усиливаясь... Но противъ этого интеллигенція безсильна тамъ, гдѣ эти процессы подвинулись слишкомъ далеко, и гдѣ протекшіе вѣка воспитали населеніе въ закоренѣлыхъ привычкахъ крестьянской обломовщины, рабскаго фатализма и покорной безпомощности. Нѣкоторымъ, а можетъ быть и многимъ, это было ясно, и они, принимая дѣятельное участіе въ организаціи помощи страждущему населенію, не обрѣтали однако въ этой дѣятельности покоя совѣсти... Гибельное дѣло прошлыхъ вѣковъ исправляется оздоровляющемъ дѣйствіемъ грядущихъ, при условіи, если въ населеніи найдутся болѣе или менѣе здоровые и крѣпкіе слои, отъ которыхъ произойдутъ поколѣнія, лучше приспособленныя къ борьбѣ съ природой и къ созданію прочной матеріальной культуры....

Мысли въ этомъ направленіи, очевидно, сильно занимали Чехова съ самаго начала 90-хъ годовъ. Однимъ изъ первыхъ выраженій этихъ мыслей явился превосходный разсказъ „Жена“ (1892 г.), гдѣ дѣло идетъ о бѣдствіяхъ крестьянъ во время голода и показано, какъ интеллигенція реагировала на эти бѣдствія, и все это зарисовано

такъ сказать, въ *русскихъ національныхъ тонахъ*,—„тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ...“.

Разсказчикъ, инженеръ и богатый помѣщикъ Асоринъ, получилъ анонимное письмо, въ которомъ говорилось о „прискорбныхъ фактахъ“ въ деревнѣ Пестровѣ: „всѣ крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились въ Томскую губернію, но не доѣхали и возвратились назадъ. Здѣсь, понятно, у нихъ ничего уже нѣтъ, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи въ одной избѣ...“. (глава I).

Знакомыя картинки, заставляющія вспомнить эпиграфъ ко II главѣ „Евгенія Онѣгина“: „O,rus! O, Русь!“.

Какъ ни смотрѣть на переселенческій вопросъ, являющійся у насъ однимъ изъ затяжныхъ и жгучихъ, нельзя, кажется, отрицать двухъ вещей: 1) фактъ переселенія есть во всѣхъ смыслахъ testimonium paupertatis, т. е доказательство хозяйственной безпомощности и неумѣлости крестьянъ, 2) это — палліативъ, который при надлежащемъ упорядоченіи можетъ отчасти и на время помочь крестьянской бѣдѣ. Но почему же это дѣло не организовано, какъ слѣдуетъ? Почему крестьяне деревни Пестрова ѣхали да не доѣхали? Почему они пустились въ путь зря? На какія молочныя рѣки и кисельные берега разсчитывали они въ миѳической для нихъ Томской губерніи?

Письмо, полученное Асоринымъ, повѣствуетъ далѣе „о голодѣ, о поголовной эпидеміи голоднаго или сыпнаго тифа“... „Фельдшерица говоритъ: придешь въ избу и что видишь? Всѣ больны, все бредятъ, кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзетъ; въ избахъ смрадъ, ни воды подать, ни принести некому, а пищей служитъ одинъ мерзлый картофель...“ (I).

И всѣ эти ужасы, ставшіе у насъ затяжными и періодическими, повторяющіеся то въ той, то въ другой мѣстности, прикрыты какою-то удручающею, тоскливою тишиною, которую даже нельзя назвать зловѣщею. Разсказчику изъ окна его кабинета видно это злосчастное Пестрово,— и впечатлѣніе получается такое: „Если бы не вороны, которыя, предвѣщая дождь или снѣжную погоду, съ крикомъ носились надъ прудомъ и полемъ, и если бы не стукъ въ плотницкомъ сараѣ, то этотъ мірокъ, о которомъ теперь

такъ много шумятъ, казался бы похожимъ на Мертвое озеро, — такъ все здѣсь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!". (гл. I).

„ О, Русь—o, rus!".

Вскорѣ Асорину пришлось проѣзжать черезъ Пестрово, и вотъ что записалъ онъ: „Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нѣтъ хлѣба, въ избахъ „кто хочетъ, кто на стѣну лѣзетъ", но все это такъ просто, что даже не вѣрится, чтобы это было на самомъ дѣлѣ. Ни растерянныхъ лицъ, ни голосовъ, вопіющихъ о помощи, ни плача, ни брани, а кругомъ тишина, порядокъ жизни, дѣти, салазки, собаки съ задранными хвостами..." (гл. VI).

Ужасъ, который несомнѣнно существуетъ, но не показывается наружу, тупое равнодушіе самаго населенія, которое бѣдствуетъ, фаталистическая покорность судьбѣ, непоколебимая, апатическая увѣренность въ томъ, что все равно ничего не подѣлаешь, печальная способность мириться съ невозможными, невыносимыми для маломальски культурнаго человѣка условіями существованія— вотъ что скрывается подъ этой „тишиной", и что невольно внушаетъ намъ глубоко-скорбныя мысли не только о матеріальной, но и о духовной нищетѣ русскаго народа,—о томъ, что эта „тишина" есть доказательство не христіанскаго смиренія, а самаго обыкновеннаго вырожденія въ точномъ медицинскомъ смыслѣ этого ужаснаго слова.

2.

Лица, выведенныя въ разсказѣ, не остаются равнодушными къ зрѣлищу народнаго бѣдствія, но реагируютъ на него различно. Самъ разсказчикъ, инженеръ Асоринъ, человѣкъ разсудительный и положительный, чуждый сентиментальнаго отношенія къ народу, чувствуетъ какое-то „безпокойство", въ которомъ ему самому трудно разобраться. Онъ сознаетъ нравственный долгъ придти на помощь голодающимъ и жертвуетъ 5000 руб. Но онъ не можетъ откупиться деньгами отъ чувства „безпокойства". Это, конечно, дѣлаетъ ему честь, но вмѣстѣ съ тѣмъ является источникомъ разныхъ недоразумѣній и недоумѣ-

ній. Онъ спрашиваетъ самъ себя: „Въ самомъ дѣлѣ, что я такъ безпокоюсь?.. Какая сила тянетъ меня къ голодающимъ, какъ бабочку на огонь? Вѣдь я же ихъ не знаю, не понимаю, никогда не видѣлъ и не люблю. Откуда же это безпокойство?“. (гл. Ш).

Оно очень сложно. Это, во-первыхъ, тревога совѣсти порядочнаго человѣка, который не остается равнодушнымъ къ народному бѣдствію. Это, во-вторыхъ, безпокойство эгоиста, которому голодающіе, самымъ фактомъ голоданія, мѣшаютъ спокойно предаваться любимымъ занятіямъ (Асоринъ пишетъ „Исторію желѣзныхъ дорогъ“). Это, въ-третьихъ, безпокойство мизантропа, который не любитъ людей и не вѣритъ имъ: ему все кажется, что собираемыя деньги будутъ растрачены безъ толку, безъ пользы для дѣла, попадутъ въ карманы кулакамъ, что мѣстная интеллигенція въ лицѣ всѣхъ этихъ врачей, фельдшерицъ, помѣщиковъ, сердобольныхъ дамъ и пр., не сумѣетъ огранизовать дѣло, какъ слѣдуетъ, что не будетъ строгой отчетности и т. д. Въ-четвертыхъ, безпокойство Асорина заключаетъ въ себѣ элементы сперва неясной, потомъ все болѣе уясняющейся мысли, что ему, чтобы перестать безпокоиться, слѣдуетъ проще, сердечнѣе и довѣрчивѣе относиться къ людямъ вообще, къ народу въ частности, и по временамъ его удручаетъ мысль, что по самой натурѣ своей, онъ къ такому человѣчному отношенію не способенъ. Наконецъ, въ-пятыхъ, дѣло осложняется его отношеніями къ женѣ, уже давно испорченными (въ силу его тяжелаго характера): его жена горячо и беззавѣтно отдалась подвигу кормленія голодающихъ, и эти послѣдніе какъ бы вторглись въ его семейную и личную жизнь, грозя привести ее къ окончательному распаду...

Асоринъ принадлежитъ къ нѣкогда очень распространенному, нынѣ исчезающему типу „русскихъ иностранцевъ“, людей воспитанныхъ въ духѣ „европеизма“ и потому презирающихъ русскій народъ и русскую интеллигенцію, въ особенности разночинную. Потомокъ тѣхъ крѣпостниковъ, которымъ чужды были и народные интересы, и наши русскія идеологіи, Асоринъ несомнѣнно отягченъ нѣкоторыми чертами дурной психологической наслѣд-

ственности, правда, уже значительно смягченными новымъ просвѣщеніемъ, новыми понятіями и вліяніемъ самой жизни. Въ одномъ мѣстѣ онъ съ непріятнымъ, горькимъ чувствомъ говоритъ о портретахъ своихъ предковъ, „людей ничтожныхъ и жестокихъ". (гл. III). Онъ неоднократно ловитъ себя на зломъ и мелкомъ чувствѣ къ людямъ, въ которомъ сказывается перерожденное наслѣдіе тѣхъ „ничтожныхъ и жестокихъ" предковъ. Иногда онъ проявляетъ инстинктивное стремленіе обидѣть, уязвить, причинить боль другому, даже физическую. Такъ въ гл. III онъ говоритъ, что теперь, подъ старость, онъ любитъ жену „чище и выше, чѣмъ любилъ прежде, и поэтому ему хочется подойти къ ней, покрѣпче наступить ей каблукомъ на носокъ, причинить боль и при этомъ улыбнуться".

Асоринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ ревнителей благоустройства, порядка и законности на европейскій ладъ, которые не умѣютъ считаться съ условіями русской жизни, требующей большого такта и истинной гуманности отъ всякаго, кто хочетъ у насъ бороться съ беззаконіемъ, упущеніями, халатностью. У Асорина эта борьба непріятно осложняется, кромѣ безтактности, еще и злымъ чувствомъ: ему доставляетъ удовольствіе причинить зло провинившемуся человѣку.

Но при всемъ томъ въ немъ есть и положительныя качества, есть и сознаніе дурныхъ, и желаніе отъ нихъ отдѣлаться. Черты мизантропіи, замашки человѣконенавистничества причиняютъ ему самому душевную боль, приводящую его къ раскаянію и перерожденію. Это перерожденіе, мастерски изображенное въ разсказѣ и мотивированное преимущественно вліяніемъ жены, которую Асоринъ страстно любитъ, было бы похоже на чудо, если бы мы не знали, что въ натурѣ Асорина есть и хорошіе задатки, что онъ очень уменъ, воспитанъ и способенъ къ оздоровляющему самоанализу. Нужны были только извѣстныя условія, чтобы пробудить въ немъ „новаго человѣка". Такими условіями послужили перипетіи и впечатлѣнія, вызванныя народнымъ бѣдствіемъ. Русскіе люди, въ томъ числѣ даже и „русскіе иностранцы", перерождаются легче всего при столкновеніи съ стихійными бѣд-

ствіями Россіи, когда сама жизнь учитъ, какъ порядочному человѣку слѣдуетъ чувствовать и мыслить, и какъ подобаетъ ему относиться къ людямъ и къ тому, что совершается вокругъ него. Образумленный этой очной ставкой, смягченный нравственнымъ вліяніемъ жены, Асоринъ говоритъ ей: „отъ прежняго самого себя я отшатнулся съ ужасомъ, презираю и стыжусь его...". (гл. VII).—

Совсѣмъ иначе реагируетъ на народное бѣдствіе жена Асорина. Это—натура страстная, способная до самоотверженія отдаться дѣлу, которое даетъ ей нравственное удовлетвореніе. Если для Асорина голодающіе являются причиною „безпокойства", то для его жены они—въ своемъ родѣ находка. Несчастная въ личной жизни, она нашла утѣшеніе въ служеніи народу. Въ этомъ она видитъ теперь смыслъ своей жизни. И выходитъ такъ, что она обязана голодающимъ, пожалуй, больше, чѣмъ они ей. Это — одна изъ тѣхъ натуръ, которыя изнываютъ и увядаютъ въ бездѣйствіи, когда не для чего, или не для кого приносить жертвы и самоотвергаться, или когда нѣтъ возможности дѣлать это, и которыя расцвѣтаютъ и обнаруживаютъ незаурядную энергію, дѣловитость и тактъ, какъ только имъ открывается поприще для беззавѣтной альтруистической дѣятельности. Помѣщикъ Иванъ Ивановичъ (о немъ сейчасъ будетъ рѣчь) говоритъ о ней: „Счастливая, ей Богу! Не хлопотала, не безпокоилась, не суетилась, а вышло такъ, что она теперь первая персона во всемъ уѣздѣ. Почти все дѣло у нея въ рукахъ, и около нея всѣ: и докторъ, и земскіе начальники, и барыни. У настоящихъ людей это какъ-то само собой выходитъ...". (гл. VI). — Это понялъ, наконецъ, и самъ Асоринъ. Онъ призналъ нравственное превосходство жены, отрекся отъ своего прошлаго, сталъ „новымъ человѣкомъ". Онъ пріобрѣлъ душевный миръ; голодающіе уже не мѣшаютъ ему спокойно работать; онъ уже не безпокоится и съ чистою совѣстью принимается за прерванный трудъ по исторіи желѣзныхъ дорогъ.—Онъ заканчиваетъ свой разсказъ такими словами: „Какъ летающія ядра и пули на войнѣ не мѣшаютъ солдатамъ говорить о своихъ дѣлахъ, ѣсть и починять обувь, такъ и голодающіе не мѣшаютъ мнѣ спокойно спать и заниматься своими личными дѣлами. У меня въ домѣ, во-

дворѣ и далеко кругомъ кипитъ работа, которую докторъ Соболь называетъ „благотворительною оргіей"; жена часто входитъ ко мнѣ и безпокойно обводитъ глазами мои комнаты, какъ бы ища, что еще можно отдать голодающимъ, чтобы „найти оправданіе своей жизни", и я вижу, что, благодаря ей, скоро отъ нашего состоянія не останется ничего, и мы будемъ бѣдны, но это не волнуетъ меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будетъ дальше, не знаю" (VII).

По всей вѣроятности, и она также не знаетъ, что будетъ дальше. Она, кажется, и не заглядываетъ въ будущее. Ей важенъ ближайшій и непосредственный результатъ „благотворительной оргіи", и ей отраденъ самый процессъ ея, отрадное упоеніе ею.

3.

Иначе относится къ вопросу о голодающихъ, или, лучше сказать, къ тому основному вопросу русской жизни, въ отношеніи къ которому голодающіе являются только частностью и подробностью, симпатичный докторъ Соболь, усердный помощникъ Натальи Гавриловны Асориной, ея, какъ онъ выражается, „лейбъ-медикъ". Онъ говоритъ, что русская деревня доселѣ „такая же, какъ еще при Рюрикѣ была, нисколько не измѣнилась, тѣ же печенѣги и половцы. Только и знаемъ, что горимъ, голодаемъ и на всѣ лады съ природой воюемъ". (VI).—Это, разумѣется, преувеличеніе, но въ немъ есть доля правды, какъ есть она и въ утвержденіи Соболя, что „если вдуматься, вглядѣться и разобрать эту, съ позволенія сказать, кашу, то вѣдь это не жизнь, а пожаръ въ театрѣ!".—Вѣчная борьба со стихіями, съ пожарами, съ неурожаями, голодовками, эпидеміями—вотъ къ чему сводится то, что называется русскою народною жизнью, деревенскою „культурою", крестьянскимъ хозяйствомъ. Оттуда докторъ Соболь выводитъ такое практическое заключеніе: „Тутъ кто падаетъ или кричитъ отъ страха и мечется, тотъ — первый врагъ порядка. Надо стоять прямо и глядѣть въ оба... Тутъ ужъ нѣкогда нюни распускать и мелочами заниматься...". (VI).

Благотворительность онъ считаетъ дѣломъ, хотя и необходимымъ, но безплоднымъ. Можно спасти много людей отъ голодной смерти, но вѣдь это — сизифова работа. „Трудно что-нибудь сдѣлать".—говоритъ онъ Асорину:— „Ваша супруга вѣритъ, я преклоняюсь передъ ней и уважаю, но самъ глубоко не вѣрю. Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ пріютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. *Отношенія наши* [1]) *должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости...*".

Эти мысли характеризуютъ не только доктора Соболя, но еще больше самого Чехова, которому было чуждо сентиментальное отношеніе къ народу, какъ была чужда и его идеализація. Характерны эти мысли и для эпохи, когда старое народничество разлагалось и когда подготовлялся пересмотръ всѣхъ нашихъ воззрѣній на крестьянство и на отношенія къ нему передовой интеллигенціи. Старый догматъ, гласившій, что интеллигенція—ничто, а народъ — все, и обязывавшій всѣхъ, желающихъ добра народу и стремящихся къ плодотворной работѣ на благо народа, непремѣнно жертвовать для этого блага своими интересами, положеніемъ, даже жизнью,—этотъ народническій догматъ уже терялъ свою власть надъ умами. Наступало отрезвленіе, и сама собою напрашивалась мысль, что героизмъ и самопожертвованіе — это, такъ сказать, привилегія избранныхъ натуръ, что на этомъ нельзя обосновать отношеній между двумя классами или слоями населенія и что дѣло будетъ гораздо прочнѣе и пойдетъ скорѣе впередъ, если эти отношенія станутъ „дѣловыми" и будутъ основаны „на расчетѣ знаніи и справедливости".

Чехову не трудно было придти къ этой здравой и жизнеспособной идеѣ: весь строй его мышленія, дисциплина его ума, духъ времени и, можетъ быть, даже крестьянское происхожденіе этого необыкновеннаго человѣка,—все благопріятствовало вышеуказанной раціональной постановкѣ мудренаго вопроса. Докторъ Соболь пришелъ къ

---

*) Къ народу. Курсивъ мой.

тому же тернистымъ путемъ непосредственной дѣятельности среди народа, подъ отрезвляющими впечатлѣніями самой жизни. Онъ много трудится какъ земскій врачъ и какъ участникъ въ борьбѣ съ голодомъ. При этомъ, какъ водится, вознагражденіе, имъ получаемое, очень ограничено („табаку купить иной разъ не на что“). Это одинъ изъ тѣхъ скромныхъ тружениковъ, о которыхъ Чеховъ отзывался съ такимъ уваженіемъ и которые, не претендуя на героическую роль, въ дѣйствительности приносятъ въ жертву народу свое личное благополучіе. На замѣчаніе Асорина, что за то онъ имѣетъ нравственное удовлетвореніе, Соболь отвѣчаетъ такъ: „Чего-съ? Нѣтъ, давайте ужъ лучше выпьемъ“. (VI).

Онъ—представитель той среды, которую Асоринъ совсѣмъ не знаетъ и понять не умѣетъ. Эта среда („третій элементъ“) стоитъ близко къ народу, и лица, ее составляющія, заняты работой, имѣющей ближайшее, прямое отношеніе къ жизни крестьянства. И большею частью это—люди, хорошо воспитанные въ духѣ нашихъ интеллигентскихъ идеологій и морально подготовленные для тяжелой работы, для изнурительной жизни земскаго врача, фельдшера, народнаго учителя, земскаго статистика. Благодаря живой и трудной дѣятельности и суровымъ впечатлѣніямъ дѣйствительности, они по большей части значительно уклоняются отъ обычнаго типа и господствующаго умонастроенія городского интеллигента, который знаетъ мужика только по книгамъ и по-наслышкѣ и имѣетъ дѣло не столько съ народомъ, сколько съ идеей народа.

Въ то глухое время, о которомъ идетъ рѣчь, при относительномъ упадкѣ идеологическаго „творчества“ и соотвѣтственнаго настроенія, соприкосновеніе съ условіями народной жизни и практическая дѣятельность, напр., въ качествѣ земскаго врача, дѣйствовали не только отрезвляющимъ, но и осложняющимъ образомъ. Вопросы, казавшіеся рѣшенными, оказывались совсѣмъ нерѣшенными или неправильно поставленными. Готовыя, привычныя формы интеллигентскаго мышленія разбивались при столкновеніи съ суровою дѣйствительностью; содержаніе, въ эти формы вложенное, расплывалось въ этой, какъ выражается Соболь, „съ позволенія сказать, кашѣ“. Борьба

со стихіями, зрѣлище жизни, напоминающей „печенѣговъ и половцевъ“, сизифова работа врачеванія людей, которымъ нечего ѣсть, необходимость считаться съ ужасающими, антигигіеническими условіями обстановки и образа жизни населенія,—все это осложняло и значительно измѣняло обычную систему мышленія и чувствованія интеллигентнаго человѣка, перенесеннаго изъ городскихъ кружковъ, гдѣ такъ уютно, въ уѣздную глушь, въ деревенскую среду, гдѣ невольно вспоминаются печенѣги и половцы. Нѣсколько лѣтъ жизни въ этой глуши могутъ измѣнить душевный міръ человѣка до неузнаваемости, перевернуть его міросозерцаніе, и посторонній наблюдатель станетъ втупикъ, если захочетъ подвести этого человѣка подъ опредѣленный шаблонъ. Народникъ, либералъ, соціалистъ, оптимистъ, пессимистъ—всѣ эти термины не подходятъ, не объясняютъ, не опредѣляютъ человѣка, переутомленнаго на земской службѣ, надрывающагося надъ сизифовой работой. Выходитъ такъ, какъ будто эти слова хороши и имѣютъ смыслъ только въ городахъ, въ интеллигентской средѣ, а „въ глубинѣ Россіи“ какъ-то сразу обезцѣниваются, вывѣтриваются, точно тамъ въ самомъ дѣлѣ живутъ половцы и печенѣги. И мнѣ сдается, что если спросить доктора Соболя: „вы народникъ? какого оттѣнка? каковы ваши идеалы?“ и т. п., то онъ отвѣтилъ бы: „чего-съ? нѣтъ ужъ давайте лучше выпьемъ...“.

Асоринъ, которому вообще чужда душевная складка нашей передовой интеллигенціи, совсѣмъ ужъ не можетъ взять въ толкъ, что за человѣкъ докторъ Соболь. — „Я слушалъ доктора, — говоритъ онъ, — и по своей всегдашней привычкѣ подводилъ къ нему свои обычныя мѣрки— матеріалистъ, идеалистъ, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мѣрка не подходила даже приблизительно...“. И Соболь, этотъ простой и наивный человѣкъ, кажется ему необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой... (VI).

4.

Понятнѣе Асорину другое лицо, которое для тѣхъ, кто не знаетъ, какъ много въ Россіи сохраняется стран-

ныхъ пережитковъ старины, представится фигурою загадочною, можетъ быть, сочиненною. Это—помѣщикъ Иванъ Ивановичъ Брагинъ, о которомъ трудно сказать, какая обломовщина создала его, дореформенная или пореформенная. Въ молодости онъ былъ живой, дѣятельный и передовой человѣкъ, имѣлъ репутацію чуть ли не „краснаго“ и „славился... какимъ-то особеннымъ выраженіемъ лица, которое очаровывало не только женщинъ, но и мужчинъ; теперь же онъ совсѣмъ постарѣлъ, заплылъ жиромъ и доживалъ свой вѣкъ *безъ направленія и выраженія...*“. [1]).

Былъ человѣкъ и — весь вышелъ. Осталось въ немъ только безконечное благодушіе и простодушіе, да еще теплится, какъ искорка, несомнѣнный умъ, проницательный и насмѣшливый. Его душа погружена въ какую-то летаргію; онъ не говоритъ, а бормочетъ или по цѣлымъ часамъ сидитъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи. Если вникнуть въ его бормотаніе, то окажется, что онъ очень умно бормочетъ. При желаніи и при случаѣ можно найти тамъ нѣчто такое, что покажется по-своему, по-черноземному, по-русски, по-обломовски „мудрымъ“. По крайней мѣрѣ жена Асорина придаетъ его бормотанію особый смыслъ и слушаетъ его съ благоговѣніемъ (гл. Ш). Къ голоду и прочимъ бѣдствіямъ онъ относится философически, съ фаталистическимъ спокойствіемъ. На просьбу Асорина дать совѣтъ онъ отвѣчаетъ: „А? Я человѣкъ сырой, отупѣлъ... Какіе мои совѣты? И вы напрасно безпокоитесь... Не безпокойтесь, голубчикъ! Ей-Богу, ничего нѣтъ“.— „Какъ же ничего?“ — возражаетъ Асоринъ. — „Мужики сдираютъ съ избъ крыши, и уже, говорятъ, гдѣ-то тифъ“.— „Ну, такъ что же? Въ будущемъ году уродитъ, будутъ новыя крыши, а если помремъ отъ тифа, то послѣ насъ другіе люди жить будутъ. И все равно помирать надо, не теперь, такъ послѣ. Не безпокойтесь, красавецъ!“ (П). Тѣмъ не менѣе онъ является, судя по всему, однимъ изъ главныхъ дѣятелей въ борьбѣ съ голодомъ. По крайней мѣрѣ, онъ — лучшій совѣтникъ Асориной, которая дѣйствуетъ по его указаніямъ.

---

*) Курсивъ мой.

Этотъ симпатичный чудакъ, alter ego тургеневскаго Увара Ивановича (въ „Накануне"), представляетъ собою любопытный пережитокъ старой, крѣпостнической Руси, когда встрѣчались добрые помѣщики, у которыхъ крестьяне жили „какъ у Христа за пазухой", которые содержали огромный штатъ дворовыхъ, неохотно уходившихъ отъ нихъ послѣ реформы 1861 г. на волю, предпочитая сытое рабство и тунеядство труду и свободѣ. Его домъ— живая иллюстрація патріархальнаго симбіоза добраго барина съ довольными и сытыми рабами,—симбіоза, продолжающагося десятки лѣтъ спустя послѣ отмѣны крѣпостного права. Изъ принудительнаго онъ превратился въ добровольный. — Асорина поразило въ домѣ Ивана Ивановича обиліе дворни и ненужныхъ слугъ. „Откуда у него столько народу?" спрашиваетъ онъ доктора Соболя. — „Это все его крѣпостные, — отвѣчаетъ Соболь.— До него еще не дошло Положеніе. Кой-кто изъ старой прислуги свой вѣкъ доживаетъ, ну, сиротки разныя, которымъ дѣваться некуда; есть и такіе, что насильно живутъ, не выгонишь. Чудной старикъ!". (VII).

„Философія" чудного старика—совсѣмъ русская, фаталистическая, обломовская. На замѣчаніе Асорина, что нужно дѣйствовать „по-военному: глазомѣръ, быстрота и натискъ", онъ отвѣчаетъ „сонно и вяло, какъ будто засыпая: Да, быстрота... Только ничего не подѣлаешь. Земля не уродила, такъ что ужъ тутъ... никакимъ глазомѣромъ и натискомъ не проймешь... Стихія... Противъ Бога и судьбы не пойдешь...". — „У меня тоже ничего не уродило, — засмѣялся онъ тонкимъ голосомъ и хитро подмигнулъ, какъ будто это въ самомъ дѣлѣ было очень смѣшно.—Денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, а работниковъ полонъ дворъ, какъ у графа Шереметьева. Хочу по шеямъ разогнать, да жалко какъ будто...". (II).

Философія покорности „стихіямъ", осложненная благодушіемъ, таитъ въ себѣ элементы своеобразнаго „непротивленія злу" или „всепрощенія", психологическою подкладкою котораго несомнѣнно является лѣнь, неповоротливость воли и неумѣніе бороться со зломъ и всякими бѣдствіями, стихійными и иными. Но это явленіе, глубоко русское, сложнѣе, чѣмъ кажется. Въ немъ есть еще

и другіе элементы, напр., есть скрытое опасеніе, какъ бы отъ попытки бороться со зломъ не вышло еще хуже, есть и родъ этическаго осужденія нѣкоторыхъ пріемовъ въ борьбѣ со зломъ. Такъ, Иванъ Ивановичъ осуждаетъ всѣхъ, кто „обижается“, въ томъ числѣ и Асорина, который „обидѣлся“ за то, что у него украли 20 кулей ржи изъ амбара. „Обижаться“ не слѣдуетъ, ибо „голодъ не картошка, голодный и грубости говоритъ, и воруетъ, и, можетъ быть, еще что похуже... Понимать надо...“ (П). И Иванъ Ивановичъ вспоминаетъ случай, когда (давно это было), во время голода, на него и покойнаго пріятеля его Θедора Θедоровича напали три мужика съ цѣлью грабежа. Пріятели скрутили мужиковъ и привели въ кухню. „И зло на нихъ беретъ, и глядѣть стыдно: мужики-то знакомые и народъ хорошій, жалко... Я и говорю Θедѣ: не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ накормилъ ихъ, далъ по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ шуту!.. Царство небесное, вѣчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько народу перепортили!..“. (П).—Въ противоположность этому онъ разсказываетъ, какъ недавно нѣкій помѣщикъ, у котораго украли 20 кулей ржи, „сейчасъ бухъ губернатору телеграмму, потомъ другую бухъ прокурору, третью исправнику, четвертую слѣдователю...“. Умный старикъ отлично знаетъ, что это сдѣлалъ Асоринъ, которому онъ все это разсказываетъ... „Извѣстно,— говоритъ онъ, — кляузниковъ боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасія. Двѣ деревни обыскали“.

На это Асоринъ возражаетъ, что „сдѣлалъ это не изъ любви къ кляузничеству, и не потому, что обижался“, а потому, что „*на всякое дѣло онъ смотритъ съ принципіальной стороны... Крадетъ ли сытый или голодный— для закона безразлично*“. [1]).

Вотъ именно эта „принципіальная“ точка зрѣнія казалась многимъ (и не только такимъ чудакамъ, какъ Иванъ Ивановичъ) неподходящею къ условіямъ нашей жизни, обуреваемой стихійными бѣдствіями и безсильной противодѣйствовать имъ. „Гдѣ ужъ! Что ужъ!“. — И самъ Асо-

---

*) Курсивъ мой.

ринъ въ концѣ-концовъ логически или, лучше сказать, *психологически* (психологія зачастую замѣняетъ у насъ логику) приходитъ къ тому же выводу. Онъ понялъ, что въ самомъ дѣлѣ не слѣдовало при нашихъ порядкахъ и при данныхъ обстоятельствахъ „бухать" телеграммами губернатору, прокурору и другимъ блюстителямъ русской законности. Онъ понялъ, что тамъ, гдѣ населеніе еще борется со стихіями, гдѣ, по выраженію Соболя, „не жизнь, а, съ позволенія сказать, каша и пожаръ въ театрѣ", гдѣ нѣтъ гарантіи законности и нѣтъ даже элементарнаго правосознанія,—тамъ упрямый и безоглядный культъ закона („fiat justitia, pereat mundus"), не различающаго между сытыми и голодными, грозитъ еще пущими несправедливостями и бѣдствіями и изобличаетъ не столько культурность, сколько дурной характеръ поборника законности, „бухающаго" телеграммами. И Иванъ Ивановичъ говоритъ Асорину: „Павелъ Андреичъ, скажу я вамъ по-дружески: перемѣните вашъ характеръ! тяжело съ вами! голубчикъ, тяжело!". (II). — Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ ему такъ: „...Люблю васъ крѣпко, но не уважаю... Невозможно васъ уважать, голубчикъ. Съ виду вы будто и настоящій человѣкъ. Наружность у васъ и осанка какъ у французскаго президента Карно... Говорите вы высоко, и умны вы... Но, голубчикъ, у васъ душа не настоящая... Силы въ ней нѣтъ... Да". (VI).

Мы знаемъ, что Асоринъ послушался совѣта Ивана Ивановича: перемѣнилъ характеръ. И мы видѣли выше, какъ именно и почему это случилось. Къ сказанному тамъ прибавлю только слѣдующее. Иностранцу, не знающему условій нашей жизни и не понимающему нашей національной психологіи, такой казусъ покажется невѣроятнымъ. Но мы хорошо знаемъ, что у насъ „характеры" довольно легко мѣняются то въ ту, то въ другую сторону, то къ худшему, то къ лучшему,—по дуновенію вѣяній и по давленію обстоятельствъ, ибо настоящихъ „характеровъ" у насъ нѣтъ, а есть только ихъ возможность (въ будущемъ), ихъ фикція или какъ бы видимость.

5.

„Видимость характера“ Асорина въ общемъ уже извѣстна намъ: это „русскій иностранецъ“, мизантропически настроенный въ отношеніи ко всему русскому, къ мужику, къ интеллигенціи. По-своему онъ — передовой человѣкъ, но его идеи и стремленія не находятъ почвы въ русской жизни. Асоринъ — человѣкъ, которому въ Россіи, если можно такъ выразиться, не за что уцѣпиться. Все дурное и все хорошее, все отсталое и все передовое въ Россіи ему одинаково не нравится. Вотъ какъ характеризуетъ его жена: „У васъ честный образъ мыслей, и потому вы ненавидите весь міръ. Вы ненавидите вѣрующихъ, такъ какъ вѣра есть выраженіе неразвитія и невѣжества, и въ то же время ненавидите и невѣрующихъ за то, что у нихъ нѣтъ вѣры и идеаловъ; вы ненавидите стариковъ за отсталость и консерватизмъ, а молодыхъ—за вольнодумство. Вамъ дороги интересы народа и Россіи, и потому вы ненавидите народъ, такъ какъ въ каждомъ подозрѣваете вора и грабителя...“ (V).

Если Иванъ Ивановичъ Брагинъ—типъ архаическій и пережитокъ старины, то и Асоринъ представляется намъ также архаическимъ явленіемъ и пережиткомъ прошлаго, только въ другомъ родѣ. Онъ — прямой потомокъ тѣхъ русскихъ мизантроповъ, недовольныхъ и старымъ, и новымъ, которые стали появляться у насъ вслѣдъ за реформой Петра Великаго. Въ XVIII вѣкѣ мы найдемъ цѣлую коллекцію этихъ, по выраженію Герцена, „иностранцевъ дома“, которые представляли въ Россіи „какую-то умную ненужность“ и „терялись въ искусственной жизни и въ нестерпимомъ эгоизмѣ“ [1]). Они брюзжали на все и на всѣхъ и отравляли жизнь окружающимъ. Всѣмъ было тяжело съ ними, и, какъ выражается Иванъ Ивановичъ объ Асоринѣ, „душа у нихъ была ненастоящая“,—„силы въ ней не было“.

Таковъ былъ ихъ „характеръ“. Въ XIX вѣкѣ этотъ тяжелый „характеръ“ отщепенцевъ пошелъ на убыль, но

*) „Былое и Думы“, ч. I, гл. V.

нѣкоторыя черты его, передаваясь наслѣдственнымъ путемъ, сохраняются доселѣ. „Характеръ“, можно сказать, исчезъ, но „видимость“ его осталась, какъ пережитокъ, какъ отголосокъ,—и Асоринъ представляетъ собою ея художественное воплощеніе.

Прежніе представители этого типа были въ ряду нашихъ „лишнихъ людей“, пожалуй, самыми лишними. Въ своихъ отношеніяхъ къ окружающей средѣ, къ русской дѣйствительности они не проявляли той доли снисхожденія, гуманности и любопытства, какая безусловно необходима для того, чтобы человѣкъ понемногу переставалъ быть „иностранцемъ дома“, чуждымъ всему, что творится вокругъ. Чеховскій Асоринъ представляетъ собою уже дальнѣйшее перерожденіе и смягченіе этого типа. Правда, снисхожденія и гуманности у него еще мало (хотя, повидимому, онъ въ сущности лучше, добрѣе, мягче, чѣмъ это кажется по его запискамъ, въ которыхъ онъ не щадитъ себя), но зато онъ обнаруживаетъ несомнѣнное и очень дѣятельное любопытство. Широко раскрытыми, удивленными глазами смотритъ онъ на новыя для него явленія русской жизни; онъ задумывается надъ ними; онъ пораженъ ихъ сложностью, и ему хотѣлось бы разгадать ихъ скрытый смыслъ. Выше мы видѣли, какъ ломалъ онъ голову надъ мудренымъ вопросомъ: что есть Соболь? Простодушный докторъ показался ему натурою необыкновенно сложною и непонятною. Съ еще большимъ любопытствомъ вглядывается онъ въ натуру своей жены и приходитъ къ заключенію, что до сихъ поръ онъ совсѣмъ не понималъ и не зналъ ея. Однажды онъ замѣтилъ въ выраженіи ея лица и въ ея позѣ „что-то монашеское и психопатическое“, и это показалось ему загадочнымъ (III).—Въ гл. V онъ пишетъ: „Наружность ея я зналъ хорошо и цѣнилъ по достоинству, но ея душевный, нравственный міръ, умъ, міросозерцаніе, частыя перемѣны въ настроеніи, ея ненавидящіе глаза, высокомѣріе, начитанность, которою она иногда поражала меня, или, напр., монашеское выраженіе, какъ вчера, — все это было мнѣ неизвѣстно и непонятно...“. — Ссоры съ женой, ея слезы, ея увлеченіе дѣломъ спасенія голодающихъ натолкнули его на новыя мысли и вызвали въ

немъ „страстное желаніе знать больше“ о женщинѣ, которая считаетъ себя несчастною въ бракѣ съ нимъ и которую онъ такъ не понимаетъ и такъ мучительно любитъ. Отъ другихъ онъ слышитъ восторженные отзывы о ней, и это еще больше возбуждаетъ его любопытство.—„Разскажите мнѣ что-нибудь про мою жену,—говоритъ онъ Ивану Ивановичу:—вы ее больше знаете“ (VI).

Съ изумленіемъ приходится ему признать, что жена насквозь видитъ и отлично понимаетъ его. Мало того: она открыла ему глаза и научила его понимать самого себя. Когда, по случаю голода, онъ переживалъ смутное и сложное чувство безпокойства, она „какъ переводчикъ, по-женски, но ясно истолковала ему смыслъ его тревоги“. И онъ понялъ, что весь секретъ не въ голодающихъ, а въ томъ, что онъ не такой человѣкъ, „какъ нужно“ (V).—То же самое, какъ мы знаемъ, „истолковалъ“ ему и Иванъ Ивановичъ.

Отъ жены онъ узналъ, что его отчужденность, недовѣрчивость, мизантропія, въ сущности, свидѣтельствуютъ вовсе не о высшемъ развитіи, не о культурности, а напротивъ, о душевной грубости, о недостаткѣ настоящаго, человѣчнаго воспитанія, объ унаслѣдованныхъ отъ предковъ, „людей ничтожныхъ и жестокихъ“, чертахъ варварства. „Это — грубость нравовъ, — говоритъ она. — Вы образованы и воспитаны, но въ сущности какой вы еще... скиѳъ! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни съ кѣмъ не видаетесь и не читаете ничего, кромѣ вашихъ инженерныхъ книгъ. *А вѣдь есть хорошіе люди, хорошія книги!* [1]) (V).

Золотыя слова! Въ Россіи, конечно, есть достаточно основаній, чтобы человѣкъ, имѣющій нѣкоторые задатки душевной грубости, огрубѣлъ еще больше и превратился въ угрюмаго отщепенца. Но всякому такому отщепенцу слѣдуетъ знать, что у насъ, на Руси, за всѣмъ тѣмъ, были, есть и будутъ *хорошіе люди и хорошія книги,* и что слѣдовательно въ Россіи жить можно. Всѣмъ гг. Асоринымъ мы отъ души посовѣтуемъ поскорѣе перемѣнить свой характеръ, — вѣдь это, благодаря содѣйствію

---

*) Курсивъ мой.

хорошихъ людей и хорошихъ книгъ и при нѣкоторомъ любопытствѣ въ отношеніи къ тому, что происходитъ въ этой огромной, нескладной странѣ, является дѣломъ не очень ужъ труднымъ....

Оно облегчается еще тѣмъ, что участь отщепенца, „русскаго иностранца“ стала слишкомъ тяжела. Когда, послѣ рѣшительной ссоры съ женой, Асоринъ рѣшилъ было уѣхать, то вотъ какія горькія мысли приходили ему въ голову по дорогѣ на станцію: „Изъ милліонной толпы людей, совершавшихъ народное дѣло, сама жизнь выбрасывала меня, какъ ненужнаго, неумѣлаго, дурного человѣка. Я помѣха, частица народнаго бѣдствія, меня побѣдили, выбросили, и я спѣшу на станцію, чтобы уѣхать и спрятаться въ Петербургѣ, въ отелѣ на Большой Морской...“ (VI).

Страхъ и холодъ нравственнаго одиночества вызываютъ даже въ такомъ положительномъ и трезвомъ человѣкѣ, какъ Асоринъ, властную и спасительную иллюзію о „милліонной толпѣ людей“, будто бы „дѣлающихъ народное дѣло“, между тѣмъ какъ въ данномъ случаѣ его дѣлалъ кружокъ мѣстныхъ обывателей, съ восторженною женою Асорина и заспаннымъ Иваномъ Ивановичемъ Брагинымъ во главѣ. „Милліонъ“ померещился Асорину потому только, что проѣзжая Пестрово, онъ увидалъ „порядокъ жизни“ вмѣсто стоновъ и воплей: „глядя на улыбающагося мужика, на мальчика съ громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понималъ теперь, *что нѣтъ такого бѣдствія, которое могло бы побѣдить этихъ людей; мнѣ казалось, что въ воздухѣ уже пахнетъ побѣдой, я гордился и готовъ былъ крикнуть имъ, что я тоже съ ними...*“. [1]) (VI).

Если сложить въ умѣ выносливость и безпечность народныхъ массъ, кажущіяся какой-то „силой“, съ идеализмомъ и самоотверженностью нашей интеллигенціи, которые—въ самомъ дѣлѣ сила (но только безъ точки приложенія), то въ душѣ не только Асориныхъ, но и многихъ другихъ получается въ итогѣ иллюзорное впечатлѣніе ка-

---

*) Курсивъ мой.

кой-то огромной величины, какой-то мощи, какихъ-то „милліоновъ людей, дѣлающихъ народное дѣло“...

Съ этой иллюзіей мы еще встрѣтимся въ дальнѣйшемъ.

ГЛАВА VII.

Левъ Николаевичъ Толстой въ 80-хъ и 90-хъ годахъ.

1.

Въ свое время мы указали на симптоматическую для эпохи 80-хъ годовъ популярность идей *Достоевскаго* въ томъ видѣ, какъ онѣ выразились въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ и также въ послѣднихъ выпускахъ „Дневника писателя“. Мы упомянули тамъ же и о появившемся въ 80-хъ годахъ религіозно-моральномъ ученіи *Толстого*, которое вскорѣ привлекло къ себѣ всеобщее вниманіе (и не только у насъ, но и за границей) и, наряду съ идеями Достоевскаго, можетъ по праву быть разсматриваемо, какъ одно изъ знаменій времени. Около 10 лѣтъ спустя, къ половинѣ 90-хъ годовъ, когда проповѣдь Толстого приняла болѣе опредѣленную и рѣзкую форму, религіозныя и моральныя идеи „великаго писателя земли русской“ получили особое значеніе, какъ видный, хотя и очень своеобразный факторъ освободительнаго движенія. Идеи Достоевскаго *такого* значенія не имѣли и не могли имѣть. Ихъ шумный успѣхъ въ глухое время 80-хъ годовъ, какъ и слѣдовало ожидать, былъ лишь временнымъ и, говоря по правдѣ, оказался мишурнымъ. Прочнаго и благотворнаго слѣда въ общественномъ сознаніи онѣ оставить не могли. И уже въ концѣ 80-хъ годовъ было замѣтно, какъ постепенно остывало увлеченіе ими, и какъ шла на убыль популярность Достоевскаго—публициста и мыслителя. А между тѣмъ потребность въ религіозно-моральной проповѣди давала себя чувствовать. Мыслящая часть общества, преимущественно въ лицѣ младшихъ поколѣній, думала именно здѣсь (и, конечно, также въ метафизической философіи) найти отвѣты на такъ называемые „проклятые

вопросы" и отправныя точки для построенія новой идеологіи взамѣнъ старыхъ, казавшихся изжитыми. Оттуда—повышенный интересъ къ ученію Толстого и къ философскимъ воззрѣніямъ школы философовъ-метафизиковъ, выступившихъ въ концѣ 70-хъ годовъ и въ 80-хъ (проф. *Козловъ*, проф. *Лопатинъ*, проф. *Н. Я. Гротъ* (метафизикъ съ конца 80-хъ гг.), кн. *С. Н. Трубецкой*),—школы, главою которой по праву признавался *В. С. Соловьевъ*, своеобразный мыслитель-мистикъ, одаренный несомнѣннымъ творчествомъ идей, смѣлый проповѣдникъ и даровитый писатель, ставшій къ концу 80-хъ годовъ однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей „оппозиціи".

Судьбѣ угодно было, чтобы моральный и религіозный кризисъ, пережитый Толстымъ, разрѣшился — созданіемъ извѣстнаго вѣроученія — какъ разъ къ тому времени, когда русское передовое общество и молодежь, послѣ всѣхъ испытаній и разочарованій конца 70-хъ годовъ, оказались предрасположенными прислушиваться къ проповѣдямъ моралистовъ, въ особенности къ ученію о „самосовершенствованіи", объ исканіи „истины" внутри себя, о чемъ такъ горячо говорилъ и писалъ Достоевскій.

Толстой пережилъ извѣстный кризисъ въ половинѣ 70-хъ годовъ. Черезъ 4 года, въ 1879 г., онъ описалъ его въ „Исповѣди", опубликованіемъ которой онъ и выступилъ въ 1882 г. на поприще вѣроучителя и проповѣдника новой морали *).

Въ нашу задачу не входитъ ни изложеніе, ни критика ученія Толстого, которое интересуетъ насъ здѣсь лишь какъ явленіе 80-хъ и 90-хъ годовъ, какъ одно изъ умственныхъ теченій того времени. И мы постараемся ретроспективно уяснить себѣ, чего искали и что находили въ этомъ ученіи читатели сперва 80-хъ, потомъ 90-хъ годовъ и какъ должны были влiять на умы сочиненія Толстого, излагающія его новыя воззрѣнія („Исповѣдь", „Въ чемъ моя вѣра" и др.), въ особенности же его художественныя произведенія, написанныя съ точки зрѣнія этихъ воззрѣній,— „Чѣмъ люди живы" и другія „легенды", „Власть тьмы",

*) „Исповѣдь" должна была появиться въ „Русской Мысли", но была изъята цензурой.

„Смерть Ивана Ильича“, „Крейцерова соната“, „Воскресеніе“.

На первыхъ же страницахъ „Исповѣди“ читатель встрѣтилъ то, что русскому мыслящему человѣку, ищущему „своей вѣры“, такъ по сердцу: самообличеніе, рѣзкое отрицаніе всей своей прошлой жизни и дѣятельности, покаяніе. Эти страницы сразу привлекли къ Толстому вниманіе и сочувствіе нашей передовой интеллигенціи и молодежи. Нужно вспомнить, что до тѣхъ поръ, несмотря на всеобщее признаніе, на титулъ „великаго писателя земли русской“ данный ему Тургеневымъ, невзирая также на вниманіе, въ общемъ сочувственное, какое удѣляла ему въ свое время критика Михайловскаго, Толстой отнюдь не былъ „властителемъ думъ“ и никогда не пользовался такой сенсаціонной популярностью, какая выпадала на долю другихъ великихъ писателей земли русской. Толстого всѣ признавали великимъ художникомъ; цѣнители и любители ставили его выше Тургенева, Гончарова, Достоевскаго; но ни „Война и миръ“, ни „Анна Каренина“, эти перлы русскаго искусства и верхи художественнаго реализма, не произвели достаточно-сильнаго воздѣйствія на широкую публику. Читатель 60-хъ и 70-хъ годовъ не находилъ здѣсь ни отвѣтовъ, ни указаній по вопросамъ, его интересовавшимъ. Авторъ казался нашей интеллигенціи чужимъ, стоящимъ въ сторонѣ отъ движенія умовъ; его геніальныя творенія причислялись къ сферѣ „чистаго искусства“, отъ котораго никакого прока нѣтъ. Сокровища психологическаго анализа и глубина идей, связанныя съ типами и картинами Толстого, пропадали для русскаго читателя 60—70-хъ годовъ даромъ, какъ пропали въ тѣ же годы Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тютчевъ и др.

Не подозрѣвали читатели того времени и того, что въ раннихъ повѣстяхъ Толстого, въ „Войнѣ и мирѣ“ и „Аннѣ Карениной“ воспроизведено въ художественной переработкѣ множество личныхъ переживаній автора, представляющихъ огромный психологическій и моральный интересъ, и что поэтъ, которому столь чужды направленія и идеологическіе шаблоны разночинной интеллигенціи, психологически стоитъ къ ней гораздо ближе другихъ нашихъ крупныхъ писателей, кромѣ, пожалуй, Достоевскаго. Читатели проглядѣли то, что этотъ „аристократъ“ и бытописатель великосвѣтскаго круга,

пережилъ свою полосу народническихъ увлеченій и все время не переставалъ биться надъ рѣшеніемъ тѣхъ же мудреныхъ задачъ, надъ которыми всегда трудилась въ потѣ лица передовая часть русскаго общества, какъ-то вопросъ о „смыслѣ жизни", объ отношеніи „общества къ народу", о „прогрессѣ" вообще и всероссійскомъ въ частности.

И вотъ теперь, когда „Исповѣдь" дала возможность читателямъ заглянуть во внутренній міръ Толстого, наша интеллигенція почувствовала въ этомъ „великосвѣтскомъ" писателѣ своего брата. Это „открытіе" вызвало живой интересъ не только къ новымъ произведеніямъ Толстого, но и къ прежнимъ. Толстой-исповѣдникъ и моралистъ, столь безпощадно осудившій всю свою предшествующую литературную дѣятельность, заставилъ насъ обратиться къ Толстому-художнику, перечитать и „Войну и миръ", и „Анну Каренину", и повѣсти 50—60-хъ годовъ; отчасти содѣйствовала этому и высокая оцѣнка художественныхъ произведеній Толстого, сдѣланная на Западѣ; въ 80-хъ годахъ Толстой-художникъ пріобрѣлъ всемірную славу,— „прославился" онъ и у насъ: „Войну и миръ" и другія произведенія великаго писателя стали теперь понимать и цѣнить не только любители высокаго искусства, но и всѣ мыслящіе русскіе люди...

2.

80-е годы были въ своемъ родѣ эпохой „великихъ открытій": мы „открыли" тогда не только Достоевскаго и Толстого, но даже Пушкина, казалось, совсѣмъ похороненнаго въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. Произведенія нашихъ классиковъ получили новую литературную жизнь, и это не могло не отразиться на умственномъ складѣ и міросозерцаніи новыхъ поколѣній. Молодая интеллигенція 80-хъ и 90-хъ годовъ, можно сказать, воспитывалась на Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Гоголѣ и ихъ преемникахъ. Установился наконецъ взглядъ на произведенія нашихъ великихъ поэтовъ, какъ на непреходящія умственныя блага, которыми слѣдуетъ дорожить. Возникъ и интересъ къ такъ называемому „чистому искусству". Реабилитація искусства, признаніе

его цѣнности an sich тѣсно связывались съ повышеннымъ интересомъ къ метафизическимъ и религіознымъ вопросамъ, съ признаніемъ ихъ важности, ихъ значенія въ умственной и моральной жизни человѣчества. Недавнее огульное „нигилистическое“ отрицаніе кончилось,—и молодое поколѣніе пріучилась мыслить, стремиться впередъ, рѣшать всякіе вопросы, творить новую идеологію и т. д.—такъ, чтобы при этомъ не было обидно ни чистому искусству, ни Пушкину, ни Канту, ни метафизикѣ, ни религіи. Отрицаніе смѣнилось признаніемъ, реабилитаціей великихъ именъ и вѣковѣчныхъ проблемъ.

И вдругъ въ самый разгаръ этихъ „новыхъ“ духовныхъ интересовъ, когда мы „признали“ и „чистое искусство“, и Пушкина, и Канта, и чуть ли не самого Платона, послышались странныя рѣчи, отчасти напоминавшія то, что говорилось въ 60-хъ годахъ, въ классическую эпоху „нигилизма“; на первый взглядъ могло показаться, что опять начинаютъ отрицать „чистое искусство“ и Пушкина, не хотятъ „признавать“ Канта и т. д., мало того: намъ послышалось даже нѣчто такое, что невольно напомнило намъ парадоксы тургеневскаго Базарова...

Это было похоже на какую-то галлюцинацію слуха. Что же оказалось? Оказалось, что это говоритъ Л. Н. Толстой. Съ своей новой точки зрѣнія, совершенно по-русски, „нигилистически“ онъ объявилъ ничтожною, суетною и безполезною всю свою дѣятельность, какъ художественную, такъ и педагогическую: и „Война и миръ“—вздоръ, и яснополянская школа—пустяки, да и вообще всякое искусство и вся литература со всѣми ея направленіями служатъ только для самоуслажденія, для полученія гонораровъ и никакой пользы не приносятъ ни образованному обществу, ни трудящемуся народу, который книгъ не читаетъ. Народу эта „высшая культура“ приноситъ даже вредъ, потому что прямо или косвенно существуетъ и развивается на его счетъ.

И намъ чудилась какая-то странная помѣсь „нигилизма“ 60-хъ годовъ съ узкимъ народничествомъ 80-хъ (въ духѣ, напр., теорій Юзова-Каблица), когда мы читали слѣдующія строки:

„...Я наивно воображалъ, что я—поэтъ, художникъ, и могу учить всѣхъ, самъ не зная, чему я учу. Я такъ и

дѣлалъ... Мы всѣ тогда были убѣждены, что намъ нужно говорить и говорить, писать, печатать—какъ можно скорѣе, какъ можно больше, что все это нужно для блага человѣчества... Тысячи работниковъ дни и ночи изъ послѣднихъ силъ работали, набирали, печатали милліоны словъ, и почта развозила ихъ по всей Россіи, и мы все еще больше учили и никакъ не успѣвали всему научить, и все сердились, что насъ мало слушаютъ...“ („Исповѣдь“, гл. II).

Все это „мы“ дѣлали въ сущности ради „денегъ и похвалъ“, лицемѣрно прикрываясь слѣдующимъ „разсужденіемъ“, которое должно было оправдывать насъ въ нашихъ собственныхъ глазахъ: „все, что существуетъ, разумно; все же, что существуетъ, все развивается. Развивается же все посредствомъ просвѣщенія. Просвѣщеніе же измѣряется распространеніемъ книгъ, газетъ. А намъ платятъ деньги и насъ уважаютъ за то, что мы пишемъ книги и газеты, и потому мы—самые полезные и хорошіе люди...“ (тамъ же).—И вся наша литература, слѣд., наша умственная жизнь съ ея направленіями, партіями, разнорѣчіемъ взглядовъ и мнѣній уподобляется дому сумасшедшихъ: „Теперь мнѣ ясно, что разницы съ сумасшедшимъ домомъ никакой не было, тогда же я только смутно подозрѣвалъ это, и только, какъ и всѣ сумасшедшіе, называлъ всѣхъ сумасшедшими, кромѣ себя...“ (тамъ же).

„Коль рубить—такъ ужъ съ плеча“. Если ужъ отрицать—такъ *все*. И Толстой въ „Исповѣди“ далъ образчикъ такого *всеотрицанія*, которое отчасти напоминаетъ базаровскій „нигилизмъ“, чему отнюдь не мѣшаетъ религіозно-моральная основа воззрѣній Толстого: вѣдь Базаровъ—также натура моральная и даже „аскетическая“, хотя, правда, не религіозная. Психологически все равно, во имя чего возникаетъ отрицаніе. Толстой отрицаетъ „все“ во имя Бога и Евангелія, Базаровъ отрицалъ „все“ во имя матеріалистической философіи и науки.

Толстой, дѣйствительно, отрицаетъ „все“: литературу, культуру, прогрессъ, искусство, философію, науку.

Въ вышеприведенной тирадѣ, гдѣ литературная дѣятельность представлена какъ дѣло совершенно безполезное и похожее на сумасшедшій домъ, заключено прин-

ципіальное отрицаніе всей русской, а слѣдовательно, и всякой другой литературы; тутъ вычеркнуты и Толстой, и Тургеневъ, и Гоголь, и Пушкинъ, и Гете, и Шиллеръ, и Байронъ, и Шекспиръ, и все. Столь же просто и радикально вычеркивается и „прогрессъ“ человѣчества: Толстой вспоминаетъ, какъ онъ „вѣровалъ“ въ прогрессъ, и эта „вѣра“ представляется ему теперь „суевѣріемъ“ „Тогда мнѣ казалось,—пишетъ онъ,—что этимъ словомъ („прогрессъ“) выражается что-то. Я не понималъ еще того, что, мучимый, какъ всякій живой человѣкъ, вопросами, какъ мнѣ лучше жить, я, отвѣчая: жить сообразно съ прогрессомъ,—отвѣчаю совершенно то же, что отвѣтитъ человѣкъ, несомый въ лодкѣ по волнамъ и по вѣтру, на главный и единственный для него вопросъ: „куда держаться“,—если онъ, не отвѣчая на вопросъ, скажетъ: насъ несетъ куда-то...“ („Исповѣдь“, гл. III).

Заслуги точнаго научнаго знанія Толстой готовъ признать, но истины, которыя оно устанавливаетъ, не удовлетворяютъ его, не даютъ ему отвѣтовъ на вопросы, которые онъ ставитъ. А когда наука пытается отвѣчать на нихъ, то изъ настоящей она превращается въ „полунауку“ и обнаруживаетъ все свое безсиліе и всю свою тщету. Не удовлетворяетъ Толстого и „умозрительная наука“ (философія, метафизика), хотя онъ и признаетъ ея величіе. Многіе въ 80-хъ годахъ до нѣкоторой степени раздѣляли эту точку зрѣнія. Они сходились съ Толстымъ напр., въ слѣдующихъ мысляхъ: „Задача опытной науки есть причинная послѣдовательность матеріальныхъ явленій. Стоитъ опытной наукѣ ввести вопросъ о конечной причинѣ, и получается чепуха... Опытная наука только даетъ положительное знаніе и являетъ величіе человѣческаго ума, когда она не вводитъ въ свои изслѣдованія конечной причины...“ („Исповѣдь“, гл. V). Познаніе „конечной причины“—дѣло не науки, а метафизической философіи, которую столь презирали въ 60-хъ и особенно въ 70-хъ годахъ, а теперь признали, какъ признали искусство и Пушкина. Реабилитація метафизики не означала однако, что теперь пришла очередь наукѣ подвергнуться остракизму. И большинство мыслящихъ людей въ то время хорошо понимало, что всякая философія, будь она не только метафизическая, но даже мистическая (та-

кова у насъ философія Вл. Соловьева), по необходимости опирается на выводы и матеріалъ науки, и что полнаго, принципіальнаго разрыва между философіею и наукою быть не можетъ. И наши метафизики 80—90-хъ годовъ были, разумѣется, люди науки, представители университетскихъ каѳедръ, работавшіе вполнѣ *научно* въ области различныхъ философскихъ дисциплинъ *). И, конечно, всѣ они, какъ и ихъ ученики и читатели, не могли раздѣлять мысли Толстого, что „умозрительная наука—тогда только наука и являетъ величіе человѣческаго ума, когда она *устраняетъ совершенно вопросы о послѣдовательности причинныхъ явленій***) и разсматриваетъ человѣка только по отношенію къ конечной причинѣ...“ (гл. V). Равнымъ образомъ, не могли согласиться и съ тѣмъ, будто философія никакихъ отвѣтовъ не даетъ. Толстой, разочаровавшись въ философіи, не найдя въ ней рѣшенія мучившихъ его проблемъ, сразу рѣшилъ, что и никто не можетъ добиться ихъ рѣшенія путемъ философскаго познанія и умозрѣнія. Толстой пишетъ: „Идеи ли, субстанцію ли, духъ ли, волю ли называетъ философъ сущностью жизни, находящейся во мнѣ и во всемъ существующемъ, философъ говоритъ одно—что эта сущность есть и что я есть та же сущность, но зачѣмъ она, онъ не знаетъ и не отвѣчаетъ, если онъ точный мыслитель. Я спрашиваю, зачѣмъ быть этой сущности? Что выйдетъ изъ того, что она есть и будетъ?.. И философія не только не отвѣчаетъ, а сама только это и спрашиваетъ...“ (гл. V).

Такъ далеко не шли тѣ, которые искали отвѣтовъ на „проклятые“ вопросы. Они знали, что философія на нихъ отвѣтить не можетъ, но не смущались этимъ, ограничиваясь тѣмъ, что философія въ состояніи дать, т. е. объединеніемъ научнаго знанія, дополненіемъ его нѣкоторыми умозрительными построеніями, ему не противорѣчащими, и выработкою на этихъ основахъ цѣльнаго міросозерцанія, приспособленнаго къ умственнымъ и нравственнымъ

---

*) Таковы, напр., работы проф. Лопатина, Грота, кн. С. Н. Трубецкого и др. Органомъ этого философскаго движенія былъ журналъ „Вопросы философіи и психологіи“.

**) Курсивъ мой.—Исправимъ lapsus: не „послѣдовательность причинныхъ явленій“, а причинная послѣдовательность явленій.

потребностямъ того или другого человѣка. Чего же больше? Неужели нужно еще добиваться отвѣта на вопросъ: зачѣмъ существующее существуетъ? Ставя этотъ нефилософскій и вообще ненужный вопросъ, Толстой перешагнулъ не только грани метафизики, но даже и мистики. Это — какой-то сверхмистическій вопросъ. И любопытно, что его ставилъ и „рѣшилъ“ (для себя, конечно) человѣкъ, въ умственномъ складѣ котораго нѣтъ и тѣни мистическихъ предрасположеній,—великій *реалистъ* въ искусствѣ и своеобразный *раціоналистъ* въ философіи и въ религіи.

Въ общемъ можно сказать, что *отрицаніе* Толстого было не ко времени, которое, въ противоположность 60-мъ годамъ и частью 70-мъ, было эпохою „признаванія“ великихъ культурныхъ цѣнностей, каковы наука, философія, искусство, а не ихъ отрицанія. Но вопросы, поднятые Толстымъ, были вполнѣ въ духѣ времени: это были вопросы философскаго, нравственнаго и религіознаго сознанія. Идеи Толстого не могли вызвать энтузіазма, но онѣ заинтересовали многихъ. Выступленіе великаго писателя на путь религіознаго и моральнаго творчества было крупнымъ фактомъ въ нашей общественной и духовной жизни, и всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали дальнѣйшихъ событій. Какую новую религіозную или моральную истину откроетъ Толстой міру? Изъ „Исповѣди“ мы узнали, что онъ искалъ утоленія духовной жажды въ лонѣ церкви и не нашелъ; было извѣстно, что онъ обратился къ изученію Евангелія и вступилъ въ сношенія съ сектантами, изъ которыхъ выдѣлялась замѣчательная личность Сютаева....

Нѣкоторыя указанія на то, что изъ всего этого выйдетъ, можно было почерпнуть уже изъ „Исповѣди“. Такъ, въ главѣ XV выражено критическое и явно-отрицательное отношеніе къ нѣкоторымъ сторонамъ историческаго христіанства, а также къ войнѣ и смертной казни, а XVI глава начинается фразой: „И я пересталъ сомнѣваться, а убѣдился вполнѣ, что въ томъ знаніи вѣры, къ которому я присоединился, не все истинно...“ И далѣе Толстой говоритъ, что теперь его задачей является отдѣленіе религіозной и моральной истины христіанства отъ примѣсей, ее исказившихъ. По этимъ указаніямъ и зная свой-

свойственный Толстому радикализмъ мышленія, можно было предвидѣть, что Толстой выработаетъ родъ сектантскаго раціоналистическаго ученія на основѣ Евангелія,—ученія, во многомъ близкаго къ народнымъ раціоналистическимъ сектамъ, каковы: молоканство, штундизмъ, частью духоборчество *). Такъ это и вышло. Вскорѣ появился трактатъ „Въ чемъ моя вѣра?“, напечатанный заграницей, но распространявшійся въ Россіи въ многочисленныхъ спискахъ и литографированныхъ изданіяхъ. Здѣсь уже были даны тѣ толкованія разныхъ мѣстъ Евангелія, въ которыхъ выразился такъ называемый „анархизмъ“ Толстого. Вѣроученіе было выработано, — образовалась и секта „толстовцевъ“. Увлеченію моральной стороной ученія отдавали дань и нѣкоторые, можетъ быть, даже многіе, не поступавшіе въ секту. Въ числѣ увлекавшихся былъ и А. П. Чеховъ, тогда студентъ и начинающій писатель.

3.

Если разложить ученіе Толстого на отдѣльные элементы и разсматривать эти элементы порознь, то мы увидимъ, что каждый изъ нихъ психологически и идейно роднится съ извѣстнымъ направленіемъ или настроеніемъ, возникшимъ у насъ раньше или появившимся одновременно съ пропагандой Толстого, но независимо отъ нея.

Такъ, идеалъ „царствія Божія на землѣ“, построенный на евангельскихъ предпосылкахъ, но подкрѣпленный аграрнымъ соціализмомъ Джорджа, которымъ уже тогда увлекался Толстой, и формулированный на русскій крестьянскій ладъ, обнаруживалъ замѣтное сродство съ идеологіею соціалистовъ-народниковъ 70-хъ годовъ и съ духомъ крайняго народничества 80-хъ, которое, подобно Толстому, отрицало городскую цивилизацію и современное просвѣщеніе, составляющее будто бы монополію привилегированныхъ классовъ, и развивало фантастическую идею господства крестьянской культуры, утопію „мужицкаго“ царства на Руси. Отъ ученія соціалистовъ-народниковъ, которые нерѣдко также ссылались на Евангеліе, проповѣдь Толстого

*) Послѣднее обнаруживаетъ замѣтный уклонъ въ сторону мистики.

рѣзко отличалась въ одномъ пунктѣ: Толстой рѣшительно отрицалъ революцію и вообще всякое насиліе въ борьбѣ со зломъ. Но это уже—вопросъ о средствахъ осуществленія идеала, а не о самомъ идеалѣ. Стоило только соціалисту-народнику разочароваться въ революціонномъ способѣ дѣйствія, и разстояніе между его воззрѣніями и ученіемъ Толстого замѣтно сокращалось. Извѣстно, что въ 80-хъ годахъ было сдѣлано не мало попытокъ „сѣсть на землю“, основывать „интеллигентскія“ земледѣльческія колоніи и питаться трудами рукъ своихъ почти такъ, какъ училъ Толстой и какъ стали дѣлать правовѣрные толстовцы. Эти попытки, возникавшія ранѣе обнародованія толстовскаго ученія и потомъ независимо отъ него, предпринимались именно группами лицъ, вышедшихъ изъ все той же передовой части общества, исповѣдывавшей народническій соціализмъ. Движеніе это, безъ сомнѣнія, въ значительной степени основывалось на разочарованіи въ революціонныхъ средствахъ борьбы, а также означало собою поворотъ въ сторону культурной дѣятельности и идеи „самоусовершенствованія“.

Идея „самоусовершенствованія“ имѣла въ 80-хъ годахъ крупный успѣхъ. Ею увлекались и поклонники Достоевскаго, и послѣдователи Толстого, и всѣ тѣ, которые стремились „опроститься“ и „сѣсть на землю“. Послѣдніе „опрощались“ на сей разъ не для видимости, не ради пропаганды, а именно для того, чтобы возродиться, очиститься, облагородиться подъ животворнымъ вліяніемъ земледѣльческаго труда, избавляющаго отъ участи быть „паразитомъ“, жить на счетъ народа. Было нѣчто сектантское въ этомъ настроеніи и въ вызванныхъ имъ опытахъ основанія интеллигентскихъ колоній. И здѣсь сказалось, если и не всегда принципіальное, то во всякомъ случаѣ фактическое устраненіе революціонныхъ способовъ борьбы. Посторонніе наблюдатели нерѣдко смѣшивали колоніи такихъ опростившихся интеллигентовъ съ колоніями толстовцевъ.

Не лишнимъ будетъ вспомнить и то, что идея *непротивленія злу насиліемъ* проповѣдывалась у насъ еще въ началѣ 70-хъ годовъ извѣстнымъ *Маликовымъ* и была усвоена однимъ изъ передовыхъ тогда кружковъ („чай-

ковцевъ"), нѣкоторые члены котораго вскорѣ эмигрировали въ Америку съ цѣлью основать идеальную общину. Община однако распалась, и идея непротивленія злу насиліемъ заглохла лѣтъ на 10. Въ 80-хъ годахъ, послѣ крушенія народно-соціалистическаго движенія и революціонныхъ опытовъ, его смѣнившихъ, она опять возникаетъ въ тѣхъ или иныхъ формахъ, то какъ настроеніе, какъ психологическій фактъ, то какъ принципъ, и наконецъ въ ученіи Толстого получаетъ крайнее и строго-послѣдовательное выраженіе.

Достаточно извѣстно, что, въ силу отсутствія у насъ политической жизни, наши идеологіи, по необходимости, выступали въ неподобающей имъ роли политическихъ программъ или, по крайней мѣрѣ, направленій. Идеологія, выработанная или усвоенная человѣкомъ, отвѣчала, въ существѣ дѣла, на чисто-личный вопросъ: „какъ мнѣ жить свято?" [1])—Отвѣтъ на этотъ вопросъ, казалось бы, имѣющій значеніе только для даннаго лица, превращался въ родъ догмы, обязательной для всѣхъ порядочныхъ людей, предопредѣлялъ программу дѣятельности и становился предметомъ пропаганды, имѣвшей цѣлью уже не „спасеніе" личности, а благо народа, отечества и человѣчества. Это явленіе, именно превращеніе личнаго моральнаго вопроса въ вопросъ всеобщій, болѣе или менѣе замаскированное въ большинствѣ нашихъ идеологій, обнаружилось въ проповѣди Толстого съ особливой наглядностью.

Религія и мораль Толстого на вопросъ: „какъ жить свято?" отвѣчала: нужно жить по завѣтамъ Евангелія, любить ближняго, какъ самого себя, помогать ему въ нуждѣ (но не деньгами, а трудомъ), не воздавать зломъ за зло, прощать обиды, не сопротивляться злу насиліемъ, жить трудомъ рукъ своихъ, не ѣсть мяса, не пить вина, не курить и т. д.—Казалось бы, во всемъ этомъ нѣтъ ничего политическаго,.. Но вышло такъ, что эта безобидная альтруистическая и аскетическая мораль сейчасъ же превратилась въ общественную и политическую идею, которая, въ безвременье 80-хъ годовъ, сыграла роль своеобразнаго общественнаго протеста. Въ этомъ

*) Выраженіе Н. К. Михайловскаго.

смыслѣ наибольшее значеніе получили присущіе проповѣди Толстого *народническіе элементы*, выражавшіеся внѣшнимъ образомъ въ той *имитаціи* мужицкаго облика, костюма, обычая, примѣръ которой подалъ самъ Л. Н. Толстой. И самое Евангеліе явилось въ русскомъ народномъ и народническомъ обличьи: примѣры, притчи, легенды, которыми Л. Н. Толстой пропагандировалъ свое ученіе, брались изъ русской крестьянской жизни и изъ народныхъ сказочныхъ мотивовъ. Возникала чисто-народническая „ассоціація идей“: ученіе Христа, Евангеліе, русскій мужикъ, крестьянскій трудъ и бытъ... И въ эту ассоціацію не замедлили войти и народныя понятія о землѣ, какъ Божіей, а не помѣщичьей, и другія исконныя, завѣщанныя патріархальной стариной, народныя воззрѣнія и моральныя идеи, съ какими, напр., выступаетъ во „Власти тьмы“ старикъ *Акимъ*, представитель подлиннаго крестьянскаго міросозерцанія, будто бы столь близкаго къ духу Евангелія. Съ этой стороны ученіе Толстого оказывалось новою варіаціею стараго народничества и естественно получало свое значеніе, аналогичное тому, какое въ разное время имѣли у насъ народническія направленія общественной мысли. Можно сказать даже, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ доктрина Толстого явилась крайнимъ выраженіемъ русскаго народничества, его послѣднимъ словомъ, предшествовавшимъ появленію у насъ идей марксизма. Будущій историкъ нашихъ идеологій не обойдетъ проповѣди Толстого, на которую онъ укажетъ, какъ на характерный эпизодъ въ развитіи русскаго народничества. Съ этой точки зрѣнія ученіе Толстого, разсчитанное на міровую роль, представляется явленіемъ слишкомъ русскимъ, — однимъ изъ преходящихъ моментовъ въ исторіи русской интеллигенціи....

Съ тѣмъ вмѣстѣ проповѣдь Толстого явилась у насъ своеобразною формою *оппозиціи* и *протеста*. Извѣстенъ разсказанный самимъ Толстымъ случай его столкновенія съ городовымъ: городовой „тащилъ“ или „не пущалъ“ мужичка, графъ остановилъ блюстителя порядка вопросомъ: „ты читалъ Евангеліе?“; городовой совершенно резонно отвѣтилъ другимъ вопросомъ: „а ты читалъ уставъ полицейской службы?“.

Выступивъ съ проповѣдью Евангелія, какъ оно имъ понято, Толстой *протестовалъ* и сталъ въ оппозицію существующему порядку вещей—и не только у насъ, но и во всемъ цивилизованномъ мірѣ, поскольку этотъ порядокъ основанъ на „насиліи“ и не согласуется съ духомъ Евангелія.

Этотъ протестъ Толстого не имѣлъ въ 80-хъ годахъ, какъ и потомъ, никакого *революціоннаго значенія*. Въ ученіе, проповѣдуемое Толстымъ и его послѣдователями, вошли нѣкоторыя „страшныя слова“ въ родѣ отрицанія государства, суда, воинской повинности и т. д.; но „опасность“, какую усматривали здѣсь реакціонеры, была обезврежена, во-первыхъ, прямымъ отрицаніемъ революціи, какъ „насилія“, а во-вторыхъ, общею утопичностью доктрины. Представители революціоннаго соціализма (какъ покойный П. Л. Лавровъ и др.) смотрѣли на движеніе, возбужденное Толстымъ, крайне враждебно, какъ на прискорбное знаменіе времени, отличавшагося общественнымъ индифферентизмомъ, упадкомъ боевого настроенія и реакціонными стремленіями. Съ другой стороны, какъ мы помнимъ, нѣкоторые „отцы“ возлагали на проповѣдь Толстого надежду, что, быть можетъ, она отвлечетъ „дѣтей“ отъ опаснаго пути революціонныхъ экспериментовъ на болѣе спокойную дорогу культурной дѣятельности, благотворительности и самоусовершенствованія.

Позже, когда пропаганда Толстого замѣтно расширилась и стала производить извѣстное впечатлѣніе во всемъ цивилизованномъ мірѣ, его идеи на почвѣ общаго оживленія, наступившаго у насъ въ половинѣ 90-хъ годовъ, сыграли свою роль, какъ одна изъ формъ зачинавшагося освободительнаго движенія. Къ этому времени относятся наиболѣе рѣзкія произведенія Толстого-моралиста и проповѣдника, въ томъ числѣ и такая сильная и смѣлая вещь, какъ „Воскресеніе“.

IV.

Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ литературная производительность Толстого была огромна: великій писатель издавалъ религіозныя и моральныя трактаты, брошюры, помѣщалъ

по отдѣльнымъ вопросамъ и случайнымъ поводамъ статьи въ русскихъ и иностранныхъ журналахъ и газетахъ и, кромѣ того, создалъ цѣлый рядъ высокохудожественныхъ произведеній, въ которыхъ его новыя идеи получили своеобразное выраженіе.

Народническіе элементы доктрины Толстого проявились съ наибольшею яркостью, если не считать легендъ, во „Власти тьмы", гдѣ сюжетъ взятъ изъ крестьянской жизни и гдѣ показано, какъ развращается мужикъ подъ пагубнымъ вліяніемъ городской цивилизаціи. Точка зрѣнія автора-моралиста совпадаетъ съ патріархальными понятіями Акима, который отнюдь не „толстовецъ" и вообще не сектантъ, а просто „справедливый" мужикъ, сохранившій въ чистотѣ исконныя народныя понятія.

Въ „Смерти Ивана Ильича" Толстой хотѣлъ показать весь „ужасъ" „самой обыкновенной" жизни человѣка, идеаломъ котораго было создать себѣ жизнь „пріятную", „приличную" и притомъ такую, чтобы ее одобряли „наивыше поставленныя лица". Это, дѣйствительно, обыкновенная жизнь порядочнаго человѣка, который грѣшенъ лишь тѣмъ, что не родился съ призваніемъ къ высшимъ духовнымъ интересамъ и не могъ возвыситься надъ уровнемъ понятій и нравовъ своей среды. Силою художественнаго изображенія Толстой заставилъ насъ почувствовать „ужасъ" такого существованія; но мы чувствуемъ этотъ „ужасъ" только, пока читаемъ разсказъ; по прочтеніи же мы перестаемъ видѣть его тамъ, гдѣ есть только *пошлость*, и даже склонны вступиться за несчастнаго Ивана Ильича, исходя изъ мысли, что всякій смертный имѣетъ право быть въ извѣстной мѣрѣ пошлымъ... Желательно только, чтобы онъ этимъ правомъ не злоупотреблялъ... Съ другой стороны, однако, мы не отрицаемъ и права моралиста быть требовательнѣе насъ, смотрѣть на призваніе человѣка съ болѣе высокой точки зрѣнія и показывать намъ „ужасъ" нашей пошлой жизни. Стоя на высокой моральной точкѣ зрѣнія, взирая на земную юдоль съ высоты евангельскаго идеала, проповѣдникъ имѣетъ право стращать насъ разоблаченіями всей лжи и фальши нашей жизни и грознымъ призракомъ смерти. Но, думается, и онъ не долженъ этимъ правомъ злоупотреблять....

Въ „Смерти Ивана Ильича“ злоупотребленія правомъ моралиста нѣтъ. Но за то оно, несомнѣнно, есть въ „Крейцеровой сонатѣ“, что однако не мѣшаетъ этому разсказу оставаться однимъ изъ удивительнѣйшихъ созданій высокаго искусства.

Въ „Крейцеровой сонатѣ“ трактуется вопросъ, который, по моему глубокому убѣжденію, *не подлежитъ художественному разслѣдованію:* это именно пресловутая „половая проблема“, разработку которой слѣдуетъ предоставить ученымъ спеціалистамъ—врачамъ, психіатрамъ, психологамъ. Эта тема, по существу дѣла, не поддается ни популяризаціи, ни беллетристической обработкѣ: при наилучшихъ намѣреніяхъ автора она—въ такой формѣ—легко приводитъ къ результатамъ, діаметрально-противоположнымъ этимъ намѣреніямъ. Не избѣгла этого и „Крейцерова соната“. — Помимо того, Толстой злоупотребилъ здѣсь правомъ моралиста и въ другомъ отношеніи: если въ „Смерти Ивана Ильича“ онъ отрицаетъ наше право на пошлую жизнь, то въ „Крейцеровой сонатѣ“ онъ подвергъ отрицанію наше естественное право — размножаться. „Крейцерова соната“—произведеніе *ультра-аскетическое.* Аскетическій ригоризмъ, доведенный до крайнихъ предѣловъ, мѣшаетъ моралисту и художнику быть прежде всего *справедливымъ* и *гуманнымъ.* Въ „Крейцеровой сонатѣ“ поражаетъ отсутствіе и гуманности, и безпристрастія.

По счастью, это увлеченіе аскетическимъ ригоризмомъ продолжалось не долго: въ „Воскресеніи“ оно не видно, и это капитальное произведеніе, при всей исключительности точки зрѣнія, на которой стоитъ авторъ, по праву должно быть признано однимъ изъ самыхъ гуманныхъ созданій міровой художественной литературы. За вычетомъ нѣкоторыхъ излишествъ и неосторожнаго обращенія съ предметами, составляющими для традиціонно-вѣрующаго большинства святыню, мы не находимъ въ „Воскресеніи“ злоупотребленій правомъ моралиста-проповѣдника.

Исповѣдуя высокій евангельскій идеалъ „мира и благоволѣнія на землѣ“, художникъ-моралистъ имѣетъ несомнѣнное право показать намъ на конкретныхъ, но типичныхъ примѣрахъ все противорѣчіе между этимъ иде-

аломъ съ одной стороны и существующимъ порядкомъ вещей, господствующими нравами и понятіями съ другой. Онъ вправѣ также указать намъ тотъ путь, который, по его глубокому убѣжденію, является единственно спасительнымъ и ведетъ къ преобразованію всей жизни въ духѣ евангельскаго идеала, — путь къ „воскресенію“. Этимъ путемъ пойдутъ лишь немногіе, но могучій призывъ великаго поэта не останется безъ того отклика, какой вообще вызываютъ въ душѣ человѣческой высокія созданія гуманнаго искусства, разсчитанныя на пробужденіе чувства сострадания, любви къ человѣчеству и глубокой скорби при сознаніи зла, господствующаго въ мірѣ.

Всѣ тенденціозныя художественныя произведенія Толстого, за исключеніемъ жестокой „Крейцеровой сонаты“, вліяли и всегда будутъ вліять именно въ этомъ духѣ и направленіи. Ихъ воспитательное и облагораживающее воздѣйствіе не подлежитъ сомнѣнію. Они уже внесли свой вкладъ въ движеніе умовъ и моральное развитіе русскаго общества въ 80 — 90-хъ годахъ. Но потомъ освободительное движеніе и революціонная волна оттѣснили проповѣдь Толстого на задній планъ; идеи великаго писателя не согласовались со многимъ, что происходило у насъ въ эти бурные годы великаго перелома и историческаго поворота. Съ высоты своихъ идей онъ не понялъ или не хотѣлъ признать всей важности совершавшихся событій....

ГЛАВА VIII.

80-е годы.—Письма А. И. Эртеля.

1.

Письма Эртеля *), представляющія высокій интересъ въ разныхъ отношеніяхъ, даютъ между прочимъ рядъ

*) „Письма А. И. Эртеля“, подъ редакціей и съ предисловіемъ М. Гершензона. Москва, 1909.

цѣнныхъ указаній для характеристики 80-хъ годовъ или, точнѣе, того перелома, который совершался тогда въ настроеніяхъ, въ идеяхъ, да и въ самой психологіи нашей передовой интеллигенціи. Въ предыдущихъ главахъ я старался показать, что ходячій взглядъ на эпоху 80-хъ годовъ, исключительно какъ на время безпросвѣтнаго застоя и реакціи, не выдерживаетъ критики. Реакція, конечно, была и свое пагубное дѣло дѣлала, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ настроеніи, въ воззрѣніяхъ и въ психикѣ мыслящей части общества происходило броженіе и назрѣвали значительныя перемѣны. Смыслъ этихъ перемѣнъ сперва былъ неясенъ, онъ сталъ уясняться въ 90-хъ годахъ.

Теперь, когда мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи нѣкоторые интимные документы эпохи (опубликованныя письма, напр., Чехова, Эртеля и другихъ), является возможность установить болѣе правильный и болѣе справедливый взглядъ на эпоху, которую можно назвать „переходною“ по преимуществу и по-своему глубоко-знаменательною въ исторіи русской интеллигенціи.

Однимъ изъ важнѣйшихъ явленій 80-хъ годовъ, безспорно, слѣдуетъ признать совершавшійся *переломъ въ психологическихъ и идейныхъ отношеніяхъ интеллигенціи къ народу*. Въ 80-хъ годахъ яснѣе обозначилось то, что уже подготовлялось и чувствовалось въ концѣ 70-хъ: *кризисъ народническихъ увлеченій и иллюзій*. Изъ кризиса эти увлеченія и иллюзіи выходили двумя руслами, въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ: однимъ русломъ—въ сторону крайняго ихъ обостренія, другимъ—въ сторону ихъ быстрой убыли. Русская интеллигенція, такъ или иначе захваченная народнической тягой, теперь раскололась. Часть ея ударилась въ исключительное народничество, выражавшееся въ смягченномъ, впрочемъ, видѣ въ доктринѣ В. П. Воронцова (В. В.), въ беллетристикѣ Н. Н. Златовратскаго („Устои“) и др. и получившее крайнее догматическое выраженіе въ системѣ идей Юзова-Каблица („Основы народничества“), а также въ статьяхъ г. Яковенка. Другая часть интеллигенціи замѣтно освобождалась отъ народническихъ увлеченій и пристрастій. Это сказывалось, въ той или иной формѣ, и въ критическихъ статьяхъ Михайловскаго, направленныхъ противъ Юзова-

Каблица и Яковенка, а также и противъ В. П. Воронцова, и въ горькихъ разочарованіяхъ Глѣба Успенскаго, и въ отсутствіи народническихъ тенденцій въ блестящей художественной дѣятельности В. Г. Короленка, и въ замѣтной убыли ихъ въ беллетристикѣ Коронина (Петропавловскаго). Новое же поколѣніе писателей—„восьмидесятниковъ“ было почти свободно отъ народнической тяги. У Чехова ея совсѣмъ не видно.

Обособленіе и обостреніе народнической доктрины и утопіи съ одной стороны, быстрая убыль народническихъ увлеченій и полная свобода отъ нихъ съ другой—вотъ тотъ процессъ, на которомъ будущій историкъ русскаго народничества остановится, обращаясь къ 80-мъ годамъ, съ особеннымъ вниманіемъ. Онъ отмѣтитъ это явленіе, какъ нѣчто новое, порожденное закономѣрнымъ ходомъ вещей, какъ нѣчто, имѣвшее въ предыдущую эпоху только прецеденты и предзнаменованія.

Письма Эртеля позволяютъ намъ уловить кое-что изъ психологіи этого „великаго раскола“ интеллигенціи, объявившагося въ 80-хъ годахъ, а въ 90-хъ завершившагося знаменитою распрей между народниками и марксистами.

2.

При нѣмецкомъ имени, Эртель, какъ извѣстно, былъ типичный русскій человѣкъ, къ тому же выросшій среди народа, въ деревнѣ, и большую часть своей жизни проведшій въ постоянномъ, ежедневномъ общеніи съ крестьянами. Онъ зналъ и понималъ мужика не хуже Гл. Ив. Успенскаго и въ совершенствѣ владѣлъ народною рѣчью. Наконецъ, онъ воспитался на идеяхъ 70-хъ годовъ, и, хотя его литературная дѣятельность, тогда же начатая, развернулась только въ 80-хъ, его, по праву, можно, на ряду съ Гаршинымъ, Короленкомъ, Альбовымъ, Баранцевичемъ, Коронинымъ, отнести къ числу писателей-„семидесятниковъ“. Онъ *вышелъ* изъ 70-хъ годовъ и, работая въ 80-хъ, по-своему пережилъ кризисъ идей и настроеній, которыми ознаменовалась эта эпоха.

И вотъ, уже въ одномъ изъ писемъ, относящихся къ самому началу 80-хъ годовъ, онъ рѣзко высказывается противъ требованія „вертѣться въ узкой сферѣ исключи-

тельно мужицкихъ нуждъ и интересовъ...". „Надо,—говоритъ онъ,—кому-нибудь вспомнить и объ интеллигентномъ человѣкѣ, конечно, не забывая главную суть, руководящую интересами этого человѣка, — общественное дѣло... Вотъ съ этой-то точки зрѣнія меня гораздо болѣе интересуетъ участь интеллигенціи и трагическій характеръ ея отношеній къ *народу*, чѣмъ самый народъ съ своимъ „обычнымъ правомъ и бытовыми формами". Съ этой стороны, ей-Богу, мужикъ уже достаточно прошпигованъ... Чѣмъ больше пишу я, тѣмъ всѣ эти положенія выступаютъ передо мной яснѣй и рѣшительнѣй. „Интеллигенція" мало-по-малу начинаетъ преобладать въ моихъ разсказахъ..." (Письмо къ М. Н. Чистякову отъ 10 авг. 1881 г. „Письма", стр. 41).

Значеніе этой перемѣны въ беллетристическихъ интересахъ и замыслахъ, гдѣ, конечно, сказался и соотвѣтственный поворотъ въ отношеніяхъ писателя къ дѣйствительности и вообще въ его воззрѣніяхъ, оттѣняется тѣмъ, что говоритъ Эртель въ автобіографіи. Выступая на литературное поприще (въ концѣ 70-хъ гг.), онъ „избралъ именно народъ предметомъ своихъ писаній" („Письма", 19).

Этотъ выборъ былъ подсказанъ не только тѣмъ, что народная жизнь была знакома Эртелю лучше всякой другой, но также и непосредственнымъ внушеніемъ тогдашней передовой идеологіи въ ея народническомъ выраженіи. Въ ряду лицъ, подъ вліяніемъ которыхъ складывалось тогда міросозерцаніе Эртеля, на первомъ планѣ стоитъ *П. В. Засодимскій*, одинъ изъ наиболѣе послѣдовательныхъ писателей-народниковъ, авторъ „Хроники села Смурина". П. В. Засодимскій „раза два то лѣто (1876 г.) гостилъ у меня на хуторѣ,—разсказываетъ Эртель,—пріѣзжалъ и зимою на Рождество... Не берусь рѣшить: восторженное ли поклоненіе мое передъ нимъ, или присутствіе во мнѣ чего-то дѣйствительно хорошаго вызвали въ немъ дружеское отношеніе ко мнѣ... *Я въ то время не видѣлъ недостатковъ ни въ способѣ его мышленія, ни въ его убѣжденіяхъ и взглядахъ. Это былъ мой идеалъ...*" („Письма", стр. 18).

Подъ вліяніемъ Засодимскаго совершилось прежде всего моральное перевоспитаніе молодого неофита въ духѣ той гуманности, которая была одною изъ характер-

ныхъ чертъ лучшихъ людей 70-хъ годовъ. Эртель воспріялъ символъ альтруистической вѣры,—завѣтъ любви къ ближнему вообще, къ мужику въ особенности. Въ связи съ этимъ радикально измѣнились и его личныя—дѣловыя—отношенія къ крестьянамъ.

Въ остальномъ же Эртель усвоилъ тотъ ходячій, шаблонный кодексъ „атеизма и радикализма“, о которомъ не безъ ироніи вспоминаетъ онъ въ автобіографіи: „О Богѣ я какъ-то рѣшительно не думалъ... принято было говорить о религіи вскользь и больше съ шуточками и глумленіемъ. Правда, Христа принято было уважать, но какъ соціалиста и революціонера.... Въ вопросахъ морали и искусства я былъ поклонникъ Писарева, Шелгунова и другихъ. Объ этомъ даже спору не было...“. (стр. 20).

Но Эртель не принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые легко и надолго успокаиваются на преходящихъ и ходкихъ идеяхъ времени. Это была натура, не лишенная глубины и силы. Это былъ острый, критическій умъ, ищущій и стремящійся впередъ. Шаблонъ идей владѣлъ имъ всего какихъ-нибудь 5 или 6 лѣтъ. Уже въ самомъ началѣ 80-хъ годовъ Эртель ощутилъ непреодолимую потребность критическаго пересмотра усвоенныхъ воззрѣній и понятій. Народническая идея перестала удовлетворять его, какъ беллетриста. Отъ сюжетовъ изъ народной жизни, которые казались ему исчерпанными, онъ переходитъ къ темамъ изъ жизни интеллигенціи и вмѣстѣ съ тѣмъ уже чувствуетъ, что система идей, имъ усвоенныхъ, тронулась и готова рухнуть. Въ одномъ письмѣ (къ М. В. Огарковой, 22 авг. 1883 г.) онъ говоритъ, что какія-то новыя мысли, которыя и раньше глухо бродили въ глубинѣ души, но не овладѣвали сознаніемъ, теперь „пришли и взяли его въ свою власть...“. Здѣсь же вскользь упомянуто, что онъ „перечиталъ внимательно и вдумчиво „Исповѣдь“ Толстого“.

Передъ нами любопытный фактъ, рисующій броженіе умовъ въ началѣ 80-хъ годовъ и поясняющій на конкретномъ примѣрѣ вліяніе новыхъ тогда идей Толстого: лишь немногіе воспринимали его ученіе цѣликомъ, но зато для очень многихъ „Исповѣдь“ (какъ и другія его произведенія того времени) сыграла роль могучаго фер-

мента, разлагавшаго систему и шаблонъ усвоенныхъ идей, въ которыхъ идеализація и культъ народа сочетались съ „атеизмомъ" и индифферентизмомъ къ вопросамъ религіи и морали. Вотъ прочтемъ (изъ того же письма): „Когда-то, во время оно, во время моихъ первыхъ писаній, такъ мнѣ казалось ясно и просто все на свѣтѣ и такъ положительно зналъ я, гдѣ правда и гдѣ ея нѣтъ, что мнѣ ужасно было легко писать мои очерки и ужасно было весело сознавать себя чѣмъ-то. Но теперь я вижу, что наивны эта бывшая моя ясность и бывшая веселость. Тамъ, гдѣ я видѣлъ безоблачные горизонты, тамъ теперь я вижу либо узкость, либо недомысліе..." (стр. 42).

Онъ понялъ „ничтожество" своей писательской дѣятельности и вмѣстѣ съ тѣмъ усомнился въ „истинѣ" того міровоззрѣнія, которое онъ раздѣлялъ съ передовымъ поколѣніемъ 70-хъ годовъ. „Да и въ чемъ же правда? спросилъ я. *Въ либерализмѣ? Соціализмѣ? Въ политической экономіи? И я не нашелъ отвѣта въ душѣ своей...*" [1]) (стр. 43). Онъ понялъ, что не имѣетъ нравственнаго права писать и „учить". „Я тебѣ не могу передать,—говоритъ онъ (тамъ же),—во всей силѣ того отвращенія, которое получилъ я къ своимъ писаніямъ *и къ своей прежде законченной доктринѣ...*". (43).

Итакъ, уже въ началѣ 80-хъ годовъ Эртель явился однимъ изъ тѣхъ представителей эпохи, которые, воспитавшись на идеяхъ и движеніи 70-хъ годовъ, оказались вдругъ въ тупикѣ или на перепутьи и пережили кризисъ исканія новой, какъ имъ казалось, болѣе широкой и глубокой системы воззрѣній.

Чтобы лучше понять этотъ, хотя и частный, но очень показательный случай, присмотримся ближе къ тому воспитанію и развитію, какое получилъ Эртель въ 70-хъ годахъ.

3.

Въ его автобіографіи говорится о вліяніи П. В. Засодимскаго, о сочиненіяхъ Писарева и Шелгунова, какъ объ источникахъ его „доктрины". Упоминаются также имена Кривенка, Наумова, Бажина, Глѣба Успенскаго,

---

*) Курсивъ мой.

Н. Н. Златовратскаго, какъ лицъ, съ которыми онъ познакомился и сошелся въ 1878 году въ Петербургѣ. Но напрасно будемъ мы искать въ автобіографіи и въ письмахъ слѣдовъ преимущественнаго и положительнаго вліянія *Н. К. Михайловскаго*. Безъ всякаго сомнѣнія, Эртель читалъ въ свое время статьи Михайловскаго, какъ всѣ читали ихъ, но не видать, чтобы это чтеніе замѣтнымъ образомъ отразилось на умственномъ складѣ и направленіи идей Эртеля. Имя Михайловскаго встрѣчается въ письмахъ неоднократно, но эти-то мѣста и свидѣтельствуютъ о томъ, что Эртель не былъ ученикомъ Михайловскаго, а въ 80-хъ годахъ сталъ на сторону его противниковъ. Вотъ важнѣйшія изъ этихъ указаній.

Въ письмѣ къ В. Г. Короленкѣ (20 февр. 1890 г.) Эртель вспоминаетъ: „Въ свое время у меня была достаточно инстинктивная, если можно такъ выразиться, мечта о правильномъ типѣ жизни. Эта мечта превратилась въ сознательный идеалъ, когда я познакомился съ тѣмъ, что писалъ Н. К. Михайловскій о прогрессѣ. Но научный ходъ доказательствъ, который присутствуетъ въ статьяхъ Михайловскаго, далеко не казался мнѣ столь убѣдительнымъ, какъ рѣзкое, сильное, хотя, быть можетъ, отчасти и одностороннее доказательство той же истины, того же зла, вытекающаго изъ спеціализаціи способностей, изъ пресловутаго „раздѣленія труда“, которое встрѣчается у Л. Толстого“.

Итакъ, онъ отдаетъ свою дань увлеченію очень властнымъ (въ 70-хъ годахъ) соціологическимъ воззрѣніемъ на пагубную роль „раздѣленія труда“,—воззрѣніемъ, по существу несостоятельнымъ, но блестяще проведеннымъ въ статьяхъ Михайловскаго. Однако „научныя доказательства“ послѣдняго не удовлетворяютъ Эртеля, и только въ изложеніи Толстого, гдѣ нѣтъ и тѣни „научности“, эта идея показалась ему достаточно „убѣдительною“.

Замѣчу мимоходомъ, что соціологическій романтизмъ вовсе не согласовался съ духовнымъ обликомъ Эртеля, котораго *В. П. Кранихфельдъ* [1]) охарактеризовалъ, какъ „провозвѣстника русской буржуазной культуры“, чуж-

*) „Современный Міръ“, 1909, № 2 (февр.).

даго соціалистическимъ тенденціямъ. Въ этомъ взглядѣ есть много правды, но, мнѣ кажется, онъ требуетъ оговорокъ. Въ Эртелѣ, какъ онъ выразился въ письмахъ, дѣйствительно виденъ „буржуазный"—въ хорошемъ и прогрессивномъ смыслѣ—„культуртрегеръ", но онъ не успокаивается на буржуазномъ идеалѣ, не считаетъ капиталистическій строй послѣднимъ словомъ цивилизаціи, и въ его письмахъ можно уловить слѣды симпатіи къ европейскому соціалъ-демократическому движенію. О культуртрегерствѣ Эртеля будетъ рѣчь ниже, здѣсь же я упоминаю объ этомъ только съ цѣлью указать, что воззрѣніе на „спеціализацію способностей" и „раздѣленіе труда"—какъ на великое соціальное зло — воззрѣніе, приличествующее народникамъ, утопистамъ и вообще романтикамъ въ соціологіи и исторіи, было не къ лицу Эртелю, „буржуазному культуртрегеру". И если въ свое время онъ воспринялъ эту романтическую идею, то это объясняется сперва тѣмъ, что она была одною изъ „властныхъ", „навязчивыхъ" идей времени, а потомъ его увлеченіемъ проповѣдью и самою личностью Толстого. Власть идей какъ нельзя лучше обнаруживается въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ адептами становятся умы и натуры, по всему складу своему къ нимъ не предрасположенные. Увлеченіе доктриною, отрицающею раздѣленіе труда, съ теченіемъ времени прошло у Эртеля, осталось только отрицательное отношеніе къ крайностямъ этого явленія, къ патологической сторонѣ соціальной дифференціаціи.

Но пойдемъ дальше — въ нашихъ поискахъ слѣдовъ вліянія Михайловскаго.

Въ письмѣ къ В. Г. Черткову (5 янв. 1891 г.) Эртель, между прочимъ, говоритъ: „Я признаю плодомъ абстракціи *нѣкоторую* часть выставляемыхъ Л. Н.—чемъ „основъ" и въ этомъ такъ же расхожусь съ тобою и твоими единомышленниками, какъ съ Н. К. Михайловскимъ и его единомышленниками".

Въ письмѣ къ А. С. Пругавину (22 февр. 1891) упоминается о „знаменитомъ разговорѣ Н. К. Михайловскаго съ Н. Н. Златовратскимъ на квартирѣ у послѣдняго". Темою разговора былъ вопросъ о народничествѣ,—и Эртель всецѣло присоединяется къ мнѣнію Златовратскаго, что

„народничество—это *настроеніе*“. Къ этому любопытному мѣсту мы вернемся ниже.

Въ письмѣ къ Лесевичу (7 февр. 1889) онъ говоритъ, что „изъ системы мыслей Михайловскаго“ онъ „заимствовалъ нѣчто, точно такъ же, какъ и изъ другихъ системъ (въ томъ числѣ и Л. Н. Толстого), но заимствовалъ только ту частицу системы, ту дробь „компактной массы“, которая соотвѣтствовала плану“ его собственной „постройки“, его собственному пониманію жизни (стр. 130).

Приведенныя цитаты показываютъ, что, во-первыхъ, участіе идей Михайловскаго въ выработкѣ воззрѣній Эртеля было незначительно, и, во-вторыхъ, что это относится не къ 70-мъ годамъ, а къ 80-мъ, когда вообще ослабѣло вліяніе Михайловскаго на широкую среду мыслящей части общества и когда многіе, въ томъ числѣ и Эртель, черпали элементы своего развитія изъ весьма различныхъ источниковъ, каковы съ одной стороны религіозно-моральное ученіе Толстого, съ другой — метафизическія системы западныхъ мыслителей и нѣкоторыхъ русскихъ (напр., Вл. Соловьева), съ третьей—сочиненія Михайловскаго, а также критическая философія, которую популяризировалъ Лесевичъ.

Изъ писемъ Эртеля мы выносимъ живое и наглядное представленіе объ этихъ перекрещивающихся воздѣйствіяхъ. Въ 80-хъ годахъ онъ внимательно и вдумчиво читалъ Спенсера, книги и статьи Лесевича (см. его письма къ послѣднему), знакомится съ идеалистическою философіей изъ своего рода „прямого источника“—изъ бесѣдъ (устныхъ и письменныхъ) съ *П. А. Бакунинымъ* (братомъ извѣстнаго агитатора). П. А. Бакунинъ былъ чуть ли не послѣднимъ эпигономъ и хранителемъ либеральныхъ, гуманныхъ и идеалистическихъ воззрѣній 40-хъ годовъ; это наслѣдіе въ теченіе 60—70-хъ годовъ, по необходимости, лежало подъ спудомъ; теперь, въ 80-хъ, оно выходитъ наружу и вноситъ свой вкладъ въ систему умственныхъ и моральныхъ запросовъ эпохи.

Идеи Михайловскаго, а равно всѣ возбужденія, шедшія отъ Спенсера, отъ критической философіи и т. д., были восприняты Эртелемъ тогда, когда они потеряли свою „остроту“, перестали служить могущественнымъ стимуломъ

мысли, властно направляющимъ умы въ опредѣленную сторону, и превратились въ матеріалъ идей, съ которымъ мыслящему человѣку приходилось считаться, который нельзя было обойти.

Въ 70-хъ годахъ вліяніе Михайловскаго было огромно, но это не значитъ, что тогда всѣ подчинялись ему въ равной мѣрѣ. Съ пропагандой Михайловскаго конкурировала пропаганда писателей, работавшихъ въ „Дѣлѣ" Благосвѣтлова (Шелгуновъ, Ткачевъ, Омулевскій, Станюковичъ и друг.) и продолжавшихъ традицію писаревскаго воззрѣнія, традицію легкаго отрицанія и поверхностнаго радикализма съ шаблоннымъ протестомъ противъ метафизики, чистаго искусства и т. д. Эта „система" понятій усвоялась легче идей Михайловскаго съ ихъ глубиною и оригинальностью,—со всею разносторонностью умственныхъ интересовъ этого крупнаго и самобытнаго мыслителя. Многіе же изъ молодежи даже и не видѣли существенной разницы между радикализмомъ Михайловскаго и радикализмомъ, напр., Ткачева, кромѣ развѣ той, что для пониманія статей Михайловскаго требовались вдумчивость и извѣстная подготовка, чего не нужно было для пониманія статей Ткачева... Но тѣ, которые ревностно слѣдили за литературною дѣятельностью Михайловскаго и вдумывались въ его идеи, должны были, къ концу 70-хъ годовъ, признаться самимъ себѣ, что именно благодаря Михайловскому многое лишнее и легковѣсное въ популярномъ радикализмѣ ихъ воззрѣній отпало и на освободившееся мѣсто вступили какія-то новыя, болѣе сложныя мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ открылись новыя перспективы. Михайловскій велъ своихъ читателей куда-то дальше, между тѣмъ какъ критики и публицисты „Дѣла" лишь топтались все на томъ же мѣстѣ, безъ конца варіируя все тѣ же избитыя мысли...

По какимъ-то случайнымъ обстоятельствамъ Эртелю не удалось стать *настоящимъ* ученикомъ Михайловскаго, пройти школу его философской мысли.

Что Эртель въ 70-хъ годахъ не былъ *настоящимъ* ученикомъ Михайловскаго, это, между прочимъ, явствуетъ изъ слѣдующаго мѣста въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ (къ А. В. Погожевой, декабрь 1892 г.): „Забытыя

слова“ оттого вѣдь забываются столь быстро и часто, что мы воспринимаемъ ихъ нервами и, слѣдовательно, поверхностно. Михайловскіе напрасно ужъ такъ сваливаютъ на позорную короткость нашей памяти,—въ большинствѣ случаевъ память тутъ не при чемъ, а вотъ что эти же гг. Михайловскіе—плохіе кузнецы, такъ это вѣрно“... Дѣло идетъ о выработкѣ „безусловнаго пониманія добра и зла“ съ одной стороны и объ „условномъ дѣйствіи“ въ осуществленіи перваго и въ борьбѣ съ послѣднимъ съ другой. Въ этомъ дѣлѣ Эртель отдаетъ пальму первенства Л. Н. Толстому, который „попытался изъять нравственное credo изъ его внѣшнихъ опредѣленій, попытался основать его на камнѣ, а не на песцѣ...“ Михайловскій будто бы этого не умѣлъ дѣлать... Далѣе говорится, что „Христосъ сталъ костью въ горлѣ господамъ Михайловскимъ...“ Можно не раздѣлять многаго въ идеяхъ и построеніяхъ Михайловскаго, но человѣкъ, прошедшій въ молодости его школу и продумавшій его сочиненія, при всѣхъ разногласіяхъ, никогда не скажетъ, что Михайловскій былъ „плохой кузнецъ“ и не позволитъ себѣ отзываться въ такомъ тонѣ объ этомъ крупномъ мыслителѣ и проповѣдникѣ „правды-истины и правды-справедливости“.

Для Эртеля лично это обстоятельство, что онъ не прошелъ школу Михайловскаго, имѣло двоякое значеніе. Во-первыхъ, онъ перешелъ въ 80-е годы плохо вооруженнымъ и не могъ противопоставить новымъ направленіямъ и вѣяніямъ ту, если можно такъ выразиться, „несговорчивость“, какую обнаруживали истинные ученики Михайловскаго; оттуда—и легкость, съ которою уже въ началѣ 80-хъ годовъ Эртель разстается съ усвоеннымъ кодексомъ поверхностнаго радикализма. Во-вторыхъ, въ усвоеніи новаго, въ выработкѣ своего міросозерцанія и идеологіи Эртель, не пройдя школу Михайловскаго, былъ предоставленъ самому себѣ и былъ „свободенъ“ отъ нѣкоторыхъ предвзятыхъ точекъ зрѣнія, въ извѣстной мѣрѣ связывавшихъ умственную самодѣятельность „настоящихъ“ учениковъ Михайловскаго, который, вопреки утвержденію Эртеля, былъ отличный „кузнецъ“, дававшій мысли и волѣ своихъ учениковъ прочный закалъ.

Не видать—по письмамъ—и слѣдовъ другого вліянія,

которое въ 70-хъ годахъ было весьма благотворно — въ смыслѣ школы, дававшей и положительныя знанія, особенно цѣнныя для русскаго писателя, и необходимую дисциплину мысли. Я говорю о вліяніи Пыпина.

4.

Быть можетъ, если бы Эртель въ свое время подчинился вліянію Михайловскаго и воспринялъ его систему „правды-истины и правды-справедливости“, въ составъ которой входили элементы соціальнаго романтизма и умѣреннаго народничества, то ему не такъ-то легко было бы освободиться — въ 80-хъ годахъ — отъ одной изъ могущественныхъ идей предыдущей эпохи,—отъ догмата, гласящаго, что *интеллигенція находится въ неоплатномъ долгу передъ народомъ и обязана выплатить хоть часть его*. Въ радикализмѣ писаревской традиціи этотъ догматъ не игралъ столь видной роли и былъ только механически присоединенъ къ нему. Во всякомъ случаѣ мы видимъ, что въ 80-хъ годахъ Эртель, вслѣдъ за шаблономъ поверхностнаго радикализма и отрицанія, сбрасываетъ съ себя и гнетъ вышеуказанной догмы, обоснованіе которой было дѣломъ преимущественно Лаврова и Михайловскаго. Вотъ что читаемъ въ уже цитированномъ письмѣ Эртеля къ А. С. Пругавину, гдѣ рѣчь идетъ о народничествѣ (отъ 22 февраля 1891 г.): „Нѣтъ, по-моему рѣшительно нужно разстаться съ этими тремя китами народничества: *съ долгомъ, обязанностями и расплатою* *). *Все это — метафизика, нимало не убѣдительная* **). Да въ ней нѣтъ и надобности, такъ же какъ нѣтъ надобности въ какомъ-либо формальномъ обоснованіи народничества...“ (стр. 242). И засимъ, присоединяясь къ мнѣнію Златовратскаго, что народничество—не доктрина, а *настроеніе*, Эртель говоритъ: „Не будемъ разбирать, насколько былъ послѣдователенъ Н. Н. (Златовратскій), сказавши это, но согласимся, что онъ сказалъ сущую правду. Какъ доктрина, какъ партія,

*) Курсивъ Эртеля.

**) Курсивъ мой.

какъ ученіе—„народничество“ рѣшительно не выдерживаетъ критики, но въ смыслѣ *настроенія* оно и хорошая, и вліятельная сила“ (243).

Эти умныя слова выгодно оттѣняютъ самостоятельность ума Эртеля и въ то же время характеризуютъ эпоху, когда интеллигенція стихійно стремилась къ освобожденію отъ слишкомъ ригористическихъ и „аскетическихъ“ идей 70-хъ годовъ, этого „героическаго періода“ въ ея исторіи.

Мысль о колоссальномъ *долгѣ* передъ народомъ, вѣками накопленномъ, и моральное требованіе *расплаты* принадлежатъ къ числу тѣхъ заманчивыхъ идей, которыя подкупаютъ своею кажущеюся очевидностью, быстро превращаются въ аксіому и догму и—на первыхъ порахъ—дѣйствуютъ на душу облагораживающимъ образомъ. Въ своемъ родѣ это — „насъ возвышающій обманъ“, заставляющій человѣка серьезно задуматься о своихъ гражданскихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ народу и приводящій къ великодушному самоотреченію, къ жертвамъ ради народнаго блага. Но когда власть этого „догмата“ становится чрезмѣрною и затяжною; когда онъ получаетъ значеніе въ своемъ родѣ религіозное; когда „народъ“ превращается въ какого-то Джагернаута, а интеллигенція—въ фанатическую толпу вѣрующихъ, бросающихся подъ колесницу этого идола, — тогда обнаруживается воочію оборотная сторона медали и выясняется, что „долгъ“, о которомъ тутъ идетъ рѣчь, есть очень условный и почти фантастическій долгъ и что народническое понятіе этого долга само собою доводится до абсурда. Такую reductio ad absurdum и сдѣлали идеологи крайняго народничества въ 80-хъ годахъ: интеллигенція, чтобы уплатить хоть часть своего долга народу. должна отказаться отъ всего, что не нужно народу, — отъ высшихъ умственныхъ интересовъ, отъ науки, философіи, искусства, даже отъ идеи политической свободы и т. д. Съ точки зрѣнія крайняго народничества выходило, что, напр., Лесевичъ, посвятившій свою жизнь изученію и популяризаціи критической философіи, подлежитъ осужденію, какъ человѣкъ, уклоняющійся отъ служенія народу въ угоду своимъ умственнымъ прихотямъ, ибо какое дѣло мужику до Канта, Конта, Риля и Авенаріуса... Послѣдовательно проведенная до ея логическаго конца, народническая идея при-

водила къ полному обезцѣненію и упраздненію высшихъ благъ: интеллигенцію призывали стремиться не къ истинѣ, правдѣ, справедливости, свободѣ, а къ тому, что казалось совпадающимъ съ нуждами и самой психологіей и даже міросозерцаніемъ русскаго мужика.

Когда интеллигенція перестаетъ цѣнить высшія духовныя блага, тогда она уже на пути къ самоуничтоженію, а это, несомнѣнно, противорѣчитъ идеѣ народнаго блага, правильно понятой и широко поставленной. Ибо народу, обнаруживающему задатки историческаго развитія, необходима многочисленная и сильная духомъ интеллигенція, къ которой слѣдуетъ предъявлять лишь одно требованіе: чтобы она не замыкалась въ классовыя рамки, а служила высшимъ интересамъ человѣчности, — сюда, само собою, входитъ и требованіе согласовать свои стремленія съ правильно понятыми интересами народа.

Нынѣ это положеніе стало трюизмомъ. Въ 70-хъ годахъ оно—въ глазахъ многихъ—было „ересью“. Занятія чистою наукою, „чистымъ“ искусствомъ и т. д. допускались, какъ поблажка; возводить ихъ въ неотъемлемое право интеллигенціи казалось зазорнымъ. Вѣчная мысль о служеніи народу, боль совѣсти отъ сознанія неоплаченнаго долга, слѣпая вѣра въ догматъ о призваніи интеллигенціи—утонуть въ народномъ морѣ, — все это стѣсняло ея внутреннюю свободу, ограничивало кругъ ея интересовъ и дѣятельности и нерѣдко искажало ея работу на разныхъ поприщахъ умственнаго труда. 80-е годы были эпохою перелома, когда интеллигенція не безъ усилій и коллизій сбрасывала съ себя иго гнетущей идеи и завоевывала свободу самоопредѣленія и исканій. Эртель былъ однимъ изъ тѣхъ, которые пережили этотъ кризисъ и вышли изъ него людьми свободными, смѣло заявляя, что ничто человѣческое имъ не чуждо.

Въ уже цитированномъ письмѣ къ Пругавину находимъ любопытную страницу, гдѣ Эртель старается доказать, что идея „долга народу“ не выдерживаетъ критики (стр. 242). Итогъ этой ликвидаціи народническихъ увлеченій подведенъ въ позднѣйшемъ письмѣ къ Погожевой (21 августа 1898 г.), гдѣ Эртель говоритъ: „...А народническія грезы—грезы и больше ничего. У меня ихъ очень-то много никогда

не было, а теперь я излѣчился и отъ тѣхъ немногихъ, которыя были...“ (стр. 365).

Освобожденіе отъ власти народнической догмы повело за собою и дальнѣйшее освобожденіе—отъ всѣхъ интеллигентскихъ догмъ, въ томъ числѣ и отъ той, которая гласила, что только научная (критическая) философія заключаетъ въ себѣ истину, а всѣ метафизическія системы—ложь и пустая игра ума, нестоящая вниманія. Въ письмѣ къ Лесевичу находимъ слѣдующія мысли, въ которыхъ проявилась свобода и проницательность ума Эртеля: „...я не согласенъ съ тѣми (и съ Вами, конечно), которые приговариваютъ метафизику къ совершенному упраздненію, обвиняютъ ее въ непремѣнномъ помраченіи умовъ, въ томъ, что она есть поборница всяческаго застоя и мракобѣсія. Разумѣется, нужно гнать ее изо всѣхъ силъ оттуда, гдѣ ей не мѣсто, нужно, елико возможно, обуздывать ея притязанія, но упразднять ее, сдавать въ архивъ, мнѣ кажется, столько же неосновательно, сколько изгонять роль воображенія въ наукѣ, роль гипотезъ, или желать исчезновенія тѣхъ „метафизическихъ“ размышленій и обобщеній, которыя сплошь и рядомъ найдутся въ произведеніяхъ Шекспира, Гете, Байрона. Мнѣ представляется, что произведенія великихъ метафизиковъ, Платона, Декарта, Спинозы, Гегеля, Шопенгауера и другихъ, никогда не перестанутъ имѣть свойственное имъ обаяніе на умы и чувства людей, какъ не перестанутъ имѣть обаяніе „Фаустъ“, „Манфредъ“, „Гамлетъ“, „Война и Миръ“. Съ этой точки зрѣнія въ высшей степени было бы интересно прочитать вмѣстѣ съ критикой извѣстнаго ученія строгонаучное, т. е. безпристрастное изслѣдованіе жизни, характера, свойствъ ума автора такого ученія“ (письмо отъ 7 февр. 1889 г., стр. 139).

Здѣсь обращаютъ на себя вниманіе и привлекаютъ наше глубокое сочувствіе двѣ точки зрѣнія: 1) *признаніе самоцѣнности и вѣчности высшихъ продуктовъ человѣческаго генія, философскаго и художественнаго, и 2) поворотъ интереса отъ положительныхъ результатовъ, отъ выводовъ, отъ догмы того или иного ученія къ самому процессу философскаго творчества въ связи съ изученіемъ „свойствъ ума“ мыслителя, его жизни и характера.*

Передъ нами одинъ изъ любопытнѣйшихъ случаевъ того *преодолѣнія догматизма мышленія*, которое исподволь совершалось во многихъ и разныхъ умахъ въ разсматриваемую эпоху, продолжалось съ перерывами и уклонами въ 90-хъ годахъ и не завершилось еще и доселѣ. Конечно, свободные, недогматическіе умы бывали у насъ во всѣ эпохи, но они стояли одиноко, въ сторонѣ отъ общаго движенія умовъ, или же, участвуя въ немъ, принуждены были силою вещей поступаться доброю долею своей свободы и подчиняться въ извѣстной мѣрѣ ферулѣ властныхъ идей, легко превращающихся въ родъ догмы и также въ предразсудокъ, который, какъ извѣстно, сильнѣе всякой догмы. Лишь въ 80-хъ годахъ освобожденіе умовъ отъ неподвижныхъ догмъ, народническихъ и иныхъ, отъ предразсудковъ въ отношеніи къ „метафизикѣ", къ „чистому искусству" и т. д., отъ шаблонныхъ „истинъ", принятыхъ на вѣру, обозначилось какъ знаменіе времени и какъ симптомъ поворота умственныхъ вкусовъ отъ догматическаго мышленія къ недогматическому.

Въ связи съ этимъ произошла въ 80-хъ годахъ и ликвидація пресловутой „ссоры отцовъ и дѣтей", начавшейся еще во второй половинѣ 50-хъ годовъ и затянувшейся до конца 70-хъ. Знакомство Эртеля съ П. А. Бакунинымъ было любопытнымъ эпизодомъ въ этой ликвидаціи. Защищая Бакунина отъ нападокъ Лесевича, Эртель писалъ послѣднему: „...взятый со всѣми его традиціями—*съ этой неуловимо-привлекательной закваской 40-хъ годовъ* *), съ этой непрестанной „выспренностью" мысли, съ наклонностью обобщать, осмысливать, одухотворять явленія, съ стройностью и хотя бы только внѣшнимъ благообразіемъ міровоззрѣнія, со всегдашнимъ благодушіемъ въ спорахъ,—взятый со всѣми этими традиціями, онъ, по моему мнѣнію, право же, нѣчто болѣе крупное, чѣмъ простая замѣна сплетни, картъ и выпивки..." (стр. 138—139).

5.

Вопросы высшей идеологіи занимаютъ первенствующее мѣсто въ письмахъ Эртеля. Передъ нами—мыслящій чело-

---

*) Курсивъ мой.

вѣкъ 80-хъ годовъ, неудовлетворенный тѣми рѣшеніями, какія были господствующими въ 70-хъ годахъ, и ищущій новыхъ отвѣтовъ на старые вопросы: гдѣ истина? что дѣлать?

Революціонная и соціалистическая идеологія 70-хъ годовъ не удовлетворяетъ его. Въ народничествѣ онъ разочаровался. Безапелляціонныя рѣшенія нашего русскаго радикализма — по вопросамъ философіи, религіи, морали, искусства—казались ему теперь крайне поверхностными, односторонними и несостоятельными.

Новые горизонты открыло ему ученіе Толстого. Оно шло навстрѣчу религіознымъ потребностямъ, глубоко заложеннымъ въ душѣ Эртеля и такъ долго остававшимся безъ удовлетворенія или даже безъ проявленія. Эртель безспорно принадлежалъ къ тѣмъ натурамъ, которыя раньше или позже фатально приходятъ къ постановкѣ основныхъ вопросовъ религіознаго сознанія и притомъ такъ, что эти вопросы получаютъ у нихъ значеніе практическое, глубоко-жизненное: отъ ихъ рѣшенія зависитъ и все прочее, чѣмъ человѣкъ „живъ".

Изученіе религіозно-моральныхъ сочиненій Толстого, въ особенности „Исповѣди", очень помогло Эртелю въ его религіозныхъ исканіяхъ. Онъ обращается къ Христу...

Любопытно отмѣтить, что съ годами голосъ его религіознаго чувства раздавался все громче и настойчивѣе. По мѣрѣ того, какъ выработка новой идеологіи подвигалась впередъ, замѣтнѣе выступали ея религіозныя основы. И когда „постройка" была уже готова, Эртель почувствовалъ всю силу и жгучесть вопросовъ о Божествѣ, о безсмертіи души, о загробной жизни.—Это характерный признакъ натуръ по призванію религіозныхъ. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ (1902 г., къ Б. Д. Вострякову) онъ говоритъ, что, по его убѣжденію, „человѣкъ *безъ религіи*—существо жалкое и несчастное",—и онъ протестуетъ противъ „дешеваго, непродуманнаго „свободомыслія", подъ которымъ чаще всего скрывается невѣжество и глубокое равнодушіе къ высшимъ интересамъ и запросамъ духа..." (стр. 391).

Прочтемъ еще слѣдующее (изъ письма къ Погожевой 1899 г.)—о смерти: „рѣшительно не доказано, что по ту сторону ничего нѣтъ, какъ не доказано и противнаго, если не считать за доказательство *неутолимую жажду безсмер-*

тія, свойственную всякому человѣческому существу *),— и вотъ, умирая, мы, можетъ быть, вступаемъ въ міръ изумительныхъ открытій..." (стр. 375). „Это ли не интересно!" заканчиваетъ онъ эту тираду. Все письмо, очень любопытное, направлено въ защиту здороваго оптимизма, „вкуса къ жизни", какъ онъ выражается, и въ этомъ оптимизмѣ ясно сквозитъ свѣтлое міросозерцаніе *религіознаго* человѣка, находящаго въ религіозномъ подъемѣ надежное противоядіе противъ всѣхъ отравъ жизни и самой смерти. Замѣтимъ еще, что тезисъ о неутолимости жажды безсмертія, будто бы свойственной всякому человѣческому существу, это— одна изъ апріорныхъ и иллюзорныхъ идей, которыя свойственны именно натурамъ религіознымъ.

Въ отношеніи къ основному вопросу всѣхъ религій— о природѣ божества, о понятіи о Немъ, — Эртель былъ чуждъ догматизма и не только не искалъ положительнаго рѣшенія этого вопроса, но и отвергалъ самую возможность рѣшить его. Въ этомъ смыслѣ онъ былъ, если можно такъ выразиться, „религіозно-невѣрующій",—онъ стоялъ на точкѣ зрѣнія религіознаго агностицизма. Нельзя доказать существованія Бога, но наличность божественнаго, сверхчувственнаго (трансцендентнаго) начала въ космосѣ чувствуется и въ извѣстной мѣрѣ открывается интимному воспріятію, въ которомъ есть что-то сродни художественному постиженію, поэтической интуиціи. Яснѣе открывается это начало въ добрѣ, въ категорическомъ императивѣ совѣсти, въ вѣковѣчныхъ стремленіяхъ человѣчества къ идеалу и нравственному совершенствованію, а всего опредѣленнѣе и ярче—въ жизни и проповѣди Христа.

На этомъ послѣднемъ пунктѣ главнымъ образомъ и сошелся Эртель съ ученіемъ Толстого, гдѣ онъ нашелъ многое, чему онъ всей душой сочувствовалъ: проповѣдь любви къ ближнему, отрицаніе насилія въ борьбѣ со зломъ (съ ограниченіями), критику отрицательныхъ сторонъ цивилизаціи, проповѣдь личнаго нравственнаго совершенствованія.

Но въ системѣ идей Толстого было многое, съ чѣмъ Эртель согласиться не могъ. Сюда относится все антиисто-

*) Курсивъ мой.

рическое въ воззрѣніяхъ Толстого, огульное отрицаніе закономѣрнаго хода вещей въ цивилизованномъ мірѣ, отрицаніе науки и искусства, аскетическія требованія, въ особенности же пренебрежительное отношеніе къ общественной борьбѣ, къ реформамъ, къ историческому прогрессу, совершающемуся въ предѣлахъ мѣста и времени. Не могъ сочувствовать Эртель, уже отрѣшившійся отъ народническихъ традицій и иллюзій, и тому культу мужика и крестьянскаго быта, который составляетъ неотъемлемую часть доктрины Толстого *).

Все романтическое и утопическое въ этой доктринѣ не было пріемлемо для Эртеля уже въ силу той коренной черты его натуры и ума, которую можно опредѣлить выраженіями: *глубокая жизненность и здоровая жизнедѣятельность натуры и практическая трезвость ума.* Въ силу этихъ свойствъ Эртель въ своей жизни являлся не столько писателемъ и идеологомъ, сколько человѣкомъ живого общественнаго дѣла, „культурнымъ піонеромъ", а въ своей идеологической работѣ, въ своей дѣятельности, какъ мыслящаго и передового человѣка, никогда не терялъ почвы подъ ногами и умѣлъ отдѣлять достижимое отъ утопичнаго, возможное отъ невозможнаго, нужное отъ ненужнаго.

Къ разсмотрѣнію этой коренной черты Эртеля мы теперь и обратимся.

6.

В. П. Кранихфельдъ („Соврем. Міръ", 1909, февр., „Литературные отклики") справедливо указываетъ на то, что настоящимъ призваніемъ Эртеля была не литература, а практическая дѣятельность въ сферѣ крупныхъ капиталистическихъ предпріятій, преимущественно сельскохозяйственныхъ. Здѣсь онъ обнаруживалъ настоящій талантъ. Цитируя одно мѣсто изъ письма къ Петрову (1896 г.), гдѣ Эртель распространяется о своемъ увлеченіи „агрономіей"

---

*) Отношенія Эртеля къ „толстовству" отразились преимущественно въ его письмахъ къ В. Г. Черткову, часто переходящихъ въ полемику, а также и въ другихъ (напр., къ Лесевичу, Короленкѣ и друг.).

(въ качествѣ управляющаго Хлудовскими имѣніями) и говоритъ: „не знаю, надолго ли хватитъ этого хмеля“, В. П. Кранихфельдъ поясняетъ, что этого „хмеля хватило надолго,—на всю жизнь“.—„Потеря самостоятельнаго положенія мелкаго хуторянина,—читаемъ дальше,—вполнѣ искупается для него крупнымъ масштабомъ хозяйства, поступившаго въ его распоряженіе. Теперь Эртель въ своей стихіи...“ („Соврем. Міръ“, 1909, февр., II, 122). Это иллюстрируется чертами изъ его дѣятельности и цитатами изъ письма къ Гольцеву (1898 г.). Въ свою очередь и Гершензонъ (въ предисловіи къ „Письмамъ Эртеля“) отмѣчаетъ у Эртеля практическую сноровку, дѣловитость, вкусъ къ живой дѣятельности, понимая подъ этой послѣдней не только дѣятельность сельскаго хозяина, но и всякое дѣло жизни, каково бы оно ни было. Онъ причисляетъ Эртеля къ типу „дѣлателей жизни“.—„О немъ (говоритъ Гершензонъ) „ошибочно бы сказать, что онъ былъ даровитымъ писателемъ или даровитымъ агрономомъ: онъ обладалъ въ сущности однимъ талантомъ—рѣдкимъ талантомъ жить, и все остальное было отсюда“.

И оба автора, Гершензонъ и Кранихфельдъ, хотятъ связать міросозерцаніе Эртеля съ указанною особенностью его натуры. Гершензонъ говоритъ, что міросозерцаніе Эртеля „носитъ совершенно практическій характеръ“, что „это—система идей, въ которой учтены всѣ силы, какими строится жизнь,—какъ матеріальныя, такъ и нравственныя,—и которая въ цѣломъ представляетъ собою какъ бы руководство поведенія“ (IV).—В. П. Кранихфельдъ, съ своей точки зрѣнія, видитъ въ міросозерцаніи Эртеля характерную идеологію піонера „буржуазной культуры“.

Гершензону можно возразить, что всѣ русскія идеологіи, каждая по-своему, учитывали матеріальныя и нравственныя силы, которыми строится жизнь, и всѣ онѣ являлись „руководствомъ поведенія“, — отвѣтомъ на вопросъ: „какъ мнѣ жить свято?“ *). И слѣдовательно, это жизнедѣятельное направленіе отнюдь не является исключительною особенностью идеологіи Эртеля. Съ точкою зрѣнія В. П. Кранихфельда я могу согласиться лишь отчасти: если хоро-

*) Извѣстное выраженіе Михайловскаго.

шенько поискать, то въ идеологіи Эртеля найдутся *нѣкоторыя черты,* которыя обосновываются на психологіи „піонера буржуазной культуры“ въ лучшемъ смыслѣ слова; но важнѣйшіе элементы міросозерцанія Эртеля не имѣютъ ни прямого, ни косвеннаго отношенія къ его „культуртрегерству“. Ни признаніе самоцѣнности высшихъ духовныхъ благъ, ни религіозная тяга, ни преодолѣніе народнической догмы, ни сочувствіе ученію Толстого не могутъ считаться непремѣнною принадлежностью „буржуазной“ идеологіи.

Видя въ Эртелѣ по преимуществу „провозвѣстника буржуазной культуры“, В. П. Кранихфельдъ утверждаетъ, что „соціалистомъ Эртель никогда не былъ и не притворялся таковымъ“, хотя, по свидѣтельству К. Левина, „культурная и организаціонная работа соціалъ-демократіи глубоко интересовала Александра Ивановича“ („Совр. Міръ“, 1909, февр., II, 124).

Это показаніе К. Левина представляется мнѣ весьма знаменательнымъ и, какъ я думаю, подтверждается данными писемъ. Я не могу согласиться съ категорическимъ утвержденіемъ В. П. Кранихфельда, что Эртель не былъ соціалистомъ. Правда, онъ не былъ имъ въ смыслѣ принадлежности къ той или иной соціалистической партіи, онъ не подписался бы ни подъ какою программою этихъ партій. Но соціалистическіе элементы въ его идеологіи несомнѣнно были и остались тамъ до конца его жизни. Такъ, онъ сочувствовалъ идеѣ національзаціи земли, хотя, разумѣется, не вѣрилъ въ возможность скораго ея осуществленія. Въ складѣ его ума не было ничего утопическаго, но вѣдь это не мѣшаетъ, а скорѣе помогаетъ человѣку быть адептомъ соціалистической идеи въ ея раціональномъ и исторически оправдываемомъ смыслѣ. И вотъ мы видимъ, что, несмотря на пренебрежительные отзывы о русскомъ „марксизмѣ“, попадающіеся въ письмахъ, Эртель понимаетъ закономѣрный ходъ вещей въ направленіи отъ современнаго капиталистическаго строя къ иному, высшему и болѣе справедливому — соціалистическому — укладу хозяйственныхъ отношеній и къ соотвѣтственному преобразованію самой государственности. Вотъ что читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ къ Черткову (18 дек. 1895), гдѣ Эртель старается объяснить своему другу,

почему молодежь не можетъ сочувствовать „анархизму" толстовцевъ и уходитъ въ ряды „марксистовъ", почему она „цѣликомъ втянута въ экономическіе вопросы, въ пресловутый экономическій матеріализмъ, въ изученіе исторіи съ точки зрѣнія пищи, одежды и жилища...": „Соціалистическіе успѣхи въ Германіи, гдѣ государственность съ каждымъ годомъ утрачиваетъ свой феодальный характеръ,—несмотря на истерическія рѣчи Вильгельма, — и гдѣ вотъ-вотъ произойдетъ неслыханное перемѣщеніе интересовъ и силъ, наиболѣе содѣйствуютъ этому нынѣшнему увлеченію *). Чтобы отчаяться въ такомъ увлеченіи, конечно, недостаточно одной проповѣди... [2]), для того, чтобы отчаяться, нужны факты, ужасные, ошеломляющіе и духъ, и тѣло, въ родѣ, напр., дикой, разбойнической римской имперіи временъ Нерона, но исторія, напротивъ, дѣлая все болѣе невозможной имперію Нерона, все болѣе манитъ и соблазняетъ людей перспективою *рабочаго*, свободнаго, справедливаго государства. Какъ же вы хотите, чтобы вамъ сочувствовали, когда вы совершенно отрицаете *всякую* государственность, будь она Нерона или Бебеля?.." (стр. 339).

Итакъ, Эртель видѣлъ и понималъ историческую „перспективу", ему было ясно, *куда* „манитъ" людей сама исторія. Чтобы это видѣть и понимать, нѣтъ надобности непремѣнно быть „марксистомъ" — въ нѣмецкомъ или русскомъ смыслѣ этого слова,—все равно какъ для того, чтобы стоять на точкѣ зрѣнія научной, критической философіи, нѣтъ надобности непремѣнно быть позитивистомъ во французскомъ смыслѣ или кантіанцемъ—въ нѣмецкомъ. Для того, какъ и для другого, нужно одно: отправляться не отъ идеала, не отъ личныхъ, партійныхъ, классовыхъ и т. д. симпатій, антипатій, стремленій, а отъ дѣйствительности, но только не въ ея statu quo, а въ ея движеніи, въ ея прогрессивной эволюціи и умѣть—съ этой точки зрѣнія—разбираться въ путаницѣ историческаго хода вещей. Эртель умѣлъ дѣлать это, хотя могъ и ошибаться въ частностяхъ, какъ ошибаются другіе. Доктрина Толстого во многомъ ка-

---

*) „Марксизмомъ"—въ 90-хъ гг.

**) Въ родѣ толстовской.

залась ему возвышеннѣе и симпатичнѣе, напр., идей нѣмецкой соціалъ-демократіи, но онъ ясно видѣлъ и понималъ, что закономѣрный ходъ вещей, основанный на прогрессивной эволюціи человѣческой культуры, идетъ отнюдь не въ направленіи толстовскаго „анархизма“, а совсѣмъ въ другомъ направленіи — соціализаціи современнаго капиталистическаго строя и государства. Онъ ошибался, когда ожидалъ, что въ Германіи „*вотъ-вотъ*“ произойдетъ неслыханное перемѣщеніе интересовъ и силъ (ошибка или увлеченіе объясняется тогдашними успѣхами нѣмецкихъ соціалъ-демократовъ на выборахъ, вскружившими голову многимъ), но ожиданіе такого „перемѣщенія“ въ будущемъ вполнѣ законно и даже обязательно—для человѣка раціонально мыслящаго и понимающаго закономѣрный ходъ вещей,—„откуда и куда мы идемъ“.

Вотъ именно, поскольку Эртель стоялъ на твердой почвѣ этого *объективнаго* мышленія (не только по данному вопросу—о прогрессивной эволюціи капитализма въ направленіи къ соціализму, но и по разнымъ другимъ вопросамъ жизни, въ особенности нашей русской жизни), постольку его идеологію, по праву, можно признать глубоко-жизненною и видѣть въ ней выраженіе здоровой, жизнерадостной натуры и трезваго, практическаго ума Эртеля.

Эта „жизненность“ сказалась, между прочимъ, въ сочувствіи Эртеля пропагандѣ Эд. *Бернштейна*. Вотъ что писалъ онъ объ извѣстной книгѣ послѣдняго (Н. Я. Петрову, 2 нояб. 1899 г.): „Выводы Бернштейна тѣмъ въ особенности хороши, что какъ-никакъ, но кладутъ мостикъ между дѣйствительностью и теоріей, напоминаютъ значеніе и обязательность компромисса, органическую связь „историческихъ моментовъ“, чрезвычайную условность такъ-называемыхъ „кризисовъ“, огромную роль существующаго государственнаго устройства. Однимъ словомъ, изъ міра спекулятивныхъ построеній и вытекавшихъ отсюда фантастическихъ дѣлъ и чувствъ эта новая „звѣзда“ указуетъ молодежи путь, гдѣ маятникъ движется, какъ и слѣдуетъ маятнику: въ условіяхъ сопротивленія среды, а не въ безвоздушномъ пространствѣ...“ (стр. 378).

Эртель не сочувствовалъ революціонному и утопическому соціализму, потому и всѣ пережитки и старыя традиціи,

унаслѣдованныя соціалъ-демократіей (въ особенности нашей) отъ прошлаго, отъ былыхъ революцій и заговоровъ, отъ „подпольнаго“ революціоннаго „сектантства“, мѣшали ему раздѣлять программу и политику современной соціалъ-демократіи въ цѣломъ. Практикъ въ жизни и реалистъ въ мышленіи, натура жизнедѣятельная, онъ—въ своей идеологической „постройкѣ“—рѣшительно отвергъ „спекулятивныя построенія“ въ соціализмѣ и связанныя съ нимъ „фантастическія дѣла и чувства“ и привѣтствовалъ всякій шагъ впереддъ въ направленіи согласованія „теоріи“ съ дѣйствительностью,—поворотъ отъ революціонныхъ обольщеній къ „реальной политикѣ“.

Приведенныя цитаты вывели насъ далеко за предѣлы 80-хъ годовъ. Возвращаясь назадъ, я попробую подвести итогъ, всему, изложенному въ этой главѣ, и охарактеризовать Эртеля — какъ дѣятеля 80-хъ годовъ, по своему глубоко пережившаго тотъ кризисъ идей и настроеній, какимъ эта эпоха такъ замѣтно разнится отъ предыдущей и послѣдующей.

Гершензонъ мимоходомъ высказалъ замѣчаніе, что „нельзя вообразить себѣ большаго контраста, нежели тотъ, который представляла эта полнокровная натура (Эртеля) среди худосочной и вялой русской интеллигенціи 80-хъ годовъ“. Съ этой мыслью я не могу согласиться. Я вижу здѣсь слѣды той иллюзіи, въ силу которой 80-е годы окрашивались въ глазахъ многихъ въ однообразный сѣренькій цвѣтъ и рисовались какъ классическая эпоха „чеховщины“, т.-е.—неврастениковъ въ родѣ чеховскаго Иванова, разныхъ „нытиковъ“, „хмурыхъ людей“, дряблыхъ и ни къ чему негодныхъ натуръ—въ родѣ Лаевскаго (въ „Дуэли“ Чехова) и т. д. Однако же, въ 80-е годы, несмотря на затяжную и удручающую реакцію—правительственную и общественную, жизнь шла своимъ чередомъ, и слышались среди унынія и затишья бойкія рѣчи, раздавался веселый смѣхъ (хотя бы того же Чехова), появлялись бодрыя натуры и смѣлые умы, несклонные къ нытью и бездѣйствію; рядомъ съ „худосочными“ можно было видѣть и „полнокровныхъ“....

Въ 80-хъ годахъ развернулась литературная дѣятельность и Чехова, и Короленка, и того же Эртеля и по-

явился рядъ молодыхъ писателей, вовсе не расположенныхъ къ унынію.

Въ предыдущихъ главахъ я старался охарактеризовать эпоху съ различныхъ сторонъ: и со стороны упадка и реакціи, и со стороны новыхъ интересовъ, философскихъ, религіозныхъ и др., тогда возникшихъ, и наконецъ—въ томъ ея отраженіи, которое она получила въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ Чехова („Скучная исторія", „Ивановъ", „Жена"). Эпоха была богата разнообразными, часто противорѣчивыми элементами, — и „полнокровная" фигура Эртеля не представляетъ никакого контраста съ нею, если взять эпоху въ ея цѣломъ, а не только со стороны ея „худосочія".

Если же взглянемъ на нее, какъ на эпоху разброда идей, ломки и кризиса прежнихъ идеологій и перехода къ новымъ настроеніямъ и исканіямъ, то Эртель не только не будетъ представлять контраста съ нею, а, напротивъ, явится однимъ изъ ея типичныхъ представителей. Письма Эртеля 80-хъ годовъ удивительно гармонируютъ со „злобою" времени, отражая тѣ разочарованія, исканія и увлеченія, какія были тогда общими въ мыслящихъ и передовыхъ кругахъ.

Даже въ узкихъ хронологическихъ рамкахъ личная—внутренняя—жизнь Эртеля совпадаетъ съ идейною жизнью эпохи. Острый періодъ ломки стараго и разброда идей, какъ извѣстно, относится къ первой половинѣ 80-хъ годовъ, когда мыслящіе люди остались „безъ догмата" и когда одни изъ нихъ напряженно искали новаго „догмата" то въ сочиненіяхъ Достоевскаго и въ философіи Вл. Соловьева, то въ „толстовствѣ", тогда возникавшемъ, и въ родственныхъ ему теченіяхъ („интеллигентныя колоніи"—по принципу: „сѣсть на землю и жить трудами рукъ своихъ"), а другіе до поры, до времени вовсе не искали никакихъ „догматовъ" и впадали въ идеологическій индифферентизмъ. Къ этому-то времени и относится личный кризисъ Эртеля, о которомъ онъ выражается такъ: „Я видѣлъ сумятицу и своей и общественной жизни; я зналъ, что въ этой сумятицѣ человѣку будетъ легче жить, если осуществятся тѣ или иныя *внѣшнія* перемѣны,... въ общественной жизни осуществится мысль о политической

свободѣ, о націонализаціи земли... Но для чего это? Зачѣмъ, если жизнь все равно безсмысленна и жестока,— у меня не было отвѣта, потому что горькое чувство отчаянія подсказывало мнѣ, что—все равно, какія бы ни были внѣшнія перемѣны въ моей личной и общественной жизни,—это все одна игра, потому что незачѣмъ жить..." Далѣе онъ говоритъ о томъ, что, плохо вѣря въ возможность „внѣшнихъ перемѣнъ", онъ по какому-то упрямству все-таки „энергично добивался этихъ внѣшнихъ перемѣнъ" и что эта „работа" смѣнялась періодами „самой полной апатіи, самаго полнаго упадка силъ, самаго рѣшительнаго отчаянія..." („Автобіографія", 30). — Это былъ, несомнѣнно, кризисъ перехода отъ революціонныхъ иллюзій 70-хъ годовъ къ разочарованію и „аполитизму" 80-хъ; тутъ и „духъ унынія", характерный — какъ одинъ изъ элементовъ—для этой переходной эпохи; тутъ и совпавшее съ пропагандою Толстого перенесеніе центра тяжести интересовъ отъ „внѣшнихъ перемѣнъ" къ внутреннему міру человѣка. На почвѣ разочарованія и апатіи явилось и сильное нервное разстройство: отъ „малѣйшихъ причинъ" Эртель, по его признанію, плакалъ, а „иногда одна игра воображенія заставляла его несказанно страдать и волноваться..." (тамъ же). Такимъ образомъ, и „полнокровному" Эртелю пришлось отдать свою дань и духу унынія, и апатіи, и пресловутой нервозности того времени,—когда въ изобиліи появились у насъ разныя формы неврастеніи и психозовъ.

Оздоровленіе и душевное прояснeніе началось для Эртеля съ 1885 года (въ Твери, гдѣ такъ благотворно было для него общеніе съ П. А. Бакунинымъ, И. И. Петрункевичемъ, Н. Н. Ге и др.) и быстро шло впередъ—опять-таки въ ногу съ общимъ идейнымъ движеніемъ времени: въ эти годы кратковременный разбродъ идей оканчивался и намѣчались — не новыя догмы, а новые горизонты, которые всегда важнѣе догмъ, — горизонты философскіе, религіозные, общественные, моральные. Эртель усваиваетъ большую часть матеріала умственныхъ и моральныхъ интересовъ времени, и его сильный и ясный умъ постепенно пробивается сквозь путаницу разнорѣчій и туманъ недоумѣній къ тому раціональному, здоровому міросозерцанію,

которое онъ изложилъ въ своихъ письмахъ. „Постройка", хотя и воздвигавшаяся изъ разнороднаго матеріала, взятаго, по его собтсвенному признанію, изъ разныхъ источниковъ (тутъ и Толстой, и Гегель, и Спенсеръ, и великіе поэты, и многое другое), вышла однако далеко не „эклектическою". Это—не искусственное соединеніе противорѣчивыхъ идей, а претвореніе ихъ въ нѣчто новое, *свое*, въ систему, не лишенную цѣльности и отвѣчающую, какъ высшимъ запросамъ духа, такъ и практическимъ вопросамъ жизни. Въ началѣ 90-хъ годовъ „постройка" была почти закончена. И вмѣстѣ съ тѣмъ къ этому времени созрѣла и обнаружилась та коренная черта натуры Эртеля, которую называютъ его „культуртрегерствомъ". Этой чертѣ предстояло проявиться въ самой дѣятельности Эртеля, и, упражняясь на практикѣ, она, конечно, вліяла и на систему его идей. Подъ ея вліяніемъ Эртель приходитъ, между прочимъ, къ высокой оцѣнкѣ благъ цивилизаціи (въ противовѣсъ ея отрицательнымъ сторонамъ, на которыя прежде онъ обращалъ преимущественное вниманіе), становится панегиристомъ интенсивной матеріальной и духовной культуры, вѣками воспитывающей народы и расчищающей пути дальнѣйшаго прогресса, выражаетъ рѣзкое порицаніе революціоннымъ выступленіямъ съ ихъ вандализмомъ, наконецъ, высказываетъ глубоко-пессимистическое сужденіе о русскомъ народѣ, о мужикѣ, который теперь представляется ему „дикаремъ", не обнаруживающимъ способности и стремленія къ культурному развитію.

ГЛАВА IX.

Демократъ-культуртрегеръ 80-хъ гг.—«Василій Теркинъ», романъ П. Д. Боборыкина.

1.

Типъ культуртрегера, воодушевленнаго идеей общаго блага и стремящагося согласовать свою дѣятельность съ требованіями морали и идеала, принадлежитъ у насъ къ

числу наименѣе ясныхъ въ самой жизни и за вычетомъ *Василія Теркина* (въ извѣстномъ романѣ П. Д. Боборыкина)—наименѣе удачныхъ въ художественной литературѣ. Въ дореформенное время казалось, что дѣятелей этого рода у насъ либо совсѣмъ нѣтъ, либо они — величайшая рѣдкость. Гоголь думалъ, что ихъ нужно искать среди обрусѣвшихъ инородцевъ и—сочинилъ пресловутаго Костанжогло. Гончаровъ, создавая не совсѣмъ удачный образъ Штольца, очевидно, исходилъ изъ той же предпосылки. Изъ антитезы глубоко-русскаго Обломова и полурусскаго Штольца возникало впечатлѣніе, будто русская національность еще не способна выдвигать культурныхъ дѣятелей. Правда, Гончаровъ предсказывалъ ихъ скорое появленіе („сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!"), но, судя по всему, это пророчество не оправдалось. Отдѣльныя лица этого рода, конечно, попадались въ жизни, но ихъ было немного, и художественная литература не могла возвести ихъ въ типъ. Но зато, какъ бы въ оправданіе вышеуказанной мысли Гоголя и Гончарова, мы встрѣтили несомнѣннаго культуртрегера инородческаго происхожденія, съ нѣмецкимъ именемъ—*въ лицѣ Эртеля*. Въ настоящей главѣ намъ придется вспомнить о немъ.

Но я все-таки думаю, что въ данномъ вопросѣ наша художественная литература не дала вполнѣ точнаго отраженія дѣйствительности. Она была, думается мнѣ, недостаточно внимательна. При болѣе тщательныхъ поискахъ, она напала бы на слѣды типа русскаго культурнаго дѣятеля, соединяющаго практическую сметку, дѣловитось и иниціативу съ извѣстнымъ моральнымъ и идейнымъ развитіемъ. Такія лица спорадически появлялись на разныхъ поприщахъ культурной дѣятельности; они выходили изъ различныхъ слоевъ, но, повидимому, чаще всего изъ купечества, мѣщанства и крестьянства. Правда, въ большинствѣ случаевъ, на фонѣ общей нескладицы и отсталости нашей жизни они стушевывались и куда-то исчезали,—ихъ дѣятельность глохла среди нашихъ необозримыхъ пространствъ. „Три года скачи—ни до какого царства не доскачешь"—эта гоголевская формула указываетъ на такое положеніе вещей, которое для всякой, даже са-

мой скромной, культурной дѣятельности является убійственнымъ. Тутъ можно затянуть „безконечную, какъ Русь, пѣсню“ или разводить узоры безконечной мечты, но нельзя основать прочное и плодотворное дѣло культурнаго строительства, расчитаннаго на планомѣрную и преемственную работу многихъ поколѣній.Суть дѣла въ томъ, что, въ противоположность другимъ культурнымъ народамъ, у насъ доселѣ нѣтъ *массоваго культуртрегерства*, нѣтъ замѣтнаго участія отдѣльныхъ классовъ или, по крайней мѣрѣ, извѣстныхъ группъ въ культурной работѣ инціаторовъ, піонеровъ культуры. Но эти піонеры все-таки были и есть... Недостаетъ только традиціи культуртрегерства и его поддержки затяжною работою массъ...

Тѣмъ болѣе любопытно и важно изучить тѣ задатки здоровой жизнедѣятельности, какіе у насъ все-таки имѣются. Къ сожалѣнію, наша художественная литература не обращала должнаго вниманія на этотъ вопросъ, предпочитая ему вопросы моральнаго и идеологическаго развитія, съ одной стороны, и изображеніе нашей культурной „бѣдности, да бѣдности“—съ другой. И получалась картина трагедіи мыслящихъ людей на фонѣ общаго оскудѣнія. Въ общемъ эта картина вѣрна дѣйствительности. Но всетаки въ ней чувствуется нѣкоторый пробѣлъ, вслѣдствіе чего и возникаетъ недоумѣнный вопросъ: если мы обречены только „мыслить и страдать“, то гдѣ же выходъ изъ историческаго тупика? Неужели у насъ нѣтъ никакихъ задатковъ здоровой жизнедѣятельности и не предвидится никакой возможности культурнаго творчества, хотя бы въ будущемъ?..

Попытку заполнить этотъ пробѣлъ сдѣлалъ Боборыкинъ созданіемъ—въ лицѣ Теркина—типа русскаго демократа-культуртрегера. Это — крупное и очень удачное художественное обобщеніе, дающее возможность поставить правильно мудреный вопросъ о задаткахъ нашего культурнаго развитія, — о его психологической возможности.

2.

Фабула романа, появлявшагося въ самомъ началѣ 90-хъ годовъ (въ „Вѣстникѣ Европы“), пріурочена ко второй

половинѣ 80-хъ, и соотвѣтственно этому какъ во всемъ романѣ, такъ и въ его центральной фигурѣ мы находимъ черты времени, взятаго въ этихъ узкихъ хронологическихъ рамкахъ. Но это не мѣшаетъ Теркину, какъ и нѣкоторымъ другимъ лицамъ романа, служить представителями болѣе широкихъ и стойкихъ типовъ. Mutatis mutandis, они легко переносятся въ другія эпохи, въ томъ числѣ и въ наши дни.

Обратимъ сперва вниманіе на черты времени.

Въ самомъ началѣ романа выведенъ, какъ эпизодическое лицо, *Глѣбъ Успенскій* подъ именемъ писателя Бориса Петровича. Авторъ сводитъ его съ Теркинымъ, который говоритъ о немъ: „онъ — мой любимый! Я имъ, можно сказать, зачитывался еще съ третьяго класса гимназіи...“ (ч. I, гл. I). И самому Глѣбу Успенскому („Борису Петровичу“) онъ говоритъ: „Борисъ Петровичъ! За что я васъ люблю и почитаю, это за то, что вы не боитесь правду показывать о мужикѣ... о темномъ людѣ вообще...“.

Итакъ, мы переносимся въ ту эпоху, когда Глѣбъ Успенскій безбоязненно вскрывалъ оборотную сторону такъ называемыхъ „устоевъ“ народной жизни и отрицательныя черты мужицкой психологіи и крестьянской этики. Успенскій уже дѣлалъ это въ 70-хъ годахъ, но тогда на эту сторону его писаній не обращали вниманія. Только въ 80-хъ годахъ критика народной психологіи и жизни, предъявленная имъ вниманію друзей народа, стала вызывать у однихъ рѣшительное сочувствіе, у другихъ— столь же рѣшительное осужденіе. Разночинцу Теркину, вышедшему изъ крестьянской среды, критика Успенскаго пришлась по душѣ: Теркинъ нашелъ въ ней многое, вынесенное и имъ самимъ изъ личнаго горькаго опыта. Подкидышъ, усыновленный и воспитанный крестьяниномъ Иваномъ Прокофьичемъ, Теркинъ извѣдалъ на себѣ самомъ безтолочь и жестокость деревенскихъ порядковъ. Его названный отецъ, котораго память онъ свято хранитъ, принадлежалъ къ рѣдкому типу передовыхъ людей деревни, возвышающихся по уму и развитію надъ уровнемъ „хозяйственныхъ мужичковъ“—въ родѣ Ивана Ермолаевича, столь ярко изображеннаго Г. Успенскимъ.

Иванъ Прокофьичъ — общественный дѣятель, отстаивающій интересы своего села, какъ онъ ихъ понимаетъ. И вотъ за эту дѣятельность онъ „угодилъ въ ссылку по приговору сельскаго общества". Пострадалъ и его пріемный сынъ, тогда еще подростокъ: за оскорбленіе учителя его исключили изъ гимназіи, а сходъ его высѣкъ. Съ тѣхъ поръ прошло не мало времени, Теркинъ вышелъ въ люди, но обиду, нанесенную мужиками его отцу и ему, онъ забыть не можетъ. И тѣмъ не менѣе его помыслы то и дѣло устремляются къ мужику. Онъ—не отщепенецъ и охотно говоритъ о своемъ крестьянскомъ происхожденіи. Но онъ—не народникъ въ смыслѣ того соціалистическаго народничества, которое господствовало въ 70-хъ годахъ, и это гармонируетъ съ направленіемъ эпохи (80-хъ гг.), когда народничество переживало кризисъ и изъ него выдѣлилюсь въ одну сторону крайнее направленіе Юзова-Каблица и др., близкое къ славянофильству, а въ другую — демократическое теченіе, свободное отъ романтическаго культа стародавнихъ „устоевъ" народной жизни. Для людей этого послѣдняго направленія статьи Успенскаго шли прямо отъ сердца къ сердцу. Успенскій ярко выразилъ то, что у нихъ накипѣло на душѣ и не переставало быть предметомъ ихъ горькаго раздумья и исходнымъ пунктомъ ихъ дальнѣйшихъ исканій. Къ этому-то теченію примыкаетъ и Теркинъ. Вотъ что говоритъ онъ Успенскому: „Вѣдь я самъ—крестьянскій сынъ, пріемышъ. Отецъ-то мой, Иванъ Прокофьевъ Теркинъ,—изъ села Кладенецъ... Онъ съ господами литераторами водился. О немъ и корреспонденціи бывали въ газетахъ. Отвѣтилъ-таки старина за свою правоту. Смутьяномъ прославили. По седьмому десятку въ ссылку угодилъ по приговору сельскаго общества...". Очевидно, это была одна изъ тѣхъ нелѣпыхъ деревенскихъ исторій, о какихъ уже въ 70-хъ годахъ писалъ Гл. Успенскій, освѣщая ихъ своимъ скорбнымъ юморомъ... „...Потому-то вотъ (продолжаетъ Теркинъ) и радуюсь я, когда такой человѣкъ, какъ вы, правду говоритъ про мужицкую душу и про все, во что теперь народъ ударился. Я вѣдь довольно съ нимъ вожжался и всякую тяготу его знаю и, должно полагать, весь свой вѣкъ скоротаю вокругъ него.

И все-таки я не согласенъ медомъ его обмазывать. Точно такъ же и всѣ эти барскія затѣи... себя на мужицкій ладъ передѣлывать—считаю вреднымъ вздоромъ...“ (ч. I, гл. II).

Дѣло идетъ не о томъ „опрощеніи“, которое практиковалось въ 70-хъ годахъ съ цѣлью соціалистической пропаганды, а о томъ, которое возникало въ 80-хъ годахъ, исходя частью отъ проповѣди Л. Н. Толстого, частью отъ аналогичнаго ей принципа: „сѣсть на землю и жить трудами рукъ своихъ“. Въ данномъ случаѣ имѣется въ виду преимущественно проповѣдь Толстого, которая тогда представляла интересъ новизны. На нее же сдѣланъ намекъ въ концѣ романа, гдѣ Теркинъ, уже разбогатѣвшій и приступающій къ осуществленію своихъ широкихъ культурныхъ предпріятій, размышляетъ на ту тему, что безъ денегъ ничего путнаго сдѣлать нельзя.—„И находятся же такіе суесловы,—думаетъ онъ,—что требуютъ одного личнаго труда“ (извѣстный догматъ толстовской этики—помогать нуждающимся не деньгами, а трудомъ). Ха-ха!—разсмѣялся онъ.—Ему показалась впервые эта проповѣдь такою юродивою, что онъ даже не огорчился...“. (ч. III, гл. XL).

Въ данномъ же случаѣ (въ разговорѣ съ „Борисомъ Петровичемъ“) онъ выражается о „барскихъ затѣяхъ“ такъ: „Этимъ ни себя, ни мужика не подымешь... Позвольте къ вашимъ сочиненіямъ обратиться. Всюду осатанѣлость забралась въ мужика, распутство, алчность, измѣна землѣ, пашнѣ, лѣсу, рѣкѣ, всему, чѣмъ душа крестьянская жива есть...“.

Гдѣ же выходъ изъ этого положенія?

Въ 80-хъ годахъ передовая интеллигенція отъ соціалистической утопіи перешла — подъ замѣтнымъ вліяніемъ сочиненій Г. Успенскаго — къ вопросу о фактической немощи милліоновъ крестьянъ въ борьбѣ съ природой и условіями жизни,—и самъ собою навязывался вопросъ: гдѣ выходъ изъ этого историческаго тупика?

Теркинъ не видитъ выхода, какъ не видѣли его въ 80-хъ гг. всѣ, кто только радѣлъ о народѣ, въ томъ числѣ и самъ Гл. Успенскій. Это — характерная черта времени: утопія отпала, и дѣйствительность, нескрашенная иллю-

зіями, выступила во всей своей безнадежности. Теркинъ говоритъ: „И сколько я ни перебиралъ моимъ убогимъ умишкомъ, просто не вижу спасенія ни въ чемъ. Развѣ въ одномъ только...“.

Крайнее „средство“ или какъ бы послѣдняя инстанція, къ которой остается аппелировать, оказывается *религія* или, точнѣе, *этика на религіозной почвѣ*: мужикъ будто бы потерялъ „страхъ Божій“, и вотъ, если бы можно было какъ-нибудь вернуть его къ этому „страху“, то онъ, пожалуй, еще и могъ бы выправиться и спастись отъ вырожденія и всяческаго—матеріальнаго и духовнаго—оскудѣнія... Идея или чаяніе—совершенно въ духѣ 80-хъ годовъ, когда сама интеллигенція искала спасенія въ религіозно-нравственномъ подъемѣ и въ интеллигентскомъ сектантствѣ, откуда и относительный успѣхъ проповѣди Толстого. Теркинъ невольно отдаетъ дань тому идейному повѣтрію, противъ котораго — или одной изъ его формъ — онъ только-что возражалъ такъ рѣзко. Отрицая интеллигентское сектантство, онъ стоитъ за народное. Онъ говоритъ: „Гдѣ спасеніе мужика? Коли не въ какой-нибудь особой вѣрѣ... знаете такой, чтобы самую-то суть его забирала,—такъ я и ума не приложу, въ чемъ? Только вѣдь у сектантовъ и есть еще мірская правда, крѣпость слову, стоятъ другъ за друга. И въ евангельскихъ толкахъ то же самое, и даже у изувѣровъ-раскольниковъ, хотя и у нихъ уже многое дрогнуло, особливо по здѣшнимъ мѣстамъ. Безъ запрета, безъ правила... знаете вотъ какъ у татаръ, въ алкоранѣ,—не будетъ ничего держаться. А въ нищетѣ да съ пропойствомъ что вы устроите? Сначала надо, чтобы копейка была на черный день, для своего и для мірского дѣла; а накопить ее можно только, когда законъ есть твердый во всякомъ поступкѣ и въ каждомъ словѣ...“.

Но тутъ обнаружилось нѣкоторое разногласіе между Теркинымъ и „Борисомъ Петровичемъ“. Дѣло въ томъ, что Теркинъ, очевидно, — „матеріалистъ“, который смотритъ на религію и этику какъ на средство для подъема матеріальнаго благосостоянія крестьянъ, а потомъ и ихъ общественнаго сознанія. „Борисъ же Петровичъ“, какъ истый идеалистъ, не высоко ставитъ матеріальное бла-

госостояніе, не вѣря, что оно само собою поведетъ къ общественному прогрессу. „Копейка! — повторилъ со вздохомъ Борисъ Петровичъ. — Насмотрѣлся я на югѣ, въ новороссійскихъ степяхъ, на скопидомство. И у сектантовъ, и у православныхъ. Ломятся скирды, гумны-то — на цѣлой десятинѣ, вездѣ паровыя молотилки, жнеи! Хозяева-то идолы какіе-то. Деньжищъ! Хлѣба! Овецъ!.. И все это мертвечина!.. У нашихъ, у здѣшнихъ, по крайней мѣрѣ, на душѣ-то нѣтъ-нѣтъ да и заиграетъ что-то. Церквушку поставитъ. Лампадку засвѣтитъ. Не зарылся, какъ тѣ идолы, въ свою кубышку!“.

Съ этимъ Теркинъ согласиться не можетъ. „Церквушка! Лампадка!—вырвалось у него.—Эхъ, Борисъ Петровичъ! Нѣтъ у него никакой вѣры...“.

Очевидно, оба придаютъ большое значеніе религіи. Но „Борисъ Петровичъ“ видитъ въ ней главный оплотъ нравственнаго чувства, идеальнаго начала въ народѣ, а это начало онъ ставитъ выше всего: безъ него, думаетъ онъ, матеріальное благосостояніе перестаетъ быть благомъ и становится „мертвечиной“. Отъ этой идеалистической точки зрѣнія и отправлялись почти всѣ друзья народа,—народники и демократы, а также и соціалисты 70-хъ годовъ. Теркинъ, въ противоположность „Борису Петровичу“, придаетъ огромное значеніе матеріальному благосостоянію: религію и тѣсно-связанную съ нею мораль онъ цѣнитъ преимущественно какъ оздоровляющее начало, которое поможетъ крестьянину выбиться изъ „нищеты и пропойства“. Прежде всего мужику нужно скопить копейку „для своего и для мірского дѣла“, т.-е достичь хоть минимума благосостоянія, — все остальное приложится, а этого минимума онъ не достигнетъ безъ „страха Божія“. „Борисъ же Петровичъ“, съ своей точки зрѣнія, опасается, какъ бы, въ погонѣ за матеріальнымъ благосостояніемъ, мужикъ — при всемъ своемъ „страхѣ Божьемъ“—не утратилъ того идеальнаго начала, которое, по общему мнѣнію передовыхъ людей 70-хъ гг., искони заложено въ душу народа и, какъ думали, сохраняется именно у бѣдноты, а у „богачей“ исчезаетъ. Люди 70-хъ гг. косо смотрѣли на каждаго мужика, который сумѣлъ выбиться изъ нужды и достичь хотя бы очень скромнаго

достатка. Онъ уже заподозрѣвался въ кулачествѣ, въ стяжанiи на счетъ общаго — мiрского — достоянiя. Его изобличали въ „буржуазныхъ“ поползновенiяхъ, въ измѣнѣ „мiрскому духу“, „общинному началу“, въ которомъ видѣли залогъ грядущаго торжества соцiализма въ Россiи.

Теркинъ — не соцiалистъ и вообще не идеологъ. Но онъ—демократъ по происхожденiю и по натурѣ и человѣкъ практическаго дѣла, которое—пока что—не можетъ быть инымъ, какъ „буржуазнымъ“, т.-е. по необходимости должно обосновываться на капиталистическихъ устояхъ. Соотвѣтственно этому онъ придаетъ особливое значенiе подъему народнаго благосостоянiя, безъ чего нельзя сдѣлать и шагу впередъ. А что касается „идеальнаго начала“, будто бы заложеннаго въ народную душу, то онъ, самъ вышедшiй изъ народа, глубоко убѣжденъ, что это—миѳъ. Народу еще предстоитъ развиться до элементарной добропорядочности, напр., такой, какая наблюдается у татаръ и сектантовъ, а этого нельзя достичь безъ элементарнаго благосостоянiя, ибо нищета и есть причина и пьянства, и всякаго распутства, и потери образа человѣческаго. Апелляцiя къ религiи, какъ послѣднему средству выправить мужика, внушена примѣромъ татаръ, сектантовъ и раскольниковъ. Но Теркинъ съ горечью сознаетъ, что у народа настоящей религiи въ этомъ смыслѣ нѣтъ. „Нѣтъ у него никакой вѣры, а о пастыряхъ лучше не будемъ и говорить...“—Борисъ Петровичъ съ этимъ утвержденiемъ не согласенъ: „у него,—говоритъ онъ,—своя вѣра...“. На это Теркинъ возражаетъ такъ: „Въ томъ-то и бѣда, что православное-то крестьянство въ какомъ-то двоевѣрiи обрѣтается. И каждый изъ насъ, кто сызмальства въ деревнѣ насмотрѣлся на все, ежели онъ только не олухъ былъ, ничего кромѣ скверныхъ чувствъ не вынесъ. Гдѣ же тутъ о какомъ-нибудь руководствѣ совѣсти толковать?“. Борису Петровичу приходится согласиться съ этимъ, — онъ же неоднократно выражалъ это въ своихъ сочиненiяхъ, приходя къ безотрадному выводу о паденiи нравственнаго сознанiя мужика, о разложенiи устоевъ народной жизни. „Все это вѣрно, голубчикъ, — говоритъ онъ, — и осатанѣлость крестьянской души пойдетъ все дальше“... Но онъ припи

сываетъ это пагубному вліянію города, „буржуазной“ цивилизаціи: „купонъ выѣлъ душу нашего городского обывателя, и зараза эта расползается по всей землѣ. Должно быть, таковъ ходъ исторіи... Это называется диффеpенціаціей...“. На это Теркинъ весьма резонно отвѣчаетъ, что „ до купона-то мужику, охъ, какъ далеко“... „*Отъ нищенства и пропойства надо ему уйти первымъ дѣломъ*, и не встанетъ онъ нигдѣ на ноги, коли не будетъ у него закона, который бы все его крестьянское естество захватывалъ...“.

Съ этимъ соглашается и „Борисъ Петровичъ“.

3.

Сужденія Теркина о народѣ заставляютъ насъ вспомнить о томъ, что высказывалъ (въ концѣ 90-хъ гг.) *Эртель*, напр., въ письмѣ къ Н. Я. Петрову: „...Народъ же русскій — лучше не говорить. Правда, онъ глубоко несчастный народъ, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не слѣдуетъ, что на него надо плюнуть, но слѣдуетъ то, что находиться съ нимъ въ *реальныхъ* отношеніяхъ очень тяжко, иногда до нестерпимости... Правда, есть позиціи, съ которыхъ онъ представляется интереснымъ и симпатичнымъ: это—позиція этнографа и вообще наблюдателя, какъ былъ наблюдателемъ авторъ „Записокъ охотника“, напримѣръ. Но стоитъ только хлебнуть „реальныхъ отношеній“, какъ—увы!—сквозь поэтическую оболочку живо засквозитъ грубый и, главное, лживый, лживый дикарь. И не то плохо, что онъ грубъ и лживъ съ „бариномъ“, а то, что онъ до сихъ поръ оправдываетъ язвительныя слова Котошихина или Крижанича: „Русскіе другъ дружку ѣдятъ и съ того сыты бываютъ“. Мужички именно ѣдятъ другъ друга съ превеликой готовностью и самымъ подлымъ образомъ“. („Письма А. И. Эртеля“, стр. 368).

Вотъ къ чему пришелъ Эртель, нѣкогда народникъ,— ученикъ и почитатель П. В. Засодимскаго.

Нетрудно понять, откуда и въ чемъ ошибка въ этомъ огульномъ сужденіи о русскомъ народѣ,—сужденіи, явно

несправедливомъ. Эртель исходитъ изъ „реальныхъ отношеній“,—точки зрѣнія, которая всего менѣе гарантируетъ объективность и безпристрастіе сужденій. „Реальнымъ отношеніямъ“ онъ противопоставляетъ отношеніе къ народу „этнографа-наблюдателя“, каковымъ былъ „авторъ Записокъ охотника“. Эртель склоненъ думать, что эта послѣдняя точка зрѣнія приводитъ къ идеализаціи мужика, къ воззрѣнію на него, противорѣчащему дѣйствительности. Я убѣжденъ, что Эртель въ этомъ случаѣ грубо ошибается: именно позиція посторонняго наблюдателя, этнографа, художника служитъ нѣкоторымъ ручательствомъ за безпристрастіе, объективность и спокойствіе сужденій. Это оправдывается, между прочимъ, тѣми же „Записками охотника“, гдѣ Тургеневъ, вовсе не идеализируя мужика, далъ рядъ глубоко-правдивыхъ реальныхъ типовъ русскаго крестьянина. Много времени прошло съ тѣхъ поръ, многое измѣнилось въ жизни народа, но и доселѣ мы обращаемся къ „Запискамъ охотника“ для уясненія себѣ психологіи различныхъ натуръ, какія встрѣчаются въ крестьянской средѣ. Секретъ долговѣчнаго значенія этой классической и гуманной книги въ томъ, что художникъ съ самаго начала и по принципу положилъ себѣ за правило—въ своихъ наблюденіяхъ и выводахъ имѣть въ виду *не мужика, а человѣка*. Вотъ—единственно-допустимая точка зрѣнія, отъ которой слѣдуетъ исходить въ сужденіяхъ о людяхъ всѣхъ національностей, званій и состояній: какъ въ искусствѣ, такъ и въ самой жизни нужно искать и имѣть въ виду прежде всего *человѣка*,—иначе мы запутаемся въ противорѣчіяхъ, пристрастіяхъ, недомысліи, вольномъ и невольномъ предубѣжденіи, фатально—въ той или иной мѣрѣ — возникающихъ изъ „реальныхъ отношеній“, при которыхъ человѣкъ, выносящій свой приговоръ о другихъ людяхъ, является заинтересованной стороной, — и этотъ приговоръ подлежитъ „отводу“. Мы—читатели, публика—имѣемъ право „отвести свидѣтеля“ Эртеля, какъ и „свидѣтеля“ Теркина.

Теркинъ, подобно Эртелю, исходитъ въ своемъ сужденіи о народѣ изъ „реальныхъ отношеній“. И тотъ и другой при этомъ впадаютъ въ ошибку скороспѣлаго обобщенія. Они имѣли дѣло съ ничтожною частью мно-

гомилліонной массы народа. По этой частичкѣ они судятъ обо всей массѣ, и, что всего хуже, судятъ категорически, безапелляціонно. Ихъ „реальныя отношенія“ были завязаны съ обитателями такого-то села такого-то уѣзда такой-то губерніи. Этнографъ или добросовѣстный художникъ въ подобномъ случаѣ не рискнулъ бы распространять свои выводы дальше уѣзда или губерніи. Эртель и Теркинъ, не задумываясь, распространяютъ свое сужденіе на весь русскій народъ...

Это—большая ошибка, это—плохой индуктивный выводъ, основанный на слишкомъ незначительномъ количествѣ фактовъ. Но эта ошибка отчасти извиняется другою ошибкою: глубоко-укоренившимся и широко-распространеннымъ мнѣніемъ, будто русскій народъ представляетъ собою однородную массу, о которой можно судить по обитателямъ любой деревни, даже по первому попавшемуся Степану или Сидору.

Въ этой-то принципіальной погрѣшности повинны какъ хулители, такъ и панегиристы народа. И тѣ, и другіе упускаютъ изъ виду, что русскій народъ далеко не одинаковъ, что онъ весьма замѣтно разнообразится по мѣстностямъ и притомъ въ различныхъ отношеніяхъ: въ этнографическомъ, экономическомъ, бытовомъ и т. д. Всѣ эти отличія, отражающіяся на психологіи народа, вовсе не затушевываются единствомъ классовыхъ чертъ. А при „реальныхъ отношеніяхъ“ именно классовыя-то черты и выступаютъ наружу, заслоняя собою всѣ прочія,—оттуда понятная тенденція судить о народѣ только какъ о представителѣ классовой и профессіональной—крестьянской—психологіи. Въ результатѣ выходитъ подмѣнъ понятія *народа* понятіемъ *класса*. Это было бы еще полбѣды, если бы при этомъ учитывались разновидности классовой психологіи, которая при кажущемся единствѣ весьма замѣтно различается по мѣстностямъ, по условіямъ крестьянскаго труда, въ зависимости отъ климата, почвы, путей сообщенія, наличности или отсутствія заводовъ и фабрикъ, вліянія города и т. д.

Сужденія о народѣ, понимаемомъ какъ классъ, вполнѣ допустимы и даже необходимы, ибо такъ называемый народъ есть въ самомъ дѣлѣ классъ земледѣльцевъ, ку-

старей, рабочихъ. Но только при этомъ лицо, берущееся судить о народѣ съ этой точки зрѣнія, должно само отрѣшиться отъ предубѣжденій *своей* классовой психологіи,— преодолѣть въ себѣ помѣщика, заводчика, работодателя, горожанина,—освободиться отъ пристрастій, внушаемыхъ „реальными отношеніями“.

Кромѣ указанныхъ ошибокъ, есть еще двѣ, съ которыми также пора бы покончить.

Это, во-первыхъ, иллюзія, будто душа „мужика“ сплошь состоитъ изъ чертъ классовой и профессіональной психологіи, будто онъ—*не личность*. Если взглянуть исключительно со стороны классовой психологіи и съ высоты птичьяго полета, скажемъ, на дворянъ и купцовъ, то возникнетъ такая же иллюзія: будто психологія дворянина состоитъ изъ однѣхъ дворянскихъ чертъ, а психологія купца — изъ однѣхъ купеческихъ. А между тѣмъ несомнѣнно, что въ этихъ классахъ дифференція личностей весьма велика, что есть дворянинъ и дворянинъ, купецъ и купецъ и что сплошь и рядомъ личность, т. е. индивидуальная психологія человѣка, такъ основательно перерабатываетъ черты классовой психологіи, что по этимъ послѣднимъ уже нельзя судить о человѣкѣ. Такъ вотъ, я и утверждаю, что то же самое, только не въ столь яркомъ выраженіи, наблюдается и въ такъ называемомъ народѣ. И тутъ индивидуализація подвинулась далеко впередъ... Есть мужикъ и мужикъ... Допустимъ, что власть классовой психологіи здѣсь сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, что индивидуальныя черты не въ силахъ превозмочь ее; но все-таки эта индивидуализація существуетъ и не позволяетъ намъ по первому попавшемуся Сидору судить шаблонно о милліонахъ, игнорируя индивидуальность этого самаго Сидора или, точнѣе, подмѣняя его личную психологію общеклассовыми чертами. На эту-то сторону и обратилъ особое вниманіе Тургеневъ, выдвинувъ въ „Запискахъ охотника“ индивидуальныя черты Хоря, Калиныча, Ермолая, Овсяникова и другихъ и показавъ, что мужикъ *есть личность* — не хуже и не меньше всякой иной.

Другая ошибка, которую я имѣю въ виду, состоитъ въ томъ, что въ своихъ огульныхъ сужденіяхъ о народѣ,

его панегиристы и его хулители одинаково являются *моралистами*. Дѣло идетъ въ этихъ случаяхъ либо о высокихъ нравственныхъ качествахъ, будто бы присущихъ народу, либо о его дурныхъ свойствахъ, его порокахъ, объ отсутствіи у него нравственнаго развитія. „Золото, золото—сердце народное“, пѣлъ Некрасовъ. „Идеалъ красоты человѣческой *)—русскій народъ“, писалъ Достоевскій. Съ другой стороны, тотъ же народъ оказывается „глубоко-сквернымъ“, если вѣрить Эртелю. Почти такой же смыслъ имѣютъ и отзывы Теркина...

Подвергать многомилліонную массу такой огульной моральной оцѣнкѣ, положительной или отрицательной,— значитъ нарушать элементарныя требованія справедливости. Огульная оцѣнка этого рода допустима только въ отношеніи къ племенамъ, стоящимъ на очень низкой ступени развитія, къ такъ называемымъ „дикарямъ“, гдѣ нѣтъ разнообразія личностей и, слѣдовательно, нѣтъ и личной морали, а есть только мораль общая, групповая. Правда, Эртель такъ и называетъ русскаго мужика „дикаремъ“, да еще „лживымъ“, но это, конечно, только иносказательное выраженіе, сорвавшееся съ языка подъ воздѣйствіемъ обостренныхъ „реальныхъ отношеній“....

Такъ это и у Теркина. Личная обида заставляетъ его высказываться слишкомъ рѣзко. Она поселила въ немъ недобрыя чувства къ его односельчанамъ. Вотъ какъ рисуются они въ главѣ III (1-й части): „Онъ не любитъ своего села и давно не любилъ, съ той самой поры, какъ сталъ понимать, что вокругъ него дѣлается... Не заѣдетъ онъ по доброй волѣ въ Кладенецъ, и сдѣлайся онъ милліонщикомъ, ни алтына не дастъ на нужды міра...“ „Старая обида на крестьянскій міръ села Кладенца забурлила въ немъ. Еще удивительно, какъ онъ могъ въ такомъ тонѣ говорить съ Борисомъ Петровичемъ *о мужицкой душѣ вообще* *). И всякій разъ, какъ онъ нападаетъ на эти думы, ему нисколько не стыдно того, что онъ пошелъ по дѣловой части, что ему страстно хочется быть при большомъ капиталѣ, ворочать вотъ на этой самой Волгѣ милліоннымъ дѣломъ“.

---

*) Конечно, духовной, моральной.

*) Курсивъ мой.

Замѣтимъ скороспѣлость обобщенія: Теркинъ, подобно Эртелю, не ограничивается сужденіемъ о крестьянахъ даннаго села, а распространяетъ его на „мужицкую душу вообще“. Такія неправильныя обобщенія всего скорѣе дѣлаются подъ вліяніемъ сильныхъ чувствъ, какъ злыхъ, такъ и добрыхъ; сильное или острое чувство — вражды или любви—затемняетъ мысль, и его интенсивность отражается въ этой послѣдней излишней „широтою обобщенія“, огульностью моральнаго сужденія.

По счастью, такія обобщенія и сужденія не прочны: они отпадаютъ вмѣстѣ съ успокоеніемъ или исчезновеніемъ чувства, ихъ внушившаго. Вѣроятно, такъ было и у Эртеля. Что же касается Теркина, то онъ довольно скоро освободился и отъ злыхъ чувствъ къ мужику и отъ скороспѣлыхъ моральныхъ сужденій о „мужицкой душѣ вообще“. Здѣсь, видимо, сказалось дѣйствіе тѣхъ сторонъ въ психологіи самого Теркина, которыя должны быть признаны по преимуществу народными, крестьянскими. Присмотримся къ нимъ ближе.

I.

Послѣ нѣкоторыхъ перипетій въ его жизни, не лишенныхъ трагическаго элемента, Теркинъ впалъ въ удрученное и покаянное настроеніе. На этой почвѣ у него возникла потребность въ религіозномъ утѣшеніи, въ пріобщеніи къ вѣрѣ народа, и вмѣстѣ съ тѣмъ смягчилось чувство обиды и вражды, которое онъ питалъ къ своимъ односельчанамъ. Посѣтивъ Троице-Сергіевскую Лавру въ смутномъ чаяніи, что оживится его религіозное чувство, и убѣдившись, что оно на почвѣ традиціонной религіи ожиться не можетъ, онъ отправляется въ Кладенецъ. Здѣсь онъ между прочимъ встрѣчаетъ нѣкоего Аршаулова, народника-фанатика, уже пострадавшаго за убѣжденія, хотя ничего революціоннаго въ нихъ не было, и вернувшагося изъ ссылки на родину въ злой чахоткѣ. Теркинъ чувствуетъ неудержимую потребность исповѣдаться передъ этимъ глубоко-искреннимъ и идеально-правдивымъ человѣкомъ, покаяться въ вольныхъ и невольныхъ прегрѣше-

ніяхъ и выслушать его отзывъ о своей дѣятельности, о своихъ планахъ и стремленіяхъ. Между прочимъ онъ узнаетъ отъ Аршаулова кое-что важное о своемъ отцѣ. Аршауловъ говоритъ ему: „На покойнаго отца вашего смотрѣлъ я всегда какъ на богато одаренную натуру... съ высокими запросами. Но мы съ нимъ не могли столковаться, и онъ, не замѣчая того, шелъ прямо въ разрѣзъ съ интересами здѣшнихъ бѣдняковъ...“ Это изумило Теркина. Но, выслушавъ объясненія Аршаулова, „онъ началъ распознавать коренную ошибку Ивана Прокофьича, не захотѣвшаго смирить себя передъ насущными нуждами и мірскими инстинктами „гольтепы“... Онъ слишкомъ горячо чувствовалъ личныя обиды, неблагодарность за свои услуги въ пору борьбы съ крѣпостнымъ правомъ, увлекался мечтами о городскомъ благоустройствѣ *) и сталъ сторонникомъ скупщиковъ, мѣтившихъ въ купцы, разорвалъ связь съ мужицкой общиной...“ Этимъ и воспользовались враги Ивана Прокофьевича, „прощалыги и воры“, расхитившіе потомъ общественныя деньги; они возбудили „гольтепу“ противъ Ивана Прокофьича, и сходъ присудилъ его въ ссылку. На возраженіе Теркина, что „старшина и его подручные (враги Ивана Прокофьича) были завѣдомые прощалыги и воры, совратители схода“, Аршауловъ въ духѣ истиннаго народника отвѣчаетъ такъ: „Я ихъ и не выгораживаю. И каковы бы они ни были, все-таки ими держалось общинное начало...“ Для Аршаулова всего важнѣе принципъ „общиннаго начала“, хотя бы оно только и служило проискамъ прощалыгъ, кулаковъ и деревенскихъ демагоговъ, опаивающихъ „гольтепу“ ради своихъ корыстныхъ цѣлей. Въ силу того же принципа онъ осуждаетъ культурную дѣятельность зажиточныхъ и вполнѣ порядочныхъ людей, стремившихся упорядочить дѣла на „буржуазный ладъ“ и превратить село въ городъ. Они—хорошіе люди, но они—„буржуи“. Онъ предпочитаетъ демагогію прощалыгъ, а свое личное призваніе понимаетъ такъ, какъ понимали его всѣ идеалисты-народники: стоять за бѣдноту,страдать вмѣстѣ съ нею и отъ нея же, прощать народу все, даже самое нелѣпое и

*) Дѣло шло о переводѣ Кладенца на городское положеніе, о чемъ хлопотали лучшіе зажиточные люди села.

безчеловѣчное и, выражаясь словами Гл. Успенскаго, „быть потребленнымъ безъ остатка“. И онъ говоритъ Теркину: „...я вашу исторію знаю, Василій Иванычъ... Вамъ здѣсь нанесли тяжкое оскорбленіе... Вы имѣли поводъ возненавидѣть то сословіе, въ которомъ родились. *Но что такое наши личныя обиды рядомъ съ исконнымъ долгомъ нашимъ? Мы всѣ, сколько насъ ни есть, въ неоплатномъ долгу передъ той же самой гольтепой..*“ *) (ч. 2-я, гл. XXXIX).

Мы знаемъ **), что возражалъ на такія заявленія Эртель, пришедшій къ рѣшительному отрицанію этой пресловутой идеи „долга передъ народомъ“. Теркинъ могъ бы отвѣтить, что лично онъ ровно ничѣмъ „гольтепѣ“ не обязанъ и никакого долга за нимъ не числится. Но не сказалъ этого и даже не остановился мыслью на такомъ аргументѣ. У него на умѣ было другое. „Онъ молчалъ, но ему хотѣлось сказать: *это—идолопоклонство! Народъ—темная, слѣпая сила, и надо ею править, а не становиться передъ нею на колѣни!*“ *). Онъ не высказалъ этого изъ деликатности и уваженія къ Аршаулову, въ которомъ онъ „увидалъ не изувѣрство какой-нибудь книжкой проповѣди, а глубину чистой, ничѣмъ не подмѣшанной преданности народу, жалость къ нему, желаніе поднять его всячески, дѣлиться съ нимъ знаніемъ, идеями, трудомъ, сердечной лаской“. Не раздѣляя идеологіи и программы такихъ людей, какъ Аршауловъ, онъ относится къ нимъ съ великимъ уваженіемъ и умиленно выслушиваетъ profession de foi Аршаулова: „что же изъ того, что здѣсь облюбованное мною дѣло лопнуло, и я самъ искалѣченъ тюрьмой и ссылкой? Это—не аргументъ. Да, въ здѣшнемъ народѣ не нашлось того, что нужно для стойкаго веденія всякаго товарищества... Лѣнь, водка, бѣдность, плутоватость, кумовство... все это есть, и я по крайней молодости своей въ ту пору многаго не доглядѣлъ. *Но въ немъ, въ его коренныхъ свойствахъ—задатки высшаго общественнаго строя...* *). Онъ способенъ на выдержку и работу сообща. Я не славянофилъ... и нынѣшняго патріотическаго самохвальства не жалую; однако такова и моя вѣра!“

---

*) Курсивъ мой.
**) См. предыдущую главу.

Онъ признаетъ, что его не поддержали, испугались, покинули... Но все это—сущіе пустяки: „Испугались—это точно. Да какъ же вы хотите, чтобы было иначе?.. Страхъ, умственный мракъ, вѣковая тягота—вотъ его школа! Потому-то всѣ мы, у кого есть свѣтъ, и не должны знать никакого страха и продолжать свое дѣло... что бы намъ ни посылала судьба...“

Авторъ говоритъ намъ, что Теркинъ нашелъ бы доводы противъ этихъ мыслей Аршаулова, „но ему хотѣлось слиться съ пламеннымъ желаніемъ этого бѣдняги, въ которомъ онъ видѣлъ гораздо больше душевнаго равновѣсія, чѣмъ въ себѣ“.

Вмѣсто того, чтобы спорить и противопоставлять идеямъ Аршаулова свое воззрѣніе, Теркинъ исповѣдуется передъ нимъ какъ на духу и кончаетъ слѣдующимъ признаніемъ: „Не могу, не хочу жить безъ вѣры... А вѣрить не могу какъ простецъ: хоть и мало я учился, все-таки книжка взяла свое. Другой, внутренній законъ мнѣ нуженъ, вотъ такой, какой въ васъ сидитъ, Михаилъ Терентьичъ. И тутъ загвоздка! Къ народу долго мстительность имѣлъ... Теперь только здѣсь стало въ меня примиреніе проникать. Въ мужика, въ землепашца, въ кустаря я не обращусь... Не то, чтобы не пускала одна утроба, избалованность, жадность къ дорогому и сладкому житью, *а за свое человѣческое достоинство дрожу, не хочу потерять хоть подобіе гражданскихъ правъ* *)... чтобы меня пороли въ волости какъ скотину. *Съ этого меня никто не сдвинетъ... Я долженъ хозяйствовать и въ гору идти — такова моя доля; и что я изъ своего добра сдѣлаю, какъ я свои стяжанія соглашу съ жалостью къ народу, съ служеніемъ правдѣ — не знаю! Взыскую, Михаилъ Терентьичъ, всѣмъ нутромъ моимъ взыскую!*“ *).

Въ отвѣтъ на это Аршауловъ преподаетъ ему народническое наставленіе: „Не забывайте крестьянства... Оно приняло и выходило васъ и бросило въ душу зерно мірской правды... Вы молоды, свободны, ищете праваго пути, видите насквозь все, что творится на Руси хищнаго и безстыжаго. Хозяйствуйте, заручайтесь силой, только помните, кто васъ кормилъ, передъ кѣмъ вы въ долгу. И найдете свой законъ и свою вѣру!“

---

*) Курсивъ мой.

Теркинъ отлично знаетъ, что народъ его не кормилъ, а только высѣкъ. Но въ данную минуту его занимаетъ не полемика съ Аршауловымъ, а забота и страхъ о томъ, какъ бы ему въ своей дальнѣйшей карьерѣ „не завязить хоть одной ногой въ неправдѣ“. И ему кажется, что подъ моральнымъ вліяніемъ такихъ людей, какъ Аршауловъ, онъ убережется отъ этого. Онъ хотѣлъ бы услышать отъ Аршаулова категорическій отвѣтъ, можно ли, или нѣтъ, уберечься отъ неправды на томъ пути, который онъ, Теркинъ, избралъ. На это Аршауловъ не даетъ опредѣленнаго отвѣта, но говоритъ, что если тутъ нельзя уберечься, то „вернитесь сюда... сбросьте съ себя все и станьте на сторону кладенецкой гольтепы, искупите всѣ вольные и невольные грѣхи вашего отца противъ крестьянскаго міра...“, — къ чему Теркинъ весьма резонно добавляетъ: „...и кончите тѣмъ, что васъ, какъ смутьяна и бунтовщика, сначала выдерутъ разъ пятьдесятъ, потомъ сошлютъ туда, откуда Иванъ Прокофьичъ вернулся полуживой...“

Что же сказалъ на это Аршауловъ? Онъ сказалъ:

„Быть можетъ...“ (ч. II, гл. XL).

5.

Здѣсь намѣчены черты въ высокой степени характерныя для русскаго *культуртрегера-демократа, въ родѣ* Эртеля или Теркина: *онъ рѣшительно отвергаетъ идеологію, программу и практику народничества, но обнаруживаетъ почти стихійное тяготѣніе къ его психологіи и его этикѣ*. Мы знаемъ, что Эртель, отвергнувъ народничество, *какъ доктрину*, признавалъ его необходимость и благотворность—*какъ настроенія* *).

Въ существѣ дѣла то же самое явствуетъ и изъ вышеизложеннаго разговора Теркина съ Аршауловымъ. Теркинъ, конечно, не можетъ раздѣлять народническаго догмата, гла-

*) Вспомнимъ: „Какъ доктрина, какъ партія, какъ ученіе народничество рѣшительно не выдерживаетъ критики, но въ смыслѣ *настроенія* оно и хорошая, и вліятельная сила“ (письмо къ Пругавину, 22 февраля 1891 г.).

сящаго, что „въ коренныхъ свойствахъ“ народа заложены „задатки высшаго общественнаго строя“,—онъ знаетъ, что это—фантазія, иллюзія, и, по его глубокому убѣжденію, „народъ—темная сила“, передъ которою не слѣдуетъ „становиться на колѣни“. Но все это не мѣшаетъ Теркину высоко цѣнить преданность народной идеѣ и самоотверженіе, какія проявляетъ Аршауловъ: онъ видитъ въ послѣднемъ „гораздо больше душевнаго равновѣсія, чѣмъ въ себѣ“, и говоритъ, что ему, Теркину, „нуженъ внутренній законъ, вотъ такой, какой сидитъ“ въ Аршауловѣ.

И я думаю, такъ будетъ и впредь, еще долго. Какова бы ни была судьба народничества, пусть оно даже совсѣмъ исчезнетъ, какъ доктрина и партія,—все равно другія демократическія направленія, хотя бы даже „марксистскія“, фатально унаслѣдуютъ отъ народничества тотъ самый „внутренній законъ“, который „сидитъ“ въ Аршауловѣ. Это вытекаетъ, прежде всего, изъ факта огромнаго численнаго перевѣса народной массы надъ интеллигенціей, откуда—потребность такъ или иначе согласовать нормы интеллигентской мысли съ потребностями и частью съ психологіей народа. Въ томъ же направленіи будетъ дѣйствовать и все возрастающая фактическая демократизація интеллигенціи, т. е. пополненіе ея рядовъ выходцами изъ народа (въ родѣ, напр., Теркина), которые, усваивали взгляды и программы, весьма далекіе отъ народническихъ, *сохраняютъ извѣстныя черты народной психологіи, способныя создавать родъ „народническаго настроенія“*.

Мы это и видимъ у Теркина.

Черты народной психологіи, живьемъ сохранившіяся въ его душѣ, хотя и въ преображенномъ видѣ, изображены въ романѣ съ незаурядною силою художественной интуиціи, производя впечатлѣніе не только правдоподобія, но и глубокой, проникновенной правды.

Сюда, прежде всего, относятся тѣ моральныя сомнѣнія и та потребность исповѣди, о которыхъ мы только что вели рѣчь. На нихъ слѣдуетъ остановиться дольше.

Послѣ бесѣды съ Аршауловымъ Теркина на мигъ „пронизала“ мысль о „тщетѣ всякаго счастья и всякаго стяжанія“,—о томъ, что не лучше ли „все бросить“ и „превратиться въ простеца, дойти до высокаго юродства Ми-

хаила Терентьича Аршаулова..." Онъ вспомнилъ тутъ о чудной дѣвушкѣ Калеріи, которая вызвала въ немъ чувство идеальной и восторженной любви, близкой къ обожанію. Калерія посвятила свою жизнь народу въ качествѣ фельдшерицы и умерла, заразившись дифтеритомъ въ деревнѣ. Ея образъ остался навсегда у Теркина завѣтнымъ, святымъ воспоминаніемъ, которое, рядомъ съ образомъ „Бориса Петровича" и Аршаулова, являлось укоромъ и предостереженіемъ каждый разъ, когда соблазны карьеры, наживы, страстей грозили совратить его съ правильнаго пути.

Теркинъ — натура моральная. Его совѣсть — аппаратъ очень чуткій. Склонность къ моральной рефлексіи, къ самообличенію, покаянію, исповѣди — одна изъ лучшихъ его чертъ, которую авторъ намѣренно выставляетъ на видъ, приписывая ей особо-важное значеніе.

Мы видѣли, какъ Теркинъ исповѣдывался передъ Аршауловымъ. Раньше онъ каялся въ одномъ неправильномъ поступкѣ передъ Калеріей, и въ дальнѣйшемъ мы не разъ встрѣчаемъ его кающимся и предающимся нравственному самоанализу. Когда дѣлецъ Усатинъ сталъ склонять его къ рискованному шагу и Теркинъ наотрѣзъ отказался, то его долго мучило сомнѣніе, поступилъ ли онъ такъ по чисто-нравственному побужденію или просто изъ-за страха уголовной отвѣтственности (I, гл. XXX).—„Кажется, больше второе, чѣмъ первое,—думалось ему.—И такая оцѣнка своей совѣсти огорчила его чрезвычайно" (тамъ же).—Этому Усатину, человѣку хорошему, но зарвавшемуся въ азартѣ „грюндерства", онъ былъ лично обязанъ: Усатинъ помогъ ему выйти въ люди. И теперь, отказывая ему въ услугѣ, Теркинъ ощутилъ моральную неловкость,—онъ укоряетъ себя въ неблагодарности. Размышленіе на эту тему приводитъ его къ слѣдующему: „Нужды нѣтъ, если онъ и проводилъ меня, я-то самъ честно вѣрилъ въ него, считалъ себя куда рыхлѣе въ вопросахъ совѣсти, а теперь я вижу, что онъ на то идетъ, на что, быть можетъ, я самъ не пошелъ бы въ такихъ тискахъ..." — „Почемъ ты знаешь?—вдругъ спросилъ онъ самого себя, и въ груди у него сразу защемило... Увѣренности у него не было, не могъ онъ ручаться за себя..." (тамъ же). Очень смущаетъ его также и любовная исторія, въ которую онъ попалъ, увлекшись

красивою и страстною женщиною, бросившей ради него мужа. Онъ живетъ съ нею внѣ брака, а между тѣмъ нравственное чувство говоритъ ему, что „бракъ — дѣло святое и для тѣхъ, у кого, какъ у него, нѣтъ крѣпкихъ вѣрованій...“ (I, гл. XXXI). Когда однажды воры вытащили у него бумажникъ съ деньгами, онъ невольно подумалъ о себѣ: „а ты чѣмъ лучше ихъ?“ (I, гл. XXXVII—XXXIX).—Дѣло въ томъ, что, по настоянію своей возлюбленной (Серафимы), онъ воспользовался деньгами Калеріи для пріобрѣтенія пая въ пароходномъ обществѣ. Это долго мучило его, хотя онъ вовсе и не думалъ присвоить эти деньги и взялъ ихъ, скрѣпя сердце, съ твердымъ намѣреніемъ вернуть, что и сдѣлалъ. Объясненіе съ Калеріей по этому поводу въ главѣ XII-ой II-ой части принадлежитъ къ числу лучшихъ мѣстъ романа. Его покаяніе передъ Калеріей было поворотнымъ пунктомъ въ его душевной жизни; тутъ выяснилось, что укоры совѣсти для него невыносимы, и никакой компромиссъ на этой почвѣ невозможенъ.

У Теркина вѣчно бодрствуетъ *инстинктъ моральнаго самосохраненія; страхъ паденія и грѣха* является однимъ изъ важнѣйшихъ чувствъ, заправляющихъ его внутреннимъ міромъ. Это сказалось на судьбѣ его романа съ Серафимой. Еще не успѣлъ пройти пылъ страсти, какъ Теркинъ уже испугался деморализующаго вліянія этой женщины, почти лишенной нравственнаго чувства. Онъ видѣлъ ясно, что „предайся онъ ей душой и тѣломъ, у него въ два-три года вмѣсто сердца будетъ мѣдный пятакъ, и тогда они превратятся въ закоренѣлыхъ сообщниковъ по всякой житейской пошлости и грязи“. (II, гл. IX). Подъ воздѣйствіемъ этого моральнаго страха быстро стало угасать его чувство къ Серафимѣ. Онъ потерялъ уваженіе къ ней. Встрѣча съ Калеріей ускорила развязку. Теркинъ рѣшилъ разстаться съ Серафимой, что онъ и сдѣлалъ съ быстротою и твердостью, съ какими онъ всегда проводилъ въ жизнь свои моральныя рѣшенія. Онъ человѣкъ крѣпкой воли.

Вникая въ этику Теркина, мы усматриваемъ замѣтную разницу между нимъ, какъ моральною личностью, и тою частью русской интеллигенціи, которая въ своихъ стрем-

леніяхъ исходитъ изъ мотива: „какъ мнѣ жить свято?“ *). Этимъ мотивомъ опредѣляется самый выборъ той или иной идеологіи и обусловленной ею практической дѣятельности. Теркинъ къ этому авангарду интеллигенціи не принадлежитъ. Онъ — не идеологъ, не политическій дѣятель, не революціонеръ. У него выборъ дѣятельности опредѣляется не идеологіей (которой у него нѣтъ) и не нравственными мотивами, а свойствами его натуры, его дарованіями, можно сказать — инстинктомъ „дѣльца“ и „культуртрегера“. И уже когда его карьера опредѣлилась и стала осуществляться, — возникло у него стремленіе согласовать ее съ моральными запросами, какіе у него уже были, а также — и къ повышенію этихъ запросовъ. Формула: „какъ мнѣ жить свято?“ сюда не идетъ. Ее приходится замѣнить другою. Теркинъ — не герой и не подвижникъ. Слѣдовательно, о героизмѣ и „святости“ не можетъ быть и рѣчи въ примѣненіи къ нему. Взамѣнъ того рѣчь идетъ здѣсь объ иныхъ моральныхъ стремленіяхъ и мотивахъ, не менѣе важныхъ и во всякомъ случаѣ очень любопытныхъ: о жаждѣ гуманности, о страхѣ грѣха и соблазна, о чуткости совѣсти, о стремленіи выработать строгій кодексъ морали, который предохранилъ бы отъ возможныхъ соблазновъ, неразлучныхъ съ карьерою дѣльца, — человѣка, поставившаго себѣ цѣлью ворочать милліонами и обдѣлывать большія дѣла. Теркинъ не довольствуется минимальными, элементарными требованіями этого кодекса (не мошенничай, не воруй, не будь ростовщикомъ, не грабь и т. д.), но идетъ гораздо дальше, ставя себѣ требованія, гласящія: направляй свою культурную работу такъ, чтобы она приводила къ наибольшей суммѣ культурныхъ благъ, какихъ позволительно отъ нея ожидать, и чтобы она сопровождалась какъ можно меньшими страданіями для „третьихъ лицъ“, — для всѣхъ тѣхъ, кому—незаслуженно и даже заслуженно съ ихъ стороны—его дѣятельность можетъ повредить. „Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ“ — эта поговорка примѣнима не только къ реформамъ и революціямъ, но и къ культурной дѣятельности въ тѣсномъ смыслѣ. При антагонизмѣ интересовъ, столь ярко

*) Формула Н. К. Михайловскаго.

выраженномъ въ современномъ общественномъ укладѣ, дѣлать благое культурное дѣло, полезное населенію и краю, нерѣдко значитъ кого-нибудь пустить по міру. Интересы. благополучіе, а порою и жизнь отдѣльныхъ лицъ, въ ряду которыхъ найдутся и незаслужившіе такой участи, приносятся въ жертву интересамъ края, государства, народа. Для человѣка съ добрымъ сердцемъ и чуткою совѣстью, если онъ не доктринеръ, не фанатикъ, тутъ можетъ возникнуть не мало сомнѣній и недоумѣній. И онъ будетъ остерегаться слишкомъ поспѣшныхъ рѣшеній, слишкомъ прямолинейнаго преслѣдованія намѣченной цѣли. Таковъ именно Теркинъ.

Тутъ въ немъ обнаруживается любопытная черта, на анализѣ которой слѣдуетъ остановиться дольше. Это—рѣдкое по изяществу *чувство жалости*. Постараемся разобрать, случайна-ли эта черта, или нѣтъ, т. е. приписана ли она Теркину по прихоти автора и могла бы, безъ ущерба для художественной правды, отсутствовать, или же она находится въ согласіи съ этою правдою и *приличествуетъ* психологическому и бытовому типу Теркина, какъ онъ задуманъ авторомъ.

6.

Сперва посмотримъ, какъ и чѣмъ мотивируется чувство жалости у Теркина.

Однажды, проходя полемъ, онъ наблюдалъ картину деревенской страды. „Вотъ она, страда! — подумалъ онъ и остановился на перекресткѣ, откуда жницы виднѣлись своими согнутыми спинами. Жалость, давно заснувшая въ немъ, закралась въ сердце,—жалость все къ той же мужицкой долѣ, къ непосильной работѣ, къ нищенскому заработку. Земля тощая, урожай плохой... Все та же тягота!“ (II, гл. IX).

Въ сценѣ съ Калеріей, гдѣ онъ кается передъ ней, его тронули всего больше слова Калеріи о томъ, что „жалость надо имѣть ко всему живому“ (II, гл. XII).

Послѣ „мужицкой доли“ чувство жалости возбуждается въ немъ при мысли о дворянско-помѣщичьей долѣ,—

мысли, вызываемой видомъ разоренныхъ и запущенныхъ дворянскихъ гнѣздъ. Этотъ мотивъ сыгралъ въ жизни Теркина крупную роль, какъ увидимъ дальше. Пока послушаемъ: „Картины заброшенныхъ помѣстій приводили его въ особаго рода волненіе. Сейчасъ забирала его жалость...“. Это мотивируется такъ: „Къ помѣщикамъ крѣпостникамъ онъ изъ дѣтства не вынесъ злобной памяти. Въ Кладенцѣ „господа“ не живали, народъ былъ оброчный; кромѣ рекрутчины, почти ни на чемъ и не сказывался произволъ вотчинной власти; всѣмъ орудовалъ міръ; да и родился онъ, когда все село перешло уже во временно-обязанное состояніе. Не жалѣлъ онъ дворянъ за ихъ теперешнюю оскудѣлость, а жалѣлъ о прежнемъ привольѣ и порядкѣ заглохлыхъ барскихъ хозяйствъ. Къ „купчишкамъ“-хищникамъ, разоряющимъ всѣ эти старыя родовыя гнѣзда, онъ еще менѣе благоволилъ. Даже и тѣхъ, кто умно и честно обращался съ землей и лѣсомъ, онъ не считалъ законными обладателями большихъ угодій. Нужды нѣтъ, что онъ самъ значился долго купцомъ и теперь имѣетъ званіе личнаго почетнаго гражданина: „купчиной“ онъ себя не считалъ, а признавалъ себя практикомъ изъ крестьянъ „съ идеями“...“. (II, гл. XVII).

Эта жалость къ оскудѣвшимъ дворянамъ, въ особенности къ тѣмъ изъ нихъ, которые, по мнѣнію Теркина, достойны были лучшей участи, заговорила въ немъ съ особенною силою, когда онъ познакомился съ семьею помѣщика Черносошнаго, у котораго онъ покупаетъ лѣсъ для организованной имъ компаніи лѣсоводства. Впрочемъ. самъ вдовецъ-помѣщикъ и его сестры оказались людьми довольно антипатичными и не возбудили въ Теркинѣ замѣтнаго чувства жалости, и оно цѣликомъ и съ тѣмъ большею силою сосредоточилось на дочери помѣщика, Санѣ, наивной и доброй барышнѣ, которой, какъ предвидитъ Теркинъ, съ разореніемъ ея отца грозитъ неминуемая гибель. И въ душѣ Теркина заговорило желаніе спасти ее. Онъ подумываетъ о томъ, не купить ли ему, кромѣ лѣса, и самое имѣніе и такъ или иначе обезпечить будущее Сани. Вотъ прочтемъ:

„...Онъ уже рѣшался взять на свой страхъ эту покупку. Если компанія не одобритъ ея, тѣмъ лучше: это бу-

детъ его имѣніе, и онъ самъ на свой счетъ создастъ въ немъ школу практическихъ лѣсоводовъ. Не одно это его тѣшило. Сидитъ онъ среди помѣщичьей среды съ гоноромъ, — онъ, мужицкій подкидышъ, разночинецъ, котораго Павла Захаровна [1]) навѣрное зоветъ „кошатникомъ" и „хамомъ"... Нѣтъ! Отъ нихъ слѣдуетъ отбирать вотчины людямъ, какъ онъ, у кого есть любовь къ родному краю, къ лѣснымъ угодьямъ, къ кормилицѣ-рѣкѣ. Не собственной мошной онъ силенъ, не ею онъ величается, а добился всего этого головой и волей, надзоромъ за собственной совѣстью...". Тутъ ходъ его мыслей былъ прерванъ вопросомъ Сани, къ нему обращеннымъ. „Что-то заиграло у него въ груди отъ голоска Сани и мягкаго блеска ея глазъ. Приливъ жалости подступилъ къ сердцу. Захотѣлось сейчасъ же увести ее изъ этой семьи, обласкать, наставить, создать для нея совсѣмъ другую жизнь...". (ч. Ш, гл. XXVI).

Жалость къ этой „барышнѣ-ребенку" не покидаетъ Теркина все время, пока онъ ведетъ переговоры съ ея отцомъ. Когда старушка-няня объяснила ему положеніе вещей (нелюбовь отца къ дочери, которую онъ считаетъ не своею, гоненіе злой тетки Павлы, развращающее вліяніе другой тетки и т. д.), Теркинъ хотѣлъ—было спросить: „что же я-то могу сдѣлать?", но онъ „не выговорилъ" этого вопроса: „ему стало жаль эту милую Саню, съ ея ручками и голоскомъ, съ ея тономъ и простодушіемъ и какой-то особенной безпомощностью..." (ч. Ш, гл. XX).

Въ противоположность чувственной любви къ Серафимѣ любовь Теркина къ Санѣ возникла изъ состраданія и великодушія сильнаго человѣка, заступающагося за слабаго, изъ умиленія передъ простодушіемъ и наивностью безпомощнаго существа, которое, по выраженію няни, „пропадетъ пропадомъ, ежели благородный человѣкъ не вступится...".

Теркинъ рѣшилъ спасти Саню, женившись на ней. Сцена объясненія принадлежитъ къ лучшимъ въ романѣ Теркина, въ этой сценѣ, тронуло простодушное безкоры-

---

*) Сестра помѣщика.

*

стіе Сани, не помышляющей о выгодной партіи.—„Дитятко!—повторилъ онъ мужицкимъ звукомъ. Дитя малое... неразумное!.. Все уладимъ. Не разорять я ваше гнѣздо пришелъ, а заново уладить!..“.—„Какъ?“ спросила Саня и сквозь слезы улыбнулась.—„За собою оставлю... усадьбу и паркъ... Вамъ стоитъ сказать одно словечко. Вы вѣдь знаете, я мужичьяго рода... По-мужицки и спрошу: любъ вамъ, барышня, разночинецъ Василій Ивановъ Теркинъ... а? Коли не можете еще самой себѣ отвѣтить, подождите“.—„Любъ!“ звонко откликнулась Саня и неудержимо засмѣялась. Этому смѣху вторилъ и онъ, и его широкая грудь слегка вздрагивала, а на глазахъ навертывались слезы...“. „Если я вамъ любъ, не нужно вамъ будетъ разставаться съ роднымъ гнѣздомъ“.—Глаза Сани удивленно расширились. — „Какъ же не нужно? Вы, стало быть, не покупаете?“—„Покупаю. Ахъ, простота вы младенческая!.. Не понимаете?“ — Глаза его пояснили ей то, чего онъ не досказалъ. До ушей залила ей кровь пышныя щеки; она вся рванулась, прошептала: „пустите, голубчикъ Василій Иванычъ!“ и выбѣжала изъ бесѣдки...“. (III, XXX).

Другой эпизодъ—съ уѣзднымъ предводителемъ дворянства Звѣревымъ, товарищемъ Теркина по гимназіи, дорисовываетъ разсматриваемую коренную черту натуры Теркина,—его мужицкую способность жалѣть людей „по человѣчеству“. Звѣревъ за растрату попалъ подъ судъ и въ тюрьму, и кромѣ растраты надъ нимъ тяготѣетъ еще подозрѣніе въ поджогѣ винокуреннаго завода ради полученія страховой преміи. Отъ поджога выгорѣло и нѣсколько десятинъ лѣса, купленнаго Теркинымъ. Послѣдній имѣлъ всѣ основанія не щадить Звѣрева, человѣка вообще весьма несимпатичнаго. Онъ — представитель той части вырождающихся дворянъ, которые въ мотовствѣ, задолженности и разореніи утратили и честь и совѣсть. При свиданіи (еще до ареста Звѣрева) Теркинъ наговорилъ ему много жесткихъ, не справедливыхъ словъ и отказалъ ему въ денежной помощи. Теперь, когда Звѣревъ очутился въ тюрьмѣ, отношеніе къ нему Теркина измѣнилось. Онъ рѣшилъ навѣстить его. Запасшись разрѣшеніемъ слѣдователя, отъ котораго онъ узналъ, что

Звѣревъ сейчасъ отпущенъ для свиданія съ больною женою, но скоро его привезутъ обратно, Теркинъ направился въ тюрьму. „И вотъ онъ идетъ туда пѣшкомъ, и жалость не покидаетъ его. Поговорка: „отъ тюрьмы да отъ сумы не открещивайся“ врѣзалась ему въ мозгъ и точно дразнила. Со дна души поднималось чисто мужицкое чувство—страхъ неволи, сидѣнья взаперти, вѣра въ судьбу, которая можетъ и невиннаго отправить въ кандалахъ въ сибирскую тайгу...“. Тутъ его нагнала долгуша. „Теркинъ поднялъ голову равнодушнымъ жестомъ и остолбенѣлъ. Лицомъ къ нему сидѣлъ сгорбившись Звѣревъ, въ арестантскомъ халатѣ и шапкѣ безъ козырька; по бокамъ два полицейскихъ съ шашками, и у обоихъ револьверы. Теркинъ хотѣлъ крикнуть, и у него перехватило въ горлѣ. Звѣревъ узналъ его и тотчасъ же отвернулся... Облако пыли скрыло ихъ. Сермяжный халатъ всего больше поразилъ Теркина. Первое лицо въ уѣздѣ—и колодникъ еще до суда. Быть можетъ, и понапрасну заподозрѣнъ въ поджогѣ? Растрата по опекѣ еще, кажется, не обнаружена. Въ сермягѣ!.. До самаго острога не покидало его жуткое чувство — точно саднило въ груди...“. (ч. III, гл. XXXVIII). Въ слѣдующей затѣмъ сценѣ свиданія въ тюрьмѣ ярко обнаруживается благородство, великодушіе и душевная деликатность Теркина. Онъ вноситъ за Звѣрева залогъ въ 10.000 рублей.

Итакъ, чувство жалости образуетъ характерную и стойкую черту натуры Теркина. Къ ней, какъ первоисточнику, сводятся и нѣкоторыя другія положительныя качества этого „дѣльца“ и „культуртрегера“, и прежде всего—присущее ему великодушіе.

И эта черта отнюдь не случайна. Вникая въ психологію Теркина, какъ она задумана и проведена авторомъ, мы приходимъ къ выводу, гласящему такъ:

Способность къ жалости у Теркина есть „производное“ отъ народной, крестьянской психологіи и находится въ тѣсномъ соотношеніи съ другими такими же „производными“—страхомъ бѣды и грѣха, пугливостью совѣсти.

7.

Нѣтъ надобности идеализировать мужика, какъ это дѣлали славянофилы, народники, Достоевскій, чтобы признать наличность своеобразнаго чувства жалости въ народной психологіи. Незачѣмъ также превращать это чувство въ добродѣтель высшаго порядка, будто бы присущую *русской національности,* какъ таковой, и видѣть въ ней преимущество русскаго народа передъ другими. Это—черта не національная и, по существу дѣла, не можетъ быть таковою [1]). Это—черта *крестьянская, мужицкая,* и она найдется *при аналогичныхъ условіяхъ* повсюду, въ крестьянской массѣ всѣхъ націй.

Но, говоря такъ, я вовсе не думаю утверждать, что чувство жалости не свойственно другимъ слоямъ населенія. Мы найдемъ его повсюду, оно принадлежитъ къ числу общечеловѣческихъ и притомъ наиболѣе распространенныхъ продуктовъ развитія, вырабатывающихся при весьма различныхъ условіяхъ быта на разныхъ ступеняхъ культуры. И, разумѣется, въ зависимости отъ этихъ бытовыхъ и культурныхъ условій оно *видоизмѣняется,* вступая въ психологическія взаимоотношенія и связи съ другими душевными явленіями, въ различной соціальной средѣ различными. Въ данномъ случаѣ дѣло идетъ *объ одной изъ разновидностей* чувства жалости, и мы назовемъ эту разновидность „крестьянскою“, „мужицкою“—въ отличіе, напр., отъ „дворянской“, „интеллигентской“ и всякой иной. Ея отличительную особенность я вижу *въ вышеуказанной ассоціаціи ея съ фаталистическимъ чувтвомъ страха бѣды и грѣха и съ моральною пугливостью совѣсти.* Народныя поговорки, въ родѣ: „всѣ подъ Богомъ ходимъ“, „грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, „отъ тюрьмы да отъ сумы не открещивайся“ и т. п., служатъ выраженіемъ этихъ характерныхъ чертъ народной — крестьянской — психологіи, какъ она истори-

*) Мнѣ не разъ приходилось развивать мысль, что черты моральнаго порядка не входятъ въ составъ національной психики, которая слагается изъ чертъ умственнаго и волевого порядка.

чески сложилась у насъ на основѣ непосильной или малоуспѣшной борьбы съ природой и многоразличными неблагопріятными условіями жизни. Подъ вліяніемъ вытекающихъ оттуда чувствъ и настроеній, каковы неувѣренность въ себѣ, ожиданіе бѣды, которая можетъ свалиться, какъ снѣгъ на голову, ощущеніе своей зависимости отъ рокового стеченія обстоятельствъ, отъ „судьбы“ и т. п.,—натуральная (для всякаго нормальнаго человѣка) способность къ сочувствію и состраданію превращается въ специфическую „жалость по человѣчеству“,—чувство, которое отъ другихъ видовъ сострадательности отличается тѣмъ, что *оно направлено не столько на страдающую личность, сколько на самый фактъ страданія*. Оно сродни тому чувству, какое мы испытываемъ при видѣ чужой физической боли, при чемъ самъ страдающій субъектъ можетъ и не внушать намъ никакого сочувствія. Въ клиникѣ видъ больныхъ вызываетъ въ васъ чувство состраданія, но это — состраданіе не лицамъ, которыхъ вы не знаете, а ихъ болѣзни. Этотъ родъ, такъ сказать, „объективной жалости“ выгодно отличается своею *нелицепріятностью*: кто бы ни страдалъ, хотя бы это былъ человѣкъ чужой или даже мой личный врагъ, я его жалѣю по человѣчеству. Но, съ другой стороны, изъятіе изъ поля зрѣнія самой страдающей личности приводитъ къ нѣкоторому пониженію этого цѣннаго чувства: оно размѣнивается на ходячую монету простой эмоціи жалости, вызываемой внѣшнимъ видомъ страданія. Здѣсь нѣтъ живого интереса къ самой личности страдающаго, и роль симпатическаго воображенія сравнительно невелика. Л. Н. Толстой далъ намъ *въ Каратаевѣ* точное воспроизведеніе этой „объективной“ жалости, какъ черты народной, крестьянской психологіи: Каратаевъ одинаково жалѣетъ Пьера, товарищей, французовъ, собачку.

Между жалостью Каратаева и жалостью Теркина огромное разстояніе, но все-таки замѣтна *генетическая связь между этими чувствами*. Разумѣется, у Теркина чувство жалости гораздо высшей пробы, чѣмъ у Каратаева, и уже не является „объективнымъ“. Теркинъ—не только умница, но и образованный человѣкъ съ развитымъ и дѣятельнымъ симпатическимъ воображеніемъ. Онъ умѣетъ входить въ положеніе другихъ людей, анализировать ихъ душевныя со-

стоянія; онъ—человѣкъ рефлексіи, способный разбирать и оцѣнивать тонкія и сложныя движенія души—своей и чужой. Но при всемъ томъ и для него зрѣлище страданія или фактъ несчастья имѣетъ рѣшающее значеніе, и чувство жалости у него всего скорѣе и сильнѣе возбуждается видомъ или представленіемъ *бѣды* при сознаніи безпомощности лица, на которое бѣда обрушилась, или фатальной невозможности спастись отъ угрожающаго несчастья. Такъ это въ его отношеніяхъ къ Звѣреву, въ Санѣ, къ Аршаулову, къ мужикамъ.

Незадолго до того, какъ онъ „по человѣчеству" пожалѣлъ Звѣрева и помогъ ему въ бѣдѣ, вотъ какія чувства онъ питалъ къ нему и ему подобнымъ: „Въ немъ вскипѣло годами накопившееся презрѣніе къ безпутству всѣхъ этихъ господъ, къ ихъ наслѣдственной неумѣлости, къ хапанію всего, что плохо лежитъ, — и все это только затѣмъ, чтобы просаживать воровскія деньги чортъ знаетъ на что. Никого изъ нихъ онъ не спасетъ. Скорѣе поможетъ какому-нибудь завзятому плуту, способному что-нибудь сдѣлать для края. *И никакой жалости ни къ кому изъ нихъ онъ не имѣетъ и не желаетъ имѣть*" *). (Ш, XIV).— Такое чувство къ Звѣреву еще болѣе обострилось, когда Теркинъ заподозрѣлъ его въ поджогѣ. И тѣмъ не менѣе послѣ ареста Звѣрева мысль о несчастьи, обрушившемся на этого человѣка, хотя бы и по заслугамъ, размягчила душу Теркина. Встрѣча съ Звѣревымъ на улицѣ, когда его везли въ тюрьму, и свиданіе съ нимъ въ тюрьмѣ довершили остальное, поднявъ „со дна души чисто-мужицкое чувство — страхъ неволи, вѣру въ судьбу" и т. д., и по стародавней, вѣками упрочившейся ассоціаціи это и вызвало въ немъ „жалость по человѣчеству",—жалость къ „несчастненькому", какъ народъ называетъ арестантовъ.

8.

Въ составъ психологической ассоціаціи, о которой мы ведемъ рѣчь, кромѣ страха бѣды и чувства жалости, входитъ еще *страхъ грѣха*,—элементъ моральный,—и все вмѣстѣ образуетъ характерную принадлежность отсталыхъ

*) Курсивъ мой.

народовъ или классовъ, культурныя силы которыхъ не отвѣчаютъ требованіямъ времени.

У народовъ, издавна воспитанныхъ въ условіяхъ *интенсивной культуры*, матеріальной и духовной, вырабатываются устойчивыя нормы морали, какъ общей, такъ и классовой. По своему положительному содержанію, эти нормы могутъ быть и бываютъ разныя и разнаго достоинства; иныя изъ нихъ, пожалуй, придется признать отсталыми и даже варварскими. Это ужъ другой вопросъ. Но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ въ виду не ихъ качество или достоинство, а только *ихъ крѣпость, ихъ устойчивость*. Пусть, напр., мораль китайскаго земледѣльца или японскаго ремесленника окажется варварскою, пусть „мелкобуржуазная“ или иная мораль извѣстныхъ классовъ населенія въ Западной Европѣ будетъ признана весьма невысокою и отсталою съ точки зрѣнія идеаловъ передовой части общества,—никто не станетъ отрицать психологическую крѣпость и догматическую силу этихъ моральныхъ нормъ: люди не высоко подымаются, не многаго требуютъ, но ниже исторически достигнутаго уровня не опускаются, за изъятіемъ, конечно, преступныхъ натуръ и тѣхъ слабыхъ духомъ, которые не устояли въ борьбѣ за существованіе и пали; зато они и признаются выбывшими изъ строя, — извергнутыми изъ класса (déclassés). Какъ бы ни былъ значителенъ процентъ этихъ „соціальныхъ отбросовъ“, ихъ паденіе, ихъ моральная несостоятельность нисколько не опровергаетъ факта огромной моральной устойчивости культурныхъ народовъ. Напротивъ, „отбросы“ только подтверждаютъ ее, какъ исключеніе подтверждаетъ правило,—въ особенности если примемъ во вниманіе роль такихъ факторовъ, какъ алкоголизмъ, психозы, неврастенія, борьба съ которыми хотя очень трудна, но возможна и въ нѣкоторыхъ передовыхъ странахъ уже приводитъ къ положительнымъ результатамъ.

Вотъ именно въ силу этой моральной устойчивости (которая не съ неба свалилась, а явилась плодомъ долгаго культурнаго развитія) возникаетъ и крѣпнетъ у людей *нравственная самоувѣренность, и страхъ грѣха идетъ на убыль:* человѣкъ перестаетъ бояться моральной опасности, зная, что онъ достаточно вооруженъ для борьбы съ соблазнами, что элементарныхъ требованій нравственнаго за-

кона онъ не нарушитъ и не опустится ниже моральной нормы. Его совѣсть не пуглива. Его не страшатъ неожиданныя, роковыя случайности, которыя могли бы вдругъ превратить его изъ моральной личности въ аморальную, изъ порядочнаго человѣка въ негодяя или преступника.

Этой-то моральной самоувѣренности и нѣтъ у насъ— въ той мѣрѣ, въ какой мы ее находимъ у болѣе культурныхъ народовъ востока и запада. И всего меньше ея въ народной массѣ, культурный уровень которой стоитъ столь низко, что у нея доселѣ не выработалась даже элементарная хозяйственная, экономическая „самоувѣренность", являющаяся основою моральной. Чѣмъ ниже культурное развитіе, тѣмъ легче—при случаѣ, даже по ничтожному поводу—просыпается звѣрь въ человѣкѣ. Самочувствіе, дающее знать объ этомъ звѣрѣ, всегда готовомъ пробудиться, подтачиваетъ всякую увѣренность человѣка въ себѣ, въ своей нравственной крѣпости и порождаетъ моральную пугливость, страхъ соблазна, грѣха, „навожденія". Оттуда и специфическое—народное—отношеніе къ религіи, какъ главному прибѣжищу въ моральной тревогѣ. И наоборотъ: чѣмъ больше человѣкъ полагается на крѣпость своей нравственной воли, чѣмъ онъ увѣреннѣе въ себѣ, тѣмъ меньше нуждается онъ въ религіозной санкціи и поддержкѣ. Принципъ: „религія—основа морали" есть принципъ культурно-отсталыхъ народовъ, которые еще не возвысились до чистой религіозности и разсматриваютъ религію—какъ средство для достиженія или обезпеченія чего-то другого, а не какъ самодовлѣющую и высшую функцію духа. Человѣкъ обращается къ Богу, движимый не религіозною въ собственномъ смыслѣ тягою души, а мотивами либо экономическаго, либо моральнаго порядка, свидѣтельствующими о его экономической и моральной слабости. Онъ молится объ урожаѣ, о дождѣ, о хорошей цѣнѣ на продукты труда, о спасеніи отъ бѣды, отъ грѣха и .т д. Въ началѣ этой главы я привелъ соотвѣтственное мнѣніе Теркина, что народъ, не имѣя будто бы крѣпкой вѣры, утрачиваетъ и нравственность. Въ этомъ случаѣ Теркинъ (какъ и въ другихъ отношеніяхъ) стоитъ на чисто-народной точкѣ зрѣнія. Но онъ ошибается, когда приписываетъ упадокъ нравственности (а также и экономическое разореніе) отсутствію въ народѣ крѣпкой вѣры (религіоз-

ной), въ родѣ той, какая есть у татаръ и сектантовъ. Бѣда въ томъ, что нѣтъ ни экономической, ни нравственной силы, и, соотвѣтственно этому, религія остается на архаической ступени развитія, на которой она является средствомъ для достиженія постороннихъ цѣлей и своей собственной цѣнности не имѣетъ. Извѣстно также и такое извращеніе: грѣши, сколько хочешь,—потомъ можно замолить грѣхи и спасти душу исповѣдью, молебнами, собираніемъ денегъ на церковь, монашествомъ. Въ этомъ отношеніи Иванъ Грозный, купцы Островскаго, Власъ Некрасова, нѣкоторые (безпоповскіе) толки старообрядчества являютъ черты глубоко-народной и глубоко-архаической психологіи въ морали и религіи.

Истый сынъ народа, Теркинъ унаслѣдовалъ, вмѣстѣ съ фаталистическимъ страхомъ бѣды, *и фаталистическій страхъ грѣха.* Мало того: онъ инстинктивно ищетъ религіозной поддержки своей пугливой совѣсти, дѣлая попытку пріобщиться къ традиціонной вѣрѣ народа, а потомъ—къ традиціонной интеллигентской религіи народничества (поѣздка въ Троице-Сергіевскую лавру и бесѣда съ Аршауловымъ). Первая попытка окончилась неудачей, вторая имѣла лишь относительный успѣхъ: Теркинъ не увѣровалъ въ догмы народничества, но почувствовалъ красоту и силу его этики и преклонился предъ нею.

Преслѣдуя свои цѣли дѣльца и культуртрегера, Теркинъ не перестаетъ бояться грѣха, старается уберечься отъ соблазновъ, кается, исповѣдуется и, наконецъ, долгимъ искусомъ и неусыпнымъ контролемъ надъ собою доходитъ до *моральной самоувѣренности.* Онъ достигаетъ спокойствія совѣсти,—сознанія, что дѣлаетъ доброе дѣло, полезное краю и народу, и, дѣлая его, не прибѣгаетъ къ нравственно-предосудительнымъ средствамъ.

„Живи и другимъ давай жить"—вотъ его лозунгъ.

Черты народной психологіи сохранились въ немъ весьма замѣтно, но онѣ уже преобразованы и просвѣтлены просвѣщеніемъ, развитіемъ, пріобщеніемъ къ работѣ интеллигентской мысли и совѣсти.

Въ исторіи русской интеллигенціи, въ ряду ея большихъ типовъ ему принадлежитъ видное мѣсто: онъ знаменуетъ собою второй великій шагъ въ направленіи демократизаціи нашей интеллигенціи.

Первый шагъ относится къ 60-мъ и 70-мъ годамъ, когда явились *разночинцы* и *кающіеся дворяне*, создавшіе догму и этику народничества. Второй шагъ былъ сдѣланъ въ 80-хъ и 90-хъ гг., когда обнаружилось въ средѣ интеллигенціи присутствіе значительнаго числа выходцевъ изъ народа и когда, послѣ паденія утопическаго народничества, зачинался кризисъ идеологіи и самой психологіи передовой русской интеллигенціи.

ГЛАВА X.

90-е годы. Россійское ничшеанство. «Перевалъ», романъ П. Д. Боборыкина.

1.

Въ предыдущихъ главахъ я старался освѣтить тотъ кризисъ идеологіи и самой психологіи русской интеллигенціи, который, начавшись приблизительно въ концѣ 70-хъ годовъ, затянулся до начала 90-хъ. Это десятилѣтіе (80-е годы) было въ исторіи нашей интеллигенціи по преимуществу эпохою *разочарованія* въ господствовавшей дотолѣ идеологіи и *исканія* новыхъ нормъ и путей. Въ 90-хъ годахъ обозначились результаты того и другого: вырабатывался новый родъ интеллигентскаго самочувствія и самосознанія, складывался какой-то особый порядокъ идей. Это былъ, несомнѣнно, поворотъ отъ разброда 80-хъ годовъ къ иному умонастроенію, еще не вполнѣ опредѣлившемуся, но уже манившему возможностью новыхъ перспективъ, новаго поприща для развитія или хотя бы только для упражненія интеллигентской мысли и чувства...

Этотъ поворотъ воспроизведенъ въ романѣ П. Д. Боборыкина „*Перевалъ*“, гдѣ—въ чертахъ вполнѣ согласныхъ съ дѣйствительностью—отразились различные признаки и вѣянія времени.

Изъ многочисленныхъ лицъ романа мы остановимся здѣсь только на двухъ, стоящихъ въ центрѣ. Это—*Лы-*

жинъ, человѣкъ 70-хъ годовъ, прошедшій черезъ народничество и революціонное броженіе той эпохи, а также и черезъ исканія 80-хъ годовъ, и *Кострицынъ*, типичный представитель настроенія 90-хъ, выражающій то новое и на первый взглядъ неожиданное, что объявилось въ первой половинѣ этого десятилѣтія.

Въ *Лыжинѣ* формулировано многое изъ того, что въ предыдущихъ главахъ, на матеріалѣ писемъ и разсказовъ Чехова, писемъ Эртеля, романа „Василій Теркинъ", мы старались прослѣдить и посильно истолковать съ психологической стороны: тутъ и разочарованіе въ революціонныхъ иллюзіяхъ, въ народничествѣ, признаніе безплодности самоотреченія ради идеи о долгѣ передъ народомъ, и исканіе новыхъ откровеній въ толстовствѣ, и переходъ къ мирной культурной дѣятельности, и стремленіе къ болѣе свободному и широкому воззрѣнію, основанному на объективныхъ наблюденіяхъ надъ дѣйствительностью, надъ ходомъ вещей.

Лыжинъ прошелъ суровую „школу" движенія 70-хъ годовъ и былъ искреннимъ адептомъ властныхъ идей того времени. То, *чему учила* эта „школа", теперь ликвидировано и признано несостоятельнымъ,—и Лыжину приходится, такъ сказать, переучиваться. Но то, *что воспитывала* она, осталось въ его душѣ неотъемлемымъ и цѣннымъ достояніемъ: онъ вышелъ изъ „школы" нравственно крѣпкимъ, гуманнымъ, духовно просвѣтленнымъ человѣкомъ. Его „отреченіе" отъ идей 70-хъ годовъ не имѣетъ ничего общаго съ ренегатствомъ (примѣры котораго, рѣдкіе, но зато очень яркіе, достаточно памятны), ни съ отступничествомъ въ силу умственнаго и моральнаго упадка. Передъ возвращеніемъ изъ-за границы (дѣло было, повидимому, около половины 80-хъ годовъ) Лыжинъ, стоя передъ извѣстнымъ памятникомъ Герцена, перебиралъ въ умѣ итоги всего, что онъ пережилъ и что, въ источникѣ, восходило къ идеямъ и пропагандѣ Герцена. Здѣсь мы читаемъ: „Превратись этотъ бронзовый русскій идеалистъ 30-хъ годовъ въ человѣка изъ плоти и крови, онъ (Лыжинъ) сказалъ бы ему: на васъ, на вашихъ идеяхъ и упованіяхъ, на вашемъ возмущенномъ чувствѣ гражданина я воспиталъ себя со студенческой скамьи; двадцать лѣтъ искалъ пути, исхода, основы и откровенія, и вотъ теперь руки у меня опустились. Я не предалъ никого; я

не продаю себя никому и ничему; но я не вѣрю въ то, во что и вы увѣровали, съ тѣхъ поръ, какъ, возмутившись фальшью и бездушіемъ западнаго лжерадикальнаго буржуа, вы стали ратовать за мужицкую общинную правду. Я готовъ былъ бы и теперь служить „идеѣ“, но гдѣ она и какъ это дѣлать—не знаю. Не кляну васъ и всѣхъ, кто пошелъ еще дальше васъ, за то, что самъ близокъ къ душевному банкротству; но чувствую, что завѣщаннаго вами дѣла я дѣлать не буду...“ (часть I, глава I) *).

Вернувшись въ отечество, онъ соблазнился было „новѣйшимъ духовно-нравственнымъ видомъ народничества“ (т. е. ученіемъ Толстого), но отличное воспитаніе, полученное въ „школѣ“ 70-хъ годовъ, спасло его отъ увлеченія въ это сектантство. Мало того: онъ тутъ „впервые испугался за самого себя, за то фарисейство, которое начало обволакивать его... Этотъ видъ скопческаго себялюбія и эпикурейства сталъ ему просто гадокъ, точно изувѣрство какого-нибудь грязнаго юродиваго...“ (I, I).

Замѣчу мимоходомъ, что столь рѣзкія и явно несправедливыя выраженія по адресу ученія Толстого, теперь уже (да и давно) невозможныя въ кругу просвѣщенныхъ людей, тогда (въ 80-хъ годахъ и началѣ 90-хъ) слышались нерѣдко. Такъ, напр., Глѣбъ Успенскій въ недавно опубликованномъ письмѣ къ Гольцеву говоритъ объ Эртелѣ: „видимо, онъ освободился отъ толстовскаго скопчества...“ (Сборникъ „Памяти В. А. Гольцева“, стр. 195). Ученіе Толстого тогда понимали совершенно превратно какъ въ его сильныхъ, такъ и въ его слабыхъ сторонахъ. Кострицынъ называетъ это ученіе „барски-миѳической ересью“ (I, III). И многіе думали, что Л. Н. Толстой „впалъ въ мистицизмъ“. Между тѣмъ именно мистицизма-то у него самого и въ его ученіи нѣтъ и тѣни.

Вернемся къ Лыжину. Повидимому, онъ былъ изъ числа тѣхъ русскихъ просвѣщенныхъ людей, закаленныхъ просвѣтительною и освободительною литературою 60-хъ и 70-хъ годовъ, которыхъ проповѣдь Толстого могла на первыхъ

*) Выраженіе „душевное банкротство“ представляется мнѣ неподходящимъ. Лыжинъ, какъ мы знаемъ его по роману (а онъ превосходно очерченъ),—вовсе не „душевный банкротъ“. „Обанкротилась“ только его идеологія—„семидесятника“.

порахъ заинтересовать, какъ „новое слово“, но которыхъ затѣмъ она отталкивала, какъ нѣчто органически-чуждое имъ, противорѣчащее всѣмъ усвоеннымъ привычкамъ мысли. Помимо того, оно не отвѣчало тому, къ чему по преимуществу стремился Лыжинъ въ данное время: онъ усталъ носить вериги и искалъ личнаго освобожденія отъ обязательствъ, налагаемыхъ доктриною, а толстовство вмѣсто прежнихъ веригъ налагало новыя, еще болѣе тяжелыя, и предъявляло требованія самоотреченія, непріемлемыя для человѣка, который стремится къ внутренней свободѣ, къ осуществленію своего человѣческаго права—оставаться самимъ собою и не отстраняться отъ благъ и всѣхъ утѣхъ культуры. „Столько онъ жилъ идеями, столько силъ ушло на порыванія—служить народу и обществу, что теперь онъ въ правѣ былъ бы мечтать о наградѣ, о кусочкѣ счастья, о тихомъ довольствѣ. Усталость брала верхъ и подсказывала законное право пожить смиренно для себя, разъ онъ созналъ, что самоотреченіе ни къ чему не привело, кромѣ душевнаго распада. Голова еще есть на плечахъ, она не разучилась мыслить и наблюдать. Вѣдь ея работа—величайшее благо и наслажденіе, какое человѣкъ можетъ имѣть на землѣ, величайшее и безобидное...“ (I, II).

2.

Такое настроеніе и подготовило почву для сближенія Лыжина съ Кострицынымъ, яркимъ представителемъ извѣстной части поколѣнія 90-хъ годовъ. При первомъ же знакомствѣ Лыжинъ живо заинтересовался этимъ новымъ явленіемъ русской жизни.

Кострицынъ — человѣкъ широко-образованный и ученый; онъ—филологъ-классикъ (то и дѣло сыплетъ греческими и латинскими изреченіями), психологъ, философъ—прошелъ два факультета, и ему, очевидно, предстоитъ блестящая карьера ученаго и профессора. Но, вмѣсто командировки для приготовленія къ каѳедрѣ, онъ служитъ у купца Кумачева—управляетъ его конторой. На вопросъ Лыжина: „И вы не оставляете науки?“—онъ отвѣчаетъ такъ:—„Ни науки, ни мышленія, если позволите мнѣ такъ выразиться.

Контора беретъ у меня утро до трехъ, да и то не каждый день... Голова моя отдыхаетъ на цифрахъ контроля и дѣловыхъ письмахъ. Читай себѣ и думай все остальное время. Надъ нами не каплетъ: одной диссертаціей больше, одной меньше—не важно. *Мыслить свободно только и можно, когда не надѣнешь никакого ученаго мундира...*" *) (I, III).

Изъ разговора выяснилось, что Кострицынъ „посѣщаетъ всякіе кружки", въ томъ числѣ и студенческіе, и всюду вноситъ оживленіе и споры на всевозможныя темы. Онъ—типичный московскій **) говорунъ и спорщикъ, „шатунъ", какъ онъ самъ называетъ себя. „Безъ преній, безъ діалектической игры онъ не понимаетъ жизни, и въ потребности къ перетряхиванію вопросовъ науки и устоевъ метафизики полагаетъ самое высшее отличіе москвича отъ всякихъ другихъ русскихъ—петербуржцевъ и провинціаловъ..." (I, V). „Въ свободные часы,—сообщаетъ онъ Лыжину,—хожу по Москвѣ и суесловлю. Какъ Сократъ хаживалъ по Аѳинамъ, задавая вопросы, пустячные на оцѣнку его согражданъ..." (I, III).

Это позволяетъ предположить, что Кострицынъ не просто спорщикъ и разговорныхъ дѣлъ мастеръ, а что у него есть нѣкая излюбленная идея, отъ которой онъ исходитъ. Эта центральная идея раскрывается въ романѣ съ извѣстною постепенностью, вмѣстѣ съ развитіемъ самого характера Кострицына и обрисовкою его лица—какъ типа. На первыхъ порахъ мы узнаемъ только о его настроеніи и его отношеніяхъ къ тому, что творится на Руси: „Вокругъ него идутъ сѣтованія на подлое время, нытье о паденіи идеаловъ, объ опошленіи молодежи, о всеобщемъ бездушномъ изувѣрствѣ, о расовыхъ инстинктахъ нетерпимости, о возмущающемъ душу нахальствѣ охранителей „лжепатріотическихъ" началъ. *Онъ только посмѣивается себѣ въ бороду и видитъ, что все это—жалкія слова. Для него то, что наступило, должно было случиться, какъ реакція добровольному рабству во имя разныхъ фетишей, передъ которыми „хорошіе" люди предыдущаго десятилѣтія совершали свои идо-*

---

*) Курсивъ мой.

**) Дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ. „Перевалъ" принадлежитъ къ серіи „московскихъ" романовъ Боборыкина, воспроизводящихъ „эволюцію" московскаго купечества съ одной стороны и настроенія интеллигенціи, какъ они проявлялись по преимуществу въ Москвѣ,—съ другой.

жертвенныя требы... А теперь идетъ „дифференціація", теперь личность хочетъ поднять себя, дерзаетъ противополагать свое „я" обязательнымъ символамъ вѣры, дерзаетъ и посягаетъ...“ *) I, V).

Въ этомъ—на первый взглядъ—не видать ничего совсѣмъ новаго: мотивы этого рода слышались съ самаго начала 80-хъ годовъ. И Лыжину они хорошо извѣстны. Протестомъ противъ „идолослуженія“ его не удивишь: онъ самъ недавно пережилъ кризисъ перехода отъ вѣчныхъ исканій, чему и какъ собою жертвовать, къ внутренней свободѣ, къ сознанію своего права—не жертвовать собой: „онъ хочетъ доживать въ полной свободѣ отъ всякой прописи, отъ всего, что онъ навязывалъ себѣ поочередно, ища правды и свѣта, въ сущности дѣлаясь кабальнымъ должникомъ выдуманнаго заимодавца—народа, человѣчества, идеи, общаго дѣла!..“ (I, IX).

И однако же въ аналогичномъ протестѣ Кострицына онъ усмотрѣлъ что-то новое.—„Такихъ Лыжинъ еще не встрѣчалъ...“ Въ Кострицынѣ „онъ почуялъ человѣка другой полосы русской интеллигенціи—и образованнѣе себя, смѣлѣе. Этотъ дерзаетъ *по-своему* относиться къ тому, что теперь дѣлается въ обществѣ, въ народѣ, наверху и внизу...“ (I, IX).

Вотъ именно это *по-своему*, накоплявшееся въ теченіе 80-хъ годовъ и къ началу 90-хъ образовавшее новую „полосу русской интеллигенціи“, намъ и предстоитъ теперь уяснить себѣ. Присмотримся ближе къ умонастроенію Кострицына...

3.

Умный, широко-образованный и, по натурѣ своей, несомнѣнно, хорошій и гуманный человѣкъ, онъ, однако, обнаруживаетъ признаки странной аберраціи мысли и чувства.

Такъ, напр., его не возмущаетъ „развалъ расовой нетерпимости“, хотя самъ онъ вовсе не проявляетъ склонности къ ней. Но мало того, что она не возмущаетъ его,—онъ

---

*) Курсивъ мой.

категорически заявляетъ, что для него *такой развалъ гораздо лучше, чѣмъ недавнее подхалимство передъ прогрессомъ, гуманностью, народомъ, прямолинейной моралью...*“ *) (I, XIV). И поясняетъ изумленному Лыжину, что „не можетъ быть никакого прогресса до тѣхъ поръ, пока личность не будетъ автономна, пока она не будетъ дерзать и посягать...“ „Пускай она доходитъ до крайнихъ предѣловъ своихъ собственныхъ позывовъ и не боится прописей, какъ бы онѣ ни были гуманны и благородны...“ (тамъ же).—Это ужъ слишкомъ!

Здѣсь нельзя видѣть *законной* реакціи противъ *крайностей* интеллигентскаго морализма и самоотреченія: это уже—*бунтъ*, которому лозунгъ „автономія личности“ не приличествуетъ. Кострицынъ формулируетъ свою мысль въ такихъ выраженіяхъ, что мы вправѣ замѣнить этотъ лозунгъ другимъ: *произволъ и разнузданность личности*. Въ дѣйствительности, однако, у Кострицына и всѣхъ, для кого онъ типиченъ, дѣло такъ далеко не шло. Онъ и его единомышленники вовсе не были проповѣдниками циничной безпринципности и пресловутаго „аморализма“ и „аполитизма“, но, все-таки, вольно или невольно потворствовали уклону интеллигентской мысли въ эту сторону.

Кострицынъ любитъ рѣзкія формулы, радикальную постановку вопросовъ, парадоксы и „страшныя слова“,—и человѣку, искушенному въ россійскихъ идеологіяхъ, не трудно догадаться, что новая „полоса“, представляемая Кострицынымъ, въ сущности далеко не такъ „страшна“, какъ выглядитъ она въ этомъ словесномъ уборѣ. Лыжинъ понялъ это. „Новыя“ и „страшныя“ слова Кострицына удивляютъ его, но не возмущаютъ. Онъ мысленно отбрасываетъ ихъ крайности и рѣзкости, извлекая тотъ минимумъ, который болѣе или менѣе подходитъ къ его собственному настроенію. И въ результатѣ выходитъ то, что „Кострицынъ помогаетъ ему проще и смѣлѣе смотрѣть на то человѣчество, съ какимъ ему теперь надо водиться. И за это онъ ему очень благодаренъ...“ *) (ч. II, гл. XI).

*) Курсивъ мой.

*) Черезъ посредство Кострицына Лыжинъ приходитъ, между прочимъ, въ соприкосновеніе съ чуждой ему доселѣ средою московскаго купечества. Онъ продаетъ Кумачеву свое имѣньице и самъ поступаетъ

Помимо того, парадоксы Кострицына обезвреживаются въ глазахъ Лыжина еще и тѣмъ, что послѣдній скоро догадался о ихъ книжномъ происхожденіи. „Этотъ умный и даровитый парень немножко кокетничаетъ, не показываетъ ему прямо своихъ картъ. Откуда, собственно, идутъ его взгляды, въ какихъ книжкахъ онъ ихъ вычиталъ, у какого нѣмца позаимствовалъ?“ (II, XI).

Это характерно. Лыжину въ идеяхъ Кострицына мерещится что-то иностранное, нѣмецкое,—прямое заимствованіе изъ какой-то новой философіи, страшной на словахъ, безвредной на дѣлѣ, для которой въ русской дѣйствительности нѣтъ точки приложенія, но которая въ данное время какъ-то странно гармонируетъ съ настроеніемъ извѣстной части нашей интеллигенціи,—съ ея стремленіемъ къ внутреннему освобожденію личности отъ гнета идеологическихъ догмъ.

Въ дальнѣйшихъ бесѣдахъ и спорахъ Лыжина съ Кострицынымъ вырисовываются контуры новой философіи: отрицаніе еврейско-христіанской стихіи („религіи и морали рабовъ“) въ европейской цивилизаціи и превознесеніе языческой, античной,—культъ всего, „что создало могучее, красивое человѣчество, Элладу, Римъ, эпоху Возрожденія, богоподобныхъ богатырей; миѳическихъ героевъ, завоевателей, творцовъ, которые не охали и не лили слезы, а знали одно—развивать свое *я*, дерзать и посягать...“ (II, XIII).

Лыжинъ понялъ, что тутъ развивается передъ нимъ какая-то новая — и прелюбопытная — „философія исторіи“, и что все это—„слова, слова, слова“, способныя ласкать слухъ иныхъ русскихъ интеллигентовъ, утомленныхъ и изверившихся, какъ онъ, бодрящихся и „бунтующихъ“, какъ Кострицынъ, любомудрствующихъ, какъ онъ же... Да и вообще чувствовалось, что пора освѣжить наши идеологіи новыми словами—порѣзче, погромче, позвучнѣе... И, пожалуй, въ ослѣпительномъ свѣтѣ новаго воззрѣнія вся совре-

---

къ нему на службу ревизоромъ его фабрикъ. И тутъ его пріятно поразили новшества, введенныя Кумачевымъ въ интересахъ рабочихъ по настоянію его матери, женщины не только хорошей и просвѣщенной, но и затронутой въ свое время вѣяніями 70-хъ годовъ.—Лыжинъ взялъ эту должность въ надеждѣ принести пользу рабочимъ и съ рѣшеніемъ уйти, если измѣнится къ худшему отношеніе къ нимъ его патрона,—что и случилось.

менность, въ томъ числѣ и наша сѣренькая русская дѣйствительность, явится преображенною. По крайней мѣрѣ Кострицынъ уже пророчитъ, что повсюду, и на западѣ и у насъ, „подниметъ голову начало жизни, а не мертвечины", что „народится поколѣніе, которое крикнетъ: жить хотимъ, а не посыпать главу пепломъ..." Мало того: Кострицынъ думаетъ, что такое удивительное поколѣніе у насъ уже „снова нарождается",—„снова", ибо подобное ему объявилось у насъ 30 лѣтъ тому назадъ,—это именно то, представителемъ котораго былъ *Базаровъ*,—„умнѣйшее лицо нашей литературы"...

Итакъ, Кострицынъ, человѣкъ 90-хъ годовъ, вспомнилъ Базарова, человѣка 60-хъ годовъ, говорившаго, что ему дѣла нѣтъ до мужика, который будетъ благоденствовать въ то время, когда изъ него, Базарова, лопухъ выростетъ.

Вспомнимъ и мы „тургеневскаго лѣкаря", котораго, по словамъ Кострицына, „авторъ уморилъ, зная, что ему все равно не жить" (II, XIII).

4.

Дѣйствительно, есть что-то общее между базаровщиною и нигилизмомъ 60-хъ годовъ съ одной стороны, и — съ другой — настроеніемъ той части поколѣнія 90-хъ, представителемъ которой является Кострицынъ. И прежде всего, это—духъ бодрости, отпечатокъ какой-то душевной свѣжести и жизнерадостности. „Новые, свѣжіе люди", претендующіе быть смѣлыми, сильными, яркими и любующіеся этими качествами (дѣйствительными или мнимыми,—психологически это все равно), объявились у насъ дважды, въ 60-хъ годахъ, когда ихъ лидеромъ былъ Писаревъ, а художественнымъ воплощеніемъ считался Базаровъ, и въ 90-хъ, когда они нашли свое выраженіе во многомъ, весьма различномъ,—въ нашемъ ничшеанствѣ, въ творчествѣ Горькаго, въ выступленіи „русскихъ учениковъ Маркса", въ студенческихъ волненіяхъ того времени. Въ другія эпохи, въ 30—40-хъ гг., а еще болѣе въ 70-хъ, выступали не столько „новые и свѣжіе", сколько „хорошіе" или „лучшіе", люди: не новизною и бодростью идей и настроенія выдава-

лись и гордились они, а болѣе или менѣе самоотверженною дѣятельностью, чистотою побужденій, праведною жизнью, подвигами самопожертвованія, героизмомъ. Примѣняя извѣстную антитезу Гейне, можно сказать, что—въ общемъ—люди 60-хъ годовъ и молодое поколѣніе 90-хъ принадлежали къ психологическому типу „жизнерадостныхъ эллиновъ“ въ противоположность „семидесятникамъ“, которые выглядѣли скорѣе „сумрачными назареями“. Само собой разумѣется, эти опредѣленія должны быть понимаемы условно,—примѣнительно къ нашей русской психологіи и къ нашимъ нравамъ,—да и вообще они требуютъ разныхъ оговорокъ. Россійскій „жизнерадостный эллинъ“ мало похожъ не только на античнаго, но и на нѣмецкаго; а, съ другой стороны, наши „сумрачные назареи“ далеко не были лишены воспріимчивости къ радостямъ бытія и не всегда носили вериги.—Но, за всѣми оговорками, въ итогѣ мы имѣемъ право сказать, что на истыхъ людяхъ 60-хъ годовъ лежалъ особый отпечатокъ духа бодрости, душевной ясности, и что у нихъ замѣтно сказывалось стремленіе—не поступаться своими правами личности въ угоду великодушной идеѣ, а согласовать ихъ съ требованіями идеи и реальными интересами народа. Вспомнимъ столь популярную тогда теорію „разумнаго эгоизма“, которую развивалъ еще Добролюбовъ, а Писаревъ довелъ до крайнихъ предѣловъ. Вспомнимъ базаровщину, какъ она была воспроизведена Тургеневымъ и истолкована Писаревымъ.—„Мыслящіе реалисты“ были интеллигенты, всего менѣе склонные къ сумрачности, къ аскетизму, къ отреченію отъ личнаго счастья, отъ радостей жизни.

И еще на одну черту слѣдуетъ обратить вниманіе. Міросозерцаніе людей 60-хъ годовъ отличалось тою простотою или упрощенностью, которая избавляла отъ головоломныхъ и недоумѣнныхъ вопросовъ и порождала счастливую иллюзію ясности, послѣдовательности и „научной“ обоснованности. Сложность проблемъ теоретической мысли, какъ и сложность самой жизни, не смущала „мыслящихъ реалистовъ“, и они пребывали въ состояніи устойчиваго равновѣсія мысли и отраднаго покоя совѣсти. Цѣлый рядъ вопросовъ, надъ которыми бились лучшія головы 40-хъ годовъ, былъ упраздненъ за ненадобностью. Матеріалистическая философія, а за нею и позитивная дали возможность

выбросить за бортъ такъ называемые „метафизическіе“ вопросы. Съ религіозными покончили столь же легко. Попутно упразднили „эстетику“. Философію исторію упростили до крайности,—въ томъ числѣ и философію русской исторіи. Вопросы, которые поднимало старое и новое славянофильство, признали ненужными и вздорными, какъ и само славянофильство. Не безъ литературнаго вандализма упростили наличное достояніе русской художественной литературы, выбросивъ Пушкина... Наконецъ, и въ области науки сдѣлали нѣкоторыя изъятія: почти вся филологія была подвергнута остракизму и поруганію...

Ко всему этому въ настоящее время (да и давно уже) можно и должно относиться съ полнымъ спокойствіемъ,—sine ira. Мало того: нельзя отрицать права мыслящаго человѣка вычеркивать изъ инвентаря своихъ умственныхъ интересовъ то, чего онъ не понимаетъ. И нельзя требовать, чтобы всё понимали все. Ошибка „мыслящихъ реалистовъ“ состояла только въ томъ, что они возводили свое отрицаніе и непониманіе въ принципъ, въ догму, и проповѣдывали эту догму, какъ обязательную для всякаго мыслящаго и передового человѣка. Но это—очень стойкая „ошибка“ русской интеллигенціи вообще, отъ которой доселѣ она не вполнѣ освободилась: мы всегда обнаруживали замашку требовать отъ другихъ, чтобы они понимали вещи именно такъ, какъ мы ихъ понимаемъ, и чтобы они не смѣли понимать того, что непонятно намъ. Умѣніе, не раздѣляя чужой мысли, понять ея психологическую или логическую возможность, отнестись къ ней терпимо и объективно—воспитывалось въ культурныхъ странахъ Европы вѣками, а теперь, благодаря ускоренному ходу умственнаго прогресса, воспитывается даже въ отсталыхъ странахъ—десятилѣтіями.

Полвѣка прошло со временъ Базарова и Писарева, и мы, кажется, уже способны понять не только возможность, но и необходимость—въ то время—упрощеннаго міросозерцанія и завидной уравновѣшенности и бодрости духа „мыслящихъ реалистовъ“.

Постараемся столь же объективно отнестись и къ аналогичному явленію, объявившемуся въ 90-хъ годахъ.

Опять выступило *бодрое* или *бодрящееся* поколѣніе съ по-своему упрощеннымъ міросозерцаніемъ или, по край-

ней мѣрѣ, со склонностью упрощать идеи и закрывать глаза на „сложность жизни“ *).

Есть два способа упрощать сложное. На одинъ я только что указалъ, говоря о людяхъ 60-хъ годовъ; это— „методъ“ устраненія „ненужнаго“, упраздненія „непонятнаго“. Другой способъ, на видъ, представляется противоположнымъ и основывается на признаніи сложнаго— сложнымъ. Никакіе элементы, повидимому, не вычеркиваются изъ инвентаря духовныхъ благъ, — все „пріемлется“ — и метафизика, и религія, и „проклятые вопросы“, и эстетика, и всѣ области знанія... Но вопросы, со всѣмъ этимъ связанные, въ томъ числѣ и иные изъ категоріи „проклятыхъ“, тутъ же и *рѣшаются* болѣе или менѣе категорически, съ точки зрѣнія той или иной теоріи. А за симъ это рѣшеніе пропагандируется, — какъ уже добытая и прочная „истина“, которую всѣ порядочные люди обязаны принять...

Откуда — бодрость духа, увѣренность въ своей правотѣ, уравновѣшенность мысли и всѣ вообще аллюры, съ какими привыкъ выступать русскій интеллигентъ, познавшій „истину“. „Мы—сила“, думалъ Базаровъ и говорилъ Аркадій Кирсановъ. „Мы—сила“, отозвалось въ 90-хъ годахъ: это выступали наши ничшеанцы и — позже — марксисты.

Когда все пріемлется и тутъ же рѣшается, тогда неизбѣжно многое, иногда довольно цѣнное, во всякомъ случаѣ значительное, окажется обезцѣненнымъ или неоцѣненнымъ и выброшеннымъ за бортъ. Такъ, ничшеанцы раздѣлались съ Евангеліемъ и „любовью къ ближнему“, со всею еврейско-христіанской стихіей, марксисты — съ народничествомъ, позитивизмомъ, философскимъ идеализмомъ. „Лишній“ грузъ былъ выброшенъ, — люди выступили бодро, самоувѣренно и даже весело.

Посмотрите на Кострыцина: какъ онъ бодръ духомъ, „свѣжъ“ и смѣлъ. Въ сравненіи съ Лыжинымъ, а еще болѣе съ „сумрачнымъ назареемъ“ Воденягинымъ, непреклоннымъ „семидесятникомъ“, онъ кажется истымъ „жизнерадостнымъ эллиномъ“.

Этотъ московскій „эллинъ“, „амбарный Сократъ“ (какъ

---

*) Выраженіе В. Г. Короленка.

его называютъ по Москвѣ) увѣровалъ въ Ничше и, принявъ въ новой редакціи старую мысль, что „право есть сила и сила есть право“, привѣтствуетъ „торжество побѣдителей“, проповѣдуетъ новую—ничшеанскую—мораль и—вмѣсто любви къ ближнему — „любовь къ дальнему“, отвергая и осмѣивая, заодно съ христіанствомъ, и все то, чѣмъ доселѣ были живы, ради чего страдали и жертвовали собою лучшіе люди Россіи.

5.

Воспаленная мысль Ничше, его дерзновенное отрицаніе, близкое къ нигилизму, его геніальные парадоксы, усиленные яркостью и силою выраженія, — все это тогда вскружило у насъ голову многимъ и притомъ весьма различнымъ людямъ. Ничше нашелъ у насъ глубоко-заинтересованныхъ читателей и восторженныхъ поклонниковъ. Его книги, творенія геніальнаго, но, безспорно, больного ума, казались новымъ откровеніемъ...

А между тѣмъ трудно найти другую систему идей, которая была бы менѣе нужна у насъ въ Россіи и находилась бы въ большемъ противорѣчіи съ насущными потребностями нашего развитія.

„Философія“ Ничше, это—одно изъ тѣхъ изысканныхъ и капризныхъ созданій генія, которыя отъ времени до времени возникаютъ на почвѣ богатой и утонченной культуры, — въ средѣ аристократовъ мысли и интеллектуальныхъ гурмановъ, пресыщенныхъ всякими умственными благами и, для дальнѣйшаго возбужденія мысли, нуждающихся въ чемъ-то остромъ, пряномъ, ослѣпительно-яркомъ. Успѣхъ твореній Ничше въ западной Европѣ, — явленіе того же порядка, какъ и успѣхъ въ то время новой символической и декадентской поэзіи. И тамъ эти эксцессы и уклоны творчества, эти причудливые узоры геніальной мысли и больной фантазіи — въ общемъ безвредны,—они обезвреживаются общею высокою дисциплиною мысли, интеллектуальнымъ самообладаніемъ мыслящихъ людей. Перенесенные къ намъ, они легко превращались въ карикатуру, въ невольную пародію, а

нерѣдко содѣйствовали пущему затемненію умовъ и разнымъ аберраціямъ мысли и чувства.

Въ странахъ, гдѣ матеріальная и духовная культура давно упрочилась, и элементарныя моральныя блага стали неотъемлемымъ достояніемъ массъ, — можно иной разъ помечтать о какомъ-то „сверхъ-человѣкѣ", о далекихъ и туманныхъ перспективахъ — „по ту сторону добра и зла", о какой-то якобы новой морали, противорѣчащей общепринятой, о какой-то новой красотѣ и т. д.

Въ странѣ, какъ Германія, гдѣ такъ высокъ *въ народной массѣ* средній уровень честности и добропорядочности, гдѣ вдоль шоссейныхъ дорогъ разсажены плодовыя деревья, которыхъ прохожіе не обрываютъ, — можно устремляться мечтою, какъ здоровою, такъ, пожалуй, и больною, куда-то „выше и дальше". Но у насъ, въ Россіи, гдѣ нѣтъ въ многомилліонной массѣ элементарной обезпеченности и никакого правосознанія, гдѣ азбучная истина общечеловѣческой морали и гражданственности до сихъ поръ не усвоена, гдѣ цѣна человѣческой жизни и личности — ломанный грошъ, ничшеанская проповѣдь является непростительною роскошью, не говоря уже о томъ, что она легко можетъ превратиться у насъ въ проповѣдь грубой силы, которой у насъ и безъ того слишкомъ много, въ человѣконенавистничество, въ потакательство эгоизму и хищничеству, — въ „ставку на сильныхъ".

Кстати вспомнимъ, что въ 60 — 70-хъ годахъ аналогичное направленіе обнаруживалось у насъ среди *позитивистовъ* и *дарвинистовъ*. Но тогда *Михайловскій* стоялъ на стражѣ и рядомъ яркихъ статей развѣнчалъ эту вредную тенденцію и разбилъ на голову ея ратоборцевъ *). И въ 90-хъ гг. Михайловскій продолжалъ стоять на стражѣ, но времена измѣнились, а идеи Ничше, привлекшія къ себѣ заинтересованное вниманіе Михайловскаго, казались ему не очень опасными.

Но, скажутъ, если идеологія Ничше имѣла у насъ такой успѣхъ и вскружила голову столь многимъ, то,

---

*) Типъ „дарвиниста" въ этомъ отрицательномъ смыслѣ былъ выведенъ и по заслугамъ ошельмованъ тогда же въ одной изъ лучшихъ повѣстей П. Д. Боборыкина — „Въ усадьбѣ и на порядкѣ".

значитъ, она отвѣчала какимъ-то умственнымъ и моральнымъ запросамъ и, слѣдовательно, была *нужна*.

Этого отрицать нельзя. Слѣдуетъ только ближе присмотрѣться къ тѣмъ запросамъ, которымъ она удовлетворяла по преимуществу.

Въ переходную эпоху 80-хъ годовъ, когда старыя идеологіи и прежнія настроенія пошатнулись, было много лицъ—и притомъ весьма различныхъ, — которымъ идеи Ницше что-то сулили и, такъ сказать, приходились „по душѣ".

Для *усталыхъ* и *извѣрившихся* сочиненія Ницше сыграли роль какъ бы цѣлебнаго бальзама: на нихъ можно было отдохнуть отъ пріѣвшихся мыслей и надоѣвшихъ настроеній. Ослѣпительно-яркіе парадоксы Ницше, дерзкій полетъ его геніальной мысли, грандіозныя перспективы, которыя онъ открывалъ, были отрадны усталой душѣ и оживляли умъ, онѣмѣвшій въ долгомъ исповѣдованіи и безплодномъ повтореніи все тѣхъ же „истинъ".

Кромѣ усталыхъ и извѣрившихся, были еще *пресыщенные*, какъ Кострицынъ. — Дѣло въ томъ, что послѣ долгаго интеллектуальнаго воздержанія, когда въ теченіе цѣлаго десятилѣтія съ лишнимъ многія умственныя блага были въ загонѣ, естественно въ новомъ поколѣніи возникла жажда знанія и умственныхъ наслажденій. Интеллектуальное самоограниченіе „отцовъ" сказалось въ „дѣтяхъ" умственнымъ голодомъ, и новое поколѣніе съ жадностью набросилось на философію, психологію, филологію, исторію. При отсутствіи у насъ дисциплины и спокойствія мысли такая лихорадочная работа надъ усвоеніемъ разнообразнаго матеріала приводила нерѣдко къ тому, что молодые люди оказывались — черезъ какіе-нибудь два-три года по выходѣ изъ университета—умственно обремененными и пресыщенными. Они вкусили чуть ли не ото всѣхъ плодовъ древа знанія, и ничѣмъ ихъ не удивишь... И вотъ они ищутъ новыхъ возбужденій мысли, чего-нибудь такого, что могло бы ихъ „пронять" и находятъ эти возбужденія въ книгахъ какого-нибудь нѣмца, еще неизвѣстнаго у насъ. И, разумѣется, лучшимъ нѣмцемъ оказался—въ этомъ смыслѣ—Ницше...

Какъ *усталыхъ* и *пресыщенныхъ*, такъ и многихъ дру-

гихъ, которыхъ нельзя подвести подъ эти категоріи, Ницше привлекалъ и очаровывалъ тѣмъ, что не былъ „просто“ мыслитель или изслѣдователь философскихъ вопросовъ, а *жилъ* своими идеями, *выстрадалъ* ихъ, *безумствовалъ* ими и на нихъ же и сошелъ съ ума. Глубокая искренность его мысли и исключительная проникновенность его творчества были, дѣйствительно, явленіемъ въ своемъ родѣ единственнымъ, а это какъ разъ то самое, что дѣйствуетъ на русскаго интеллигента чарующимъ и даже гипнотизирующимъ образомъ. Такое дѣйствіе оказывали, какъ извѣстно, Толстой и Достоевскій.

Русскій интеллигентъ, кромѣ *искренности* мысли, не меньше любитъ и ея *глубину* и склоненъ смѣшивать ихъ, подозрѣвая глубину тамъ, гдѣ, можетъ-быть, есть только искренность. Если не ошибаюсь, такое смѣшеніе проявилось и въ повышенной оцѣнкѣ нѣкоторыхъ идей Ницше, какъ и нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ Достоевскаго. Въ Ницше видѣли духъ, родственный Достоевскому. Открывая неисповѣдимыя глубины въ болѣзненномъ творчествѣ нашего „жестокаго“ художника, находили соотвѣтственныя глубины въ идеяхъ больного нѣмецкаго мыслителя, и это дѣйствовало на нашу интеллигентскую мысль возбуждающимъ образомъ. Въ журналахъ стали появляться статьи на тему: „Ницше и Достоевскій“...

Итакъ, „философія“ Ницше оказалась *нужною* многимъ. Въ блестящей статьѣ *Н. А. Котляревскаго*, посвященной памяти *В. П. Преображенскаго* *), показано, какъ *пригодились* идеи Ницше для субъективныхъ запросовъ этого, рано умершаго (1900 г.), молодого ученаго философа, личность котораго, какъ говорили, послужила П. Д. Боборыкину „натурою“ для типа Кострицына.

Философія Ницше оказалась субъективно-нужною Преображенскому, Кострицыну и многимъ, но изъ нея не вышло *русской идеологіи*, сколько-нибудь жизнеспособной. Вліяніе у насъ ницшеанскихъ идей осталось чисто литературнымъ, беллетристическимъ. Самымъ яркимъ вы-

*) Сперва въ „Вопросахъ философіи и психологіи“ (1901 г.), потомъ перепечатано въ приложеніи къ книгѣ „Старинные портреты“ (1907 г.).

раженіемъ этого литературнаго направленія явились пресловутые герои Горькаго. О творчествѣ этого большого художника у насъ будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ, а здѣсь вернемся къ Кострицыну.

6.

Онъ говоритъ: „Народится поколѣніе, которое крикнетъ: жить хотимъ, а не посыпать главу пепломъ, хотимъ посягать и наслаждаться, а не хныкать и отдавать все, что сами создали, завоевали и украсили, на съѣденіе грязной, дикой и злобной толпѣ! Никогда!“ (II, XIII).

И съ высоты этой ничшеанской идеи купецъ Кумачевъ, его патронъ, представляется ему „новымъ“ и въ своемъ родѣ положительнымъ явленіемъ русской жизни: Кумачевъ — человѣкъ, во-первыхъ, „культурный“, образованный, умный, во-вторыхъ, онъ—натура, не лишенная силы и выдержки, въ-третьихъ, онъ не только хочетъ, но и отлично умѣетъ „жить и посягать“. Въ этой характерной и превосходно очерченной фигурѣ предугадана дальнѣйшая „эволюція“ типа: мы теперь хорошо знаемъ гг. Кумачевыхъ по третьей Думѣ, гдѣ они занимаютъ видное мѣсто на скамьяхъ октябристовъ. Правильная оцѣнка типа и прочность его дальнѣйшаго восхожденія, сдѣланные 15 лѣтъ тому назадъ въ романѣ „Перевалъ“, составляютъ одну изъ заслугъ П. Д. Боборыкина.

Но то, что хорошо видѣлъ художникъ, плохо различалъ Кострицынъ, ослѣпленный ничшеанской фантастикой.

Кострицынъ—типичный русскій интеллигентъ-доктринеръ и столь же типичный русскій хорошій человѣкъ. Онъ оцѣниваетъ людей и вещи по параграфамъ своего символа вѣры. Оцѣнка зачастую выходитъ неправильная, но это не мѣшаетъ ему поступать правильно, — по внушенію добрыхъ интеллигентскихъ инстинктовъ, въ немъ живущихъ,—тѣхъ самыхъ, которые живы въ Лыжинѣ, въ Воденягинѣ, въ студентѣ Шишлинѣ (яркій типъ „студента по преимуществу“) и другихъ и которые властно приводятъ хорошаго русскаго человѣка къ психологической невозможности мириться съ безобразіями и гнус-

ностями россійской дѣйствительности. Не мирится съ ними и Кострицынъ. Послѣ бунта рабочихъ на фабрикѣ Кумачева, онъ, вслѣдъ за Лыжинымъ, уходитъ отъ патрона, а въ концѣ романа оба они оказываются, вмѣстѣ съ другими хорошими русскими людьми, на очередной страдѣ служенія народу: они участвуютъ въ борьбѣ съ народнымъ бѣдствіемъ—голодомъ.

Послѣднія страницы романа, гдѣ описываются хлопоты и труды хорошихъ русскихъ людей по устройству столовыхъ, закупкѣ и раздачѣ хлѣба и т. д., возвращаютъ насъ къ тѣмъ мыслямъ, которыя, какъ я старался показать это въ главѣ VI на анализѣ разсказа Чехова „Жена", необходимо вызываются у всѣхъ насъ зрѣлищемъ стихійныхъ бѣдствій, на какія, волею историческихъ судебъ, обреченъ русскій народъ. Тутъ смолкаютъ интеллигентскіе споры, тутъ всякая доктрина, будь она народническая, марксистская, толстовская, славянофильская, ничшеанская, какая угодно, — вдругъ куда-то исчезаетъ, за ненадобностью, интеллигентскія сомнѣнія, исканія, разочарованія, разсужденія теряютъ всякій смыслъ, и остается, дѣйствуетъ, повелѣваетъ лишь одно неистребимое, ставшее инстинктомъ, влеченіе—прійти на помощь народу въ его страданіяхъ, въ бѣдѣ, его постигшей.

Помнится, во время голода 1892-го года Л. Н. Толстой обмолвился парадоксомъ на тему о томъ, что голодъ и другія бѣдствія, это—пустяки, и не о хлѣбѣ надлежитъ пещись, а о душѣ: величайшее бѣдствіе, это—духовная тьма, на борьбу съ которой и слѣдуетъ направить всѣ усилія,—на что тогда же Михайловскій отозвался рѣзкою репликою. Изрекши свой парадоксъ, Л. Н. Толстой отправился на борьбу съ голодомъ, гдѣ и развилъ дѣятельность, доселѣ памятную.

Кострицынъ, проповѣдующій, по Ничше, право сильнаго и теоретически привѣтствующій гибель слабыхъ, хлопочетъ и усердствуетъ въ борьбѣ съ бѣдствіемъ не хуже другихъ. Онъ говоритъ Лыжину: „Когда мы съ Липой *) надумали организовать помощь, я тряхнулъ стари-

---

*) Женой.—Романъ Кострицына съ этой бывшей артисткой, раньше замѣшанной въ политическомъ дѣлѣ, рисуетъ нашего ничшеанца съ лучшей стороны.

ной и раздобылъ одного юнца... изъ моихъ бывшихъ учениковъ, съ здоровущимъ капиталомъ. Винищемъ торгуетъ, и кабаковъ у тятеньки, и складовъ—видимо-невидимо. Поналегъ на него и возжегъ патріотическое чувство. А можетъ, и на тщеславіи уловилъ. Но какъ никакъ, а на нѣсколько вагоновъ хлѣба раскошелился, и вотъ мы съ Липой ѣздили на югъ, въ Николаевъ, въ Ростовъ и Таганрогъ...". (Ш, XXXVII).

На очередной страдѣ оказался, разумѣется, и непреклонный семидесятникъ Воденягинъ—не съ тѣмъ, конечно, чтобы проповѣдывать соціализмъ. Тутъ и славянофилъ-консерваторъ, предводитель дворянства Боярцевъ, тутъ и молодежь, болѣе или менѣе радикальная: „во всѣхъ живетъ нѣчто выше теорій, кружковъ, прописей, направленства, личнаго задора—во всѣхъ" (Ш, XL), — думаетъ Лыжинъ, подводя итоги своей жизни, и приходитъ къ вопросу: „Однако, неужели надо непремѣнно что-нибудь роковое, стихійное: моръ, голодъ, потопъ, трусъ, чтобы такихъ, какъ онъ, превратить въ людей, забывшихъ о себѣ, знающихъ, что надо дѣлать, кому помогать, съ чѣмъ бороться, о чемъ кричать на всю Русь?".

Остановимся и мы на этомъ вопросѣ.

7.

Участіе широкихъ круговъ интеллигенціи въ борьбѣ съ стихійными бѣдствіями, столь часто постигающими народную массу, безспорно, не оставалось безъ благихъ послѣдствій для самой интеллигенціи. И прежде всего оно дѣйствовало *отрезвляющимъ образомъ на интеллигентскую мысль:* партійная распря пріостанавливалась и — на время — интеллигенція освобождалась отъ гипноза идей. Лицомъ къ лицу передъ ужасающей дѣйствительностью она объединялась и пріучалась преодолѣвать партійныя и идеологическія разногласія, а это преодолѣваніе, хотя бы только временное, направляло мысль въ сторону критики доктринъ, идей, программъ и, такъ сказать, ихъ очной ставки съ дѣйствительностью. Ото всего этого кое-что оставалось и на будущее время, когда, по

минованіи бѣдствія въ его острой формѣ, интеллигенція возвращалась къ своимъ спорамъ и въ виду всероссійскихъ бѣдствій въ ихъ хронической формѣ усердно продолжала свое—интеллигентское—дѣло разработки идеологіи, доктринъ, программъ. Это вѣдь,—ея призваніе и ея ремесло, и требовать, чтобы она бросила его, значитъ требовать отъ нея, чтобы она перестала быть интеллигенціей. Послѣ временной передышки споры возникали съ удвоенной силой,—идеологіи расцвѣтали вновь, направленія еще рѣзче обособлялись. Такъ, въ 90-хъ годахъ возгорѣлась жестокая вражда между народниками и марксистами, а къ концу десятилѣтія выдѣлилось (преимущественно изъ среды марксистовъ) идеалистическое направленіе.—Но, повторяю, отъ пережитаго опыта все-таки оставался нѣкоторый осадокъ въ интеллигентской психикѣ,—подготовлялась готовность или возможность бросить, когда будетъ нужно, споры и раздоры и преодолѣть разъединяющую силу теоретическаго „направленства". Оставалось сдѣлать лишь одинъ шагъ дальше: пріучиться къ такому же преодолѣнію „направленства" въ борьбѣ не только съ острыми, но и съ хроническими бѣдствіями Россіи — съ „порядкомъ" вещей, исторически основаннымъ на произволѣ, насиліи, невѣжествѣ и эксплуатаціи. Труденъ былъ этотъ шагъ, и доселѣ онъ еще не сдѣланъ, хотя въ 1904 — 1905 году въ эту сторону было направлено много усилій, не оставшихся безъ результата. И нынѣ, повидимому, все болѣе упрочивается и распространяется та суровая истина, что затяжныя, постоянныя бѣдствія Россіи, въ томъ числѣ и то, которое называется „реакціею", должны быть приравнены къ стихійнымъ, и съ ними нужно бороться такъ, какъ борятся съ гладомъ, трусомъ, моромъ, потопомъ, — дружными усиліями всѣхъ порядочныхъ людей, безъ различія интеллигентскихъ „вѣроисповѣданій", и—средствами, отнюдь не похожими на то зло, съ которымъ ведется борьба. Величайшее зло Россіи, это— отсутствіе культурности въ европейскомъ смыслѣ и закоренѣлые навыки варварства, произвола и насилія: нельзя „поправлять" это „дѣло вѣковъ", являя съ своей стороны примѣры варварства, некультурности, произвола и насилія.

Другое благое послѣдствіе борьбы объединенной интел-

лигенціи со стихійными бѣдствіями въ родѣ голода, эпидемій и др., это — *убыль сентиментальнаго и исключительно филантропическаго отношенія къ народу.* Въ разсказѣ Чехова „Жена“ докторъ Соболь говоритъ: „Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ пріютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношенія наши должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости“ („Жена“, VI).—Напомню читателю, что докторъ Соболь добылъ этотъ взглядъ не изъ какихъ-либо теоретическихъ соображеній, а изъ тяжелаго опыта, изъ близкаго соприкосновенія съ жизнью народа, изъ практики земскаго врача и участника въ борьбѣ съ голодомъ *).

Какъ установить эти „дѣловыя отношенія“, это—ужъ другой вопросъ, рѣшить который не подъ силу отдѣльнымъ лицамъ: онъ будетъ рѣшенъ историческимъ ходомъ вещей и *прогрессивнымъ развитіемъ самой интеллигенціи.*

Къ нашему времени, послѣ всего, что пережила русская интеллигенція въ 90-хъ годахъ прошлаго вѣка и въ началѣ текущаго, пути ея развитія опредѣлились: они идутъ въ направленіи отъ идеологическаго творчества къ широкой *политической* и *культурной* дѣятельности, которая должна быть основана на „расчетѣ, знаніи и справедливости“....

---

*) См. главу VI.

Типографія т-ва „Общественная Польза", Спб., Б. Подъяческая, 39.